

- **ДИССИДЕНТ В КОСМОСЕ**
(глава из нового романа Василия Аксенова)
- **ПОЛЬСКИЙ АПОКАЛИПСИС –**
(окончание романа Тадеуша Конвицкого)
- **ИЗРАИЛЬ РЕАЛЬНЫЙ – И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ –**
(рассказы Ицхака Бен-Нера и Михаила Шепелева)
- **АНТИСЕМИТИЗМ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА? –**
(публикация сенсационного письма знаменитого
русского писателя и дискуссия о нем)
- **СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ –**
(статьи А. Жолковского, О. Кустарева, К. Тынтарева
и Н. Гутиной)
- **ГИТЛЕР И... МАРКС –**
(новое исследование Натаниэля Вейля)

22

36

№ 36

МИЛЛЕННИИ И ПЕРУНАМИ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания VII

№ 36

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- По страницам новых книг.* ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ. Чингиз (глава из нового романа). Эмиграция — лучшее состояние литературы (беседа с членами редколлегии журнала "22") 3
- ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ. Малый Апокалипсис (роман, окончание; пер. с польского Н. Горбаневской) 19
- МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ. Второй дом (цикл стихов) 77
- ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ. От автора (стихи) 84
- МИХАИЛ ШЕПЕЛЕВ. Рассказы. 87
- ИЦХАК БЕН-НЕР. Николь (рассказ, пер. с иврита В. Кукуя) 105

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Совместимы ли сионизм и социализм? 129
- ЮВАЛ НЕЕМАН. Путь Израиля — научно-промышленная революция . . . 141

ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

- ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС. Смерть еврея 155
- НАТАНИЭЛЬ ВЕЙЛЬ. Гитлер и Маркс: загадка Катастрофы 162

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- АЛЕКСАНДР КУПРИН. Письмо Ф. Батюшкову (публикация, послесловие и комментарии В. Левитиной) 167
- ВИКТОРИЯ ЛЕВИТИНА. А газон так и не вырос... (послесловие и комментарии к письму А. Куприна) 174
- МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Противоречие Куприна? 186

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

- АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ. "Победа" Василия Аксенова (опыт домашнего анализа) 194

ЛЮДИ И КНИГИ

О. КУСТАРЕВ. Престиж интеллигенции в советском обществе и его отражение в литературе 60—70-х годов	209
НЕЛЛИ ГУТИНА. Вместо декларации	217
КИРИЛЛ ТЫНТАРЕВ. Опыт русского мифотворчества	222

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия.

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор
технический редактор — Наталья Рубина
ответственный за выпуск — Нелли Гутина

Всю корреспонденцию направлять по адресу
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

**Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей
журнала.**

Соединенные штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove Ca 93950 USA
A. Zeide, 455 West 43 th St., Apt. 38, New-York, N. Y., 10036

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BRG
L. Gerschtein, 27 Bruckner str. 8 Muenchen 80

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW 4

Типография "Дарби"

Тель-Авив

1984

ПО СТРАНИЦАМ НОВЫХ КНИГ

Василий Аксенов

ЧИНГИЗ

Глава из новой книги, выходящей
в издательстве "Ардис".

Автобус подали в третьем часу ночи на задний двор гостиницы, и до этого Андрей Евгеньевич успел весь известись. Днем в информационном центре сказали: готовьтесь к полуночи, рекомендуем выспаться. В полночь он был готов, как штык. Вся аппаратура уложена, сам — чист и бледен. Длинными шагами по номеру успешно преодолевал дрожь. Голод помогал бороться со страхом. Хорошо, что предупредили: есть много не надо. Сейчас бы даже жареная мразь "простипома" не помешала б, внушал он себе с бодреньким смешком, даже от "салата юбилейного" не стошнило б...

В полночь, однако, никто не позвонил. Прошло еще минут десять, и его охватила смесь дикого волнения и радости: а вдруг обо мне позабыли, без меня уехали. Схватив куртку и сумки с аппаратурой, он устремился вниз. В холле гостиницы было пустынно. Информационный центр закрыт, администратор, разумеется, отсутствовал, только лишь два казаха, старый и молодой, то есть милиционер и швейцар, оба в валенках, пристроившись у батареи отопления, играли в шахматы. Автобус? Швейцар помотал большой башкой. Ничего не знаем.

Из ресторана еще доносился

бухающий барабан и неслась дикая песня "Листья желтые над городом кружатся". Каким-то странным синеватым светом была освещена в глубине холла дверь, наводившая на местное население священный ужас, — валютный бар.

Древесный посидел немного в изодранном кресле. Из ресторана как раз и несло упомянутой выше простипомой: четверг, рыбный день. Прошел пьяный офицер. "Лица желтые над городом кружатся..." Поймал взгляд Древесного, полуобморочно подмигнул. Лица, не листья, понял, друг? Песня китайских десантников. Древесный вышел из гостиницы, постоял у подъезда. Мрак, тишина, стоит такси с работающим мотором. Куда здесь ездят на такси? А вдруг все-таки в номер позвонят? Лифт уже отключили. Пришлось пешком нестись на седьмой этаж. Бесмысленно и бесчувственно сидел на кровати, вдруг вспомнил Москву, Союз фотографов и все прочее, все тело безобразно зачесалось. Вдруг сейчас внизу собираются? Уедут без меня! И в этом провалюсь, опозорюсь! Помчался.

Внизу никаких намеков на отъезд, на автобус, ничего. Холодно. Почему так холодно в интуристовской гостинице? Так прошло больше двух часов. У Андрея Евгеньевича начала дергаться левая щека, все предприятие показалось какой-то подлостью, глупой хитростью... Это все выдумки Полины, ее уловки, ее "связи", а я безвольная шмазь... В ужасе он посмотрел на свой прорыв глазами какого-нибудь московского недоброжелателя из "левых кругов": сбежал в самый горячий момент, бросил товарищей... Тут вдруг появилась, шевеля боками, администраторша, девка в розовой пуховой шапке. Товарищ Древесный, шо ж вы, вас ищут, а вы заховались...

Огромный "Икарус" стоял во дворе. Древесный прыгнул внутрь. Здравствуйте, товарищи! Ему никто не ответил. Непохоже было, что кто-то тут его искал. Человек двадцать народу разобралось по разным углам салона с большущими окнами, подернутыми морозной пленкой. Кто-то покуривал, иные спали, видны были запрокинутые лица. Древесный занял кресло в середине. Вся душевная мразь уже улетучилась. Невероятная значительность момента. Надо все запомнить! Вот так буднично все и происходит? Удобно ли сделать снимок?

Ждали еще не менее получаса. Стекла стали оттаивать. Радиостанция "Маяк" передавала концерт народной немецкой музыки в честь столетия ГДР. Наконец, влезли две толстых тетки, за ни-

ми внесли несколько картонных коробок и железных бачков. Из темноты кто-то крикнул: Клава, чем кормить сегодня будешь? Авось, не подавитесь, любезно ответила одна из теток.

Автобус тронулся и вскоре вырулил на шоссе, окаймленное сугробами в рост человека. Несколько поворотов в пустом степном мраке. Появились огоньки Байконура, потом из-за холма вдруг выплыло огромное светящееся пятно. Это была стартовая площадка. Станным образом она, однако, не приближалась, а вскоре, наоборот, стала уплывать в сторону. Исчезли все огни. Асфальтовая лента под фарами и снег по краям. КП, три солдата в стеганых комбинезонах. Один влез в автобус, поговорил с водителем, крикнул всем "счастливо", спрыгнул. После этого автобус стал быстро набирать скорость, вдоль бортов все сильнее засвистел пустынный ветер.

Куда же он идет? Может быть, я все-таки не в тот автобус попал? Древесный обратился с деликатным вопросом через проход к массивной какой-то фигуре, прикрытой чабанским тулупом. Куда мы сейчас отправляемся? Как куда, пробурчал сосед, на Чингиз.

В автобусе почему-то стало нестерпимо холодно. Напареули-погудям, выматерился сосед. Опять отопление не работает! Вы сказали на Чингиз, переспросил Древесный. Ну да, космодром "Чингиз". Разве не в курсе? Старт сегодня оттуда. Как? Не из Байконура? Сосед хохотнул. Байконур у нас для рекламы. Валюта, брат! Летаем с "Чингиза". Вопросы больше не принимаются, ухажу в подполье. Он соорудил себе из тулупа подобие палатки и скрылся в ней.

По дороге вдруг остановились среди мрака. Наши девки из "Пятилетки" бегут, сказал шофер. Возьмем? Впрыгнули три совершенно законеченных девки. В кино, оказывается, были, в какой-то "Пятилетке". Одна из поварих стала на них орать: задрыги, придатки себе отморозите! Кто-то сзади захохотал. Иди к нам, Ирка, придатки погреем! Ух, ух, ух, стонали девки. А кто сегодня летит, мальчишки? Группа Белялетдинова, был ответ. Ой, Маратик! Отдаться мало! Девки куда-то бухнулись. Кажется их и в самом деле кто-то на задах стал весьма активно греть.

Прошло не менее двух часов, прежде чем автобус остановился на КП "рабочего" космодрома Чингиз. По небу тут шастали два прожекторных луча, то пересекались в высоте, то расходились в стороны и ложились на снег, на проволочные ограждения и сто-

рожевые вышки. По склону пологого холма тянулись, один выше другого, несколько длинных темных барачков. Возле них стояли армейские грузовики. А где же все-таки Она? Луч прожектора лег на безобразную гипсовую статую космонавта, копию московского чудовища из нержавеющей стали, человеко-ракета, распротертые руки, подмена Распятя. А вот и Она! Из-за холма вздымалась на две трети своего роста гигантская ракета-носитель. Древесного при взгляде на этот предмет вновь пронизало ощущение какой-то дикости.

В автобус влезли молодой офицер и два автоматчика. Привет, сказал офицер, все свои? Водитель показал ему на Древесного. Тут один какой-то, говорят, из Москвы. Ага, я в курсе. Офицер приблизился. Вы фотограф? Документы, пожалуйста. Просмотрев паспорт, молча козырнул, чем основательно уколол Андрея Евгеньевича. Десять лет назад такой офицерик с полу-интеллигентным личиком просто бы обалдел: глазам своим не верю — сам Андрей Древесный? Катастрофическое десятилетие. Неупоминание, замалчивание, выпячивание вместо нас всех этих дутых фотил-деревенщиков — детально продуманная политика. Ну, а сейчас? С Запада идут в эфир только имена Огошки, Шуза, иногда Славы, говорят об этих мальчишках, меня почти не называют... Что ж, вскоре многим придется вспомнить Андрея Древесного! Все-таки Полинка — молодец, пробить такую командировку! Ни одному фотографу ведь еще не удавалось... Тут появилась предательская мыслишка: не прикидывайся, что за славой побежал, хоть сам с собой-то не хитри... Мыслишка была отброшена.

У соседа под огромным чабанским тулупом оказался серебристый космический костюм. Это был, как впоследствии выяснилось, сам майор Белялетдинов, командир экипажа "Кремль-1", башкир, то есть с прицелом на захват общественного мнения в странах Третьего мира. Эй, фотограф, пошли пошамаем!

II

Древесный нервно старался подмечать все детали будничной и даже в чем-то убогой, удивительно средне-советской обстановки на космодроме Чингиз. Он ужинал-завтракал в обществе экипажа в маленькой комнате с паршивыми плюшевыми занавесками, дешевой гостиничной мебелью, портретом Андропова, плакатом "В авангарде человечества", замусоленными экземплярами жур-

нала "Огоньки Москвы" и телевизором далеко не последней модели, словом в типичной советской "комнате отдыха". Хмуроватые советские "мамани" сервировали стол повышенной калорийности: большая банка зернистой икры, югославская ветчина, брикетки расфасованного масла, даже бананы, слегка тронутые морозом. Хлеб, однако, был тяжелый и влажный, по всей вероятности местный, а кофе — молочная бурда; наливали из бачка черпаком.

Можно снимать, спросил Древесный командира. Тот пожал плечами. Двое других космонавтов посмотрели на фотографа так, будто в первый раз его увидели. У всех троих были большие белые лица, аккуратно причесанные волосы. У старшего при редких улыбках любопытно вспыхивал в углу рта золотой зуб. Вы давно из Москвы? Вчера прилетел. Последовал неожиданный вопрос: ну, а как там Театр-на-Солянке? Древесный удивился. А почему вы спрашиваете? Ну, вот по радио говорят, по "рупорам"-то, что у них главреж на Запад сбежал. Древесный подскочил: ничего не знаю! Отстал, друг! Радио надо слушать! Все трое бурно, но коротко похохотали. Потом заговорили о главреже. Чего ему нехватало? А вы прикиньте, ребята, сказал майор Белялетдинов, что он здесь имел и что он там будет иметь. Древесный вспомнил главрежа с Солянки. Даже его довели до ручки, проклятые! Теперь театр, последний оплот Шестидесятых, конечно рухнет...

Вдруг вошел полковник в папаше. Почему фотографируете? Кто разрешил? Древесный растерянно кивнул на Белялетдинова — вот товарищ разрешил. Полковник надулся тяжелым лицом на космонавта. Вы что же, не знаете правил внутреннего распорядка? Поманил пальцем Древесного. Следуйте за мной. Напареулипо-гудям, сказал за спиной вставшего фотографа кто-то из космонавтов.

Полковник шел впереди по узкому коридору барака. Если впереди, значит не конвоирует, успокаивал себя Андрей Евгеньевич, а у самого от страха кишки слипались. Ничего я особенного не совершил, пленку, в конце концов, можно просто отобрать, аресту не подлежу, расстрелу тем более... Не придуривайся, в то же время корил он себя, не делай вид, что боишься этой дурацкой папаше, признайся, что боишься последующего...

Полковник остановился перед дверью с табличкой "инвентарь", вынул из нахопного кармана связку ключей, подобрал один к ви-

сячему замку. За дверью никакого инвентаря не оказалось. Цементные ступени вели в подвал.

В подвале снова пошли по коридору, только на этот раз мимо стальных тяжелых дверей. На одной из них горела красная лампочка. Следственная комната? Бардак? Войдя, прервали зевок единственной присутствующей персоны, докторши средних лет. Раздевайтесь до пояса, уныло сказала она и отложила "Огоньки Москвы" Андрей Евгеньевич выполнил приказание и застыл, покрытый "гусиной кожей". А вы какой-то, хм... симпатичный такой... — пробормотала докторша, щупая его бока, — ...даже и не скажешь, что такого года рождения...

Манжетка надувается на предплечьи. Очередное и неизбежное восстание ртути. Что же это, Андрей, как вас, Евгеньевич, такое у вас давление высокое? Забракуют, метеором пролетела радостная мысль. Доктор, прошу вас, это не гипертония, это у меня так называемый "симптом манжетки"... вот, когда измеряют, тогда и подскакивает... Умоляю, доктор!

Что-нибудь не в порядке, спросил из угла полковник, углубившийся в "Огоньки Москвы". Все в порядке, сказала докторша и провела пальцем по позвоночнику Андрея Евгеньевича. Товарищ маленько волнуется, но это вполне объяснимо. Товарищ этот годен. Пошли, сказал полковник. Времени мало.

Они углубились еще на один уровень. Там почему-то был дикий холод. Сновали солдаты, возили что-то продолговатое и ржавое, бомбы, что ли, авиационные, нет, кислородные баллоны. Ну, что варешку раскрыл, грубо сказал полковник, давай сюда!

В тускло освещенной гардеробной вдоль стен висели серебристые космические костюмы, а на полках красовались шлемы с надписью СССР. У вас десять минут, сказал полковник. Старший сержант поможет подобрать спецодежду. Подошел хмырь в мятом бушлате, опухшая физиономия выпивохи и плута. Стажил с крюка костюм. Вот этот тебе подойдет, влезай! Вот так просто и влезать, как бы с милым юмором ужаснулся Древесный, кишки теперь бурлили. Хочешь, раком влезай, любезно ответил каптерщик. Однако, здесь молния не расстегивается, товарищ старший сержант. Гребена плать, высказался каптерщик, отсырели молнии, напареули-по-гудям! Курить что-нибудь стоящее есть? Вот "Уинстон". Древесный отдал каптерщику почти полную пачку. Годится, повеселел тот, сейчас я тебе подберу "комбик" клевый, хоть на Венеру высаживайся.

Через десять минут Древесный в космическом костюме и со шлемом на сгибе руки вышел в коридор. Полковник орал на солдат, которые, говна куски, никогда не закрывают при погрузке двери, позорят родину и вооруженные силы безобразным внешним видом, а у тебя, Пшонцо, изо рта разит, как из мусоропровода, доложите командиру — три наряда вне очереди!

Полковник провел Древесного в большой грузовой лифт. Кроме них там оказалась группа рабочих в касках и с цепями. Пока лифт поднимался, никто друг с другом не разговаривал. Синяя краска над плечом Древесного была процарапана соответствующим образом — икс, игрек, и-краткое. Двери лифта открылись, и все вышли на открытую железную платформу, пронизанную ледяным ветром Казахстана. Гремела могучая, едва ли не сатанинская музыка. “Под солнцем родины мы крепнем год от года, мы делу Ленина и Партии верны! Зовет на подвиги советские народы Коммунистическая партия страны!..” Когда на горизонте обозначилась желтая нить начинающейся зари, Древесный понял, что они стоят высоко над землей. Сделав шаг вперед, он увидел внизу освещенную площадку утоптанного снега, и на ней толпу людей в бушлатах и спецовках. Задрав головы, все смотрели вверх.

Железная стена. Вот сюда, пожалуйста! Да ведь это же как раз и есть Она, ракета-носитель “Народ-5”. Вдоль стены поднимается узкая, вроде пожарной, лестница. Дальше вам придется одному, Андрей Евгеньевич. Ну, давайте, традиционным рукопожатием обменяемся. Эх, по-русски говоря, ни пуха, ни пера! На банкет, надеюсь, пригласите?

Древесный вскарабкался еще на одну, теперь уже пустынную платформу. Перед ним в стальной закругляющейся стене медленно открылся овальный люк. Поднимайтесь в “Кремль-один”, сказал радио-голос. Последний раз хлестнула струя казахстанского ветра, взвизг Чингиз-хана. Шаг на шаткую ступеньку, еще шаг, и ты внутри. Люк за спиной задвинулся. Темнота. Бухает собственное что-то. Сердце. Слишком сильно для сердца. Через минуту открылся другой люк, и он увидел рубку “Кремля-1”. Три космонавта сидели, откинувшись в креслах. Одно кресло пустовало. Неужели для меня? Приглушенно звучала героическая музыка “Я, Земля, я своих провожаю питомцев”... При виде Древесного один космонавт нахмурился, другой рассмеялся, третий сказал почему-то по-английски: welcome aboard!

...Нет, это немыслимо! Отрыв от Земли? Выброс в неумолимое, черное, необъяснимое? Кто, в конце концов, позволил эту авантюру? Ведь я же полностью неподготовлен! Я умру от гравитации? Этих жеребцов тренируют годами, а меня просто засунули, как собаку Лайку, едва лишь Полина шепнула какому-то шишке какой-нибудь вздор вроде "нужно защитить позиции Андрея Древесного, надо послать его куда-то". Лечу в космос по блату! Мерзкая, блядская, полная говна безответственность! Сплющенное тело фотографа. А где окажется душа? Лопнувшим пузырьком, лопнувшим пузырьком, лопнувшим пузырьком...

— Постарайтесь при старте не обоссаться, — сказал майор Беляетдинов.

— В каком смысле? — вздрогнул наш герой.

— Не запачкайте штаны. В космосе вонь — паршивая штука...

Древесный захлебнулся в диких чувствах. Неужели все-таки летим? Не факт, сказал командир, шансов на полет полста из ста. Fifty-fifty, — сказал знаток английского. Ракета-носитель "Народ-5" отработана очень хуево, продолжал командир. Преждевременное зажигание, и все, привет с кисточкой. Ну, а скорей всего, просто часа два тут позагораем, а потом домой поедем. №2 Анатолий Кимович Павленко расхохотался. Как в прошлый-то раз, ребята, загорали! №3 Дедюркин хмыкнул с неожиданной злостью. Прошлый раз тут у нас чувиха все-таки сидела, комсомолка ГДР, а с этого козла толку чуть... Андрей Евгеньевич забыл и о космосе, настолько его поразила гримаса отвращения, адресованная непосредственно к нему.

Не успел он, однако, осознать всю внезапность этих негативных чувств, как музыка вдруг оборвалась, заморгала какими-то глазками бесконечная доска приборов, голос, как бы охвативший все пространство кабины, сказал: Надеть шлемы! Через три минуты начинаем отсчет!

Дальнейшее только мелкими клочками прорывалось к Древесному через почти полное отсутствие существования. Отсчета не слышал, но звук "старт" прошел. Вдруг возникла дикая, дичайшая, запредельно дичайшая сплюснутость, сплюснутость, сплюснутость, и, отменив всякое сопротивление, фотограф Древесный Андрей Евгеньевич, 1936 года рождения, умер.

Все-таки немножко он подтек, капельку подмочился. Все-таки

я капельку оскандалился, подумал он с шаловливым смешком, когда смерть прошла. Да хрен с ним, Андрюха, не обращай внимания, сказал чей-то голос. Он открыл глаза и увидел рядом с лицом основательный задок майора Белялетдинова, обтянутый уже не "комбиком", а тренировочными штанами. Все трое космонавтов были уже без скафандров. Облаченные в мягкие тренинги, они висели в воздухе кабины. Павленко как бы на боку, Дедюркин же вверх ногами. Этот последний, превратившийся вдруг из мерзкого жлоба в очаровательного парня, помог Древесному отстегнуться и вылезти из "комбика". Мы все малость ссымся при подъеме, сказал он фотографу и дружески подтолкнул его локтем. Давай знакомиться. Эдик Дедюркин. Я ведь тебя с детства знаю, на твоих фото, можно сказать, рос. С веселым подмигом, диссидентским шепотком на ухо: "обоженное поколение"...

Древесный, хохоча, плавал по кабине, натываясь на своих веселых товарищей. Было, как в детстве, когда научился держаться на воде. Лучше, чем в детстве! Ха-ха-ха, тыкал он пальцем в иллюминатор, "планета голубая по имени Земля"... Вот за что я люблю космос, сказал Толя Павленко, за эту эйфорию. Как будто после первой банки, и держится долго. Эх, потер руки Марат, вот до "Памира-восемь" доберемся и "пулю" распишем... Эдик, швырни мне камеру с-под-сидения, залиvistым каким-то голосом попросил Древесный. Камера подплыла. Он начал снимать. Экое кувыр-кание, экое счастье, детство человечества. Первая космическая (!!!) серия Андрея Древесного "Детство человечества"!

Ну, хватит ребята, сказал всеобъемлющий голос. По местам! "Памир-8" в поле зрения! Эйфория продолжалась еще довольно долго по мере приближения к космической лаборатории, похожей на примус. Командир выдвинул в космос стыковочное устройство, весьма убедительный стальной дрын с резьбой. Ввожу шершавого, передал он на Землю старую космическую шутку, и, несмотря на то, что шутка эта пятнадцатилетней давности была обсосана до дыр, экипаж "Кремля-1" покатился с хохоту.

К моменту перехода на "Памир-8", однако, эйфория, в общем и целом, испарилась. Для Древесного этот переход оказался неприятнейшим испытанием. Стыковочный шлюз показался ему каким-то клаустрофобическим капканом. На мгновение он даже потерял ориентацию и стал как бы биться в боковые стенки, забыв о том, что за стенками бесконечность. Это продолжалось, впрочем, всего одно лишь мгновение. Уже в следующее мгновение

он просунул лицо в пыльный мутный свет “Памира-8”. Прибывший ранее Эдик Дедюркин всей пятерней схватил его за нос. Здорово, балласт! Готовься к сбросу!

* * *

ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ – ЭМИГРАЦИЯ

(Беседа В. Аксенова с членами редакции журнала “22”)

В моей, так сказать, официальной писательской судьбе в Советском Союзе были разные периоды. Был период действительно огромного успеха и огромного читательского охвата — это мой начальный период, шестидесятые годы, когда читатели собирались на довольно дурацкие по нынешним временам, но тогда, видимо, не очень дурацкие дискуссии по поводу “Звездного билета”, и успех был — в общем-то неадекватный, какого в принципе для прозаика не предусматривается. Затем, в конце шестидесятых — начале семидесятых годов круг моих читателей сузился невероятным образом, просто до кучки друзей, не больше. Я был еще, так сказать, по старым векселям знаменитый писатель, но все меньше и меньше знаменитый, и обо мне все чаще проскальзывало официальное такое мнение, что, дескать, исписался, дескать, был такой певец молодежной темы, звездных мальчиков, а теперь ему больше нечего сказать. И это обо мне говорили тогда, когда у меня было самое плодотворное время. Только, увы, все, что я писал, шло практически в стол, две трети написанного не было напечатано, и читал это только узкий круг друзей — да еще КГБ, как выяснилось, читал.

С этого времени мои отношения с читателем стали кризисными. Я даже одно время шутил — вот, мол, посмотрите, как-то меньше читателей стало на улицах. Идешь и видишь, что это уже читатели других писателей навстречу идут... А моих все меньше, они куда-то слиняли. Так не последовать ли за ними?

Вот пример: “Ожог” я закончил в 75-м году, а в “Ардисе” он вышел в 80-м. И кто его читал в течение пяти лет? Максимум сто человек.

Разумеется, это не я потерял читателя, а читатель потерял меня. А вдобавок, у меня было ощущение, что меня очень направленно выталкивают из советской литературы. Меня выталкивали в сценарии и переводы, в определенную узкую область, где я мог зарабатывать себе на жизнь. Я уже понимал, что почти не могу с “ними” иметь дела, с тем обществом, которое возникает, не могу писать так, как “им” нужно. И вот в 72-м году я провел такой эксперимент. Я написал “Золотую нашу железку”. Я понимал, что уже не могу существовать в официальной литературе с тем, что я хочу писать, и решил попробовать, могу ли я хотя бы писать так, как мне хочется сейчас писать, чисто формально. Примут ли “они” форму? И вот я написал эту повесть, ностальгическую такую вещь, и выложил в ней формально — написал так, как я тогда хотел.

И что интересно? В 67-м году “они” приняли мою “Бочкотару”, но в 72-м “Железку” уже не приняли. Времена изменились, “они” уже этого не

кушали, "они" уже ели деревенскую прозу, жрали эту самую деревенщину, а "Железка" уже "их" абсолютно не устраивала. Вещь прошла множество журналов — "Юность", "Новый мир", несколько раз была близка к напечатанию, но всегда вдруг наступал какой-то момент, когда все отказывались.

В конце концов, я понял, кто это все торпедирует. Есть такой Альберт Беляев, который сидел в ЦК и сейчас сидит, наверно. Нет, это не просто один из партийных работников — это представитель направления, он возглавляет и осуществляет это направление. И я пошел на такой вариант — я понес эту вещь в ЦК и спросил, — вот, я сейчас так пишу; если это не подходит, что же мне — в литературные ремесленники подаваться? И они мне ответили, что таких вещей они печатать не будут. Они не прямо так ответили, они сказали: эту вещь нельзя напечатать в большом журнале. Ее можно напечатать в маленьком журнале для сугубо литературной публики. Я сказал: печатайте в маленьком журнале, для сугубо литературной публики. А у нас таких журналов нет, отвечают. И когда я сказал: но вы понимаете, что у меня, в общем, как-то кончается терпение? — мне на это ответили: да, понимаем. Нет, не горько, а — с готовностью; да, понимаем...

Вот этот Альберт — настоящий хозяин русской литературы, был, есть и какое-то время будет, наверно, потому что он еще нестарый мужчина, Альберт Андреевич Беляев... Ужасающий беллетрист-маринист, этаким графоман — пишет рассказы на морскую тему. Нет, ему не с кем входить в конфронтацию. Это с ним могут входить в конфронтацию, а ему не с кем, он — хозяин!

Впрочем, это не персона, о которой стоило бы говорить. Что же со мной произошло? Я себе сам напоминал ракету, которая взлетела, набрала высоту и тут вдруг ее поворачивают. Я бы, собственно, мог и дальше так лететь, но мне хотелось переменить курс. Поэтому меня и остановили. И "они" переменили курс, и я переменял курс. В том-то и дело, что образовался такой круг: "они" жестче, и мы жестче. Чем жестче "они", тем жестче мы, и в результате получается полная уже несовместимость. Полная несовместимость...

У меня не было тоски по этой паршивой славе, клянусь, абсолютно честно — не было. Но меня ужасно злило, что у меня все больше и больше накапливается вещей, а какие-то мерзавцы, вроде Беляева, меня уже списали "в тираж". И тогда я принял решение печататься за границей. Это был переломный момент. Первой я напечатал "Стальную птицу", написанную еще в 65-м году, напечатал в "Ардисе". "Они" как бы не заметили, посмотрели сквозь пальцы. Позже мне Феликс Кузнецов так и сказал: мы посмотрим на это сквозь пальцы, если ты дальше будешь сидеть тихо. Он предупредил меня, еще не зная о "Метрополе", но уже зная об "Ожоге", — потому что по поводу "Ожога" уже приходили гебешники, прямо ко мне домой. Они говорили: "Василий Павлович, нам попал в руки "Ожог"... Я спросил: "Как это попал?" Они говорят: "Позвольте нам на этот вопрос не отвечать. И не подозревайте никого из своих друзей. Мы потратили полгода, чтобы добыть..." Не знаю, где они добыли, да это и неважно. Они говорили так: "Понимаете, если вы напечатаете эту вещь, у вас два выхода — или каяться, или хлопать дверью. А мы не хотим терять такого писателя, как

вы, мы вас очень ценим. Подождите, Василий Павлович...” Я говорю: “Чего ждать?..” Такой, в общем, был разговор, довольно трудный и долгий, часа два с половиной мы с ними разговаривали. Они, может, и вправду мне добра желали, может — это с их точки зрения добро, но они с самого начала стали обманывать.

Я все время понимал, что я медленно, но верно перехожу в другое качество. Из официальных в полуофициальные, из полуофициальных — во фрондерские и так далее. Но страшно не было. Страшно было только в последние полгода, когда началась история с “Метрополем”. Они сразу после того визита установили слежку, но она была не очень плотная. А вот, когда “Метрополь” вышел, слежка уже стала открытой, были всевозможные провокации. Это был уже открытый конфликт. И тогда я подумал, что тут, видно, мне уже не светит ничего, надо уезжать. Я понял, что если останусь, то перейду совсем в другое качество, даже перестану быть литератором — не в том смысле, что писать не буду, а в том, что стану политической фигурой, диссидентом. Я мог остаться и бороться, но тогда я стал бы другим человеком. Поэтому у меня уже не было, в общем, выхода. И тут они мне разрешили выехать — как бы в гости к кому-то. А сразу же следом — приняли решение лишить гражданства.

Так что все это не сразу произошло. Не было такого — был официальный писатель и вдруг взбунтовался. Это был медленный бунт. Конечно, был психологический перелом, но постепенный. Я уже говорил, — мои любимейшие вещи годами читала кучка людей. Я писал по заказу детские книги, сценарии, исторические романы всякие, — чтобы жить. А мое настоящее читала только кучка людей!

Сейчас мне даже немного скучно из-за того, что нет никакой борьбы: что ни напишу, отдаю Профферу, и через пару месяцев книга выходит. А что касается тиражей, то двухтысячный тираж в “Ардисе” — в пересчете на нашу эмиграцию — все равно, что два миллиона в Советском Союзе, так что сейчас мои тиражи, круг моих читателей невероятно увеличился. А кроме того, у меня остался ведь и международный читатель, читатель переводов. У меня до отъезда было 110, кажется, переводов на разные языки. И сейчас меня продолжают переводить — правда, медленней, но тем не менее — вот во Франции только что вышли два романа, вызвали массу рецензий. Тоже тешит тщеславие, что говорить. Но, конечно, переводят меньше, чем в 60-е годы. Во-первых, тогда им переводы ничего не стоили — не было конвенции, а во-вторых, есть еще одно обстоятельство. Недавно одно французское издательство отказалось от перевода моей книги. И не только моей — они выбросили из плана сразу несколько эмигрантских имен. Видимо, советские попростили. Оказали давление. Я, правда, денег на этом не потерял — другие издали, даже лучше.

Так что в отношении связи с читателем переезд не произвел во мне никакого... опустошения, что ли. Я даже не могу сказать, в каком смысле он вообще произвел опустошение. Вот только грусть какая-то иногда охватывает, что близкие не со мной, а иногда — какая-то злость: вот сволочи какие — выставили. И не то, что выставили, а — закрыли путь обратно, ничего не могу больше увидеть. Я не уверен, что вернулся бы

туда совсем. А поехать — поехал бы, если бы произошла либерализация. Меня ведь лишили гражданства...

На Запад я приехал с обширными литературными планами. О жизненном багаже и говорить нечего, — когда в 48 лет уезжаешь из страны, прошлого тебе хватает. Я уже три года живу, окруженный совсем другой жизнью, и воспринимаю ее уже как-то "изнутри". В общем, я ее воспринимаю со знаком плюс. Хотя это не значит, что я всем восторгаюсь. Я стараюсь быть внутри американской жизни и в то же время не порывать со своими. А то некоторые сразу здесь начинают: у нас уже и русских знакомых почти нет, мы такие разамериканские... Я этого не понимаю.

Конечно, новая жизнь не может не отразиться в том, что я пишу. Но Запад и раньше отражался в моих вещах. Я ведь в некоторые периоды своей жизни был "выездным". Я начал путешествовать году в 62-м. Потом мне лет на пять закрывали визу, опять открывали и снова закрывали, но так или иначе — мир я знал и каким-то образом это отражалось. Но то был, конечно, взгляд советского человека. Когда я сейчас перечитываю свои дневники 75-го года (я был тут два месяца в 75-м году), то вижу, насколько это был взгляд беззаботный, туристический, карнавальнй... Теперь, когда я оказался здесь, я уже воспринимаю американскую жизнь изнутри, уже порой с ворчанием, порой с критикой. В общем-то, конечно, мы не американцы и никогда ими не станем, но я, как писатель, стал эмигрантским писателем. Я могу наслаждаться ощущением бродяжничества и в то же время страдать от этого ощущения. Так что все преимущества и недостатки изгнания — они ощущаются и будут ощущаться, и я думаю, что в смысле творческом они должны дать какие-то плоды, эти чувства изгнанника, ситуация перекасти-поля. Вот, к примеру, в последнем моем романе, "Бумажный пейзаж", все московские герои, все без исключения, в финале оказываются в Нью-Йорке. И я попытался творчески использовать нашу беду, наш отрыв от языка, использовать себе на пользу этот особый эмигрантский язык, поиграть с этой смешной языковой структурой. Так что мне кажется, что мы можем и наши беды хитрым таким образом обратить себе в выигрыш. А кроме того, само ощущение открытого пространства и тот факт, что мы, русские интеллигенты, спустя много поколений, снова оказались в международной среде, — мне думается, это может принести какую-то пользу и всей нашей культуре.

Американскую литературу я читаю мало. Я по этому поводу всегда говорю: чукча не читатель, чукча писатель. Но все-таки я стараюсь знать, что тут происходит, быть в курсе, слежу за периодикой. Мне кажется, что происходит упадок, серьезный упадок. Вот недавно Наврозов критиковал Апдайка и Филиппа Рота, сравнивал их с советскими писателями начала 50-х годов, с Бабаевским и Бубенновым. Конечно, это парадоксализм, который способен вызвать только улыбку, но в чем-то я его понимаю, как ни странно. Такой блестящий писатель, как Апдайк, — я очень люблю прозу Апдайка, стараюсь за ним следить, читаю все, что появляется, — и вот такая опустошенность на него идет, такая пустынька... Я помню, мы еще в Москве с Андреем Битовым об этом говорили. Вообще, вся эта группа американских писателей из Новой Англии — она оказывается по сравнению с нами в очень невыгодном положении. Они — замкнуты на элиту, которой

грош цена, на псевдоинтеллектуальные нью-йоркские круги, на литературное болото. Они дико изолированы и дико равнодушны. Может, и мы были бы такими же равнодушными, если бы жили их жизнью. Но у нас жизнь драматичнее, она — хотим мы этого или не хотим — полна драмы. Я как-то был на собрании наших эмигрантов и вдруг подумал: а ведь о каждом из них можно приключенческий роман написать! Именно приключенческий, я не говорю о психологическом романе — страдать и написать великий роман можно и в Америке. Но у меня возникает ощущение колоссального равнодушия, охватившего американскую литературу. Вот пример: они все чаще начинают писать о писателях. Герой писателя становится напрямую писателем. Это путь самого малого сопротивления, это полное падение. Аппайк пишет роман о писателе, Филипп Рот пишет роман о писателе, Сол Беллоу пишет о писателе. Это просто какое-то нежелание выйти в мир, в окружающую жизнь, увидеть свою собственную страну. Америку ведь не назовешь благополучной страной, несмотря на все ее богатство. В ней есть масса скрытой — и не только скрытой — драмы.

Некоторые считают, что они тут, в Америке, так зажирели, что у них и драм-то нет, нет переживаний, поэтому нет литературы. Я с этим не очень согласен. Вот ведь и во Франции нет сейчас серьезной, большой литературы. Может, это вообще естественный такой антракт, перерыв? Может, литература вообще переживает кризис? Но когда мне говорят, что искусства нет, потому что нет страданий, что, мол, не может быть культуры без страдания, и на этой почве рождается великая русская или, там европейская культура, — с этим я не согласен. Я думаю, что это мазохизм. Это русские мазохистские комплексы, от которых все уже устали и сами русские в первую очередь. Мне кажется, не обязательно все время страдать, чтобы писать о страданиях. Если бы мне сейчас сказали: может, тебе не о чем писать, так давай, мы тебя снова сунем в Магадан 48-го года, в барак, и там за мамой опять гебешники припрутся, — я бы не согласился. Хватит, надоело. Достаточно.

Конечно, есть в американской культуре, в их жизни такое стремление облегчать страдания, пытаться все жизненные трагедии решать — компромиссом ли, технологически или, там, на кушетке психоаналитика, но мне кажется, что эта их особенность на большой американской литературе если и отражается, то крайне косвенно. Это — предмет сатиры, массовой культуры. А равнодушие, изолированность большой литературы — это что-то другое. Мне кажется, тут происходит кризис книги вообще. Во-первых, огромная творческая энергия уходит в зрелищные виды искусства. Скажем, уровень американского кино в сравнении с мировым очень высок. А кроме того, идет технологическая революция. Я тут наткнулся недавно на высказывание Бредбери. Он сказал: коммунизм, Третий мир — все это ерунда по сравнению с той революцией, которая сейчас начинается, технологической революцией. Мы еще даже не можем себе представить ее подлинные масштабы. И вот что любопытно: технология оказывается злейшим врагом тоталитарной структуры. Она сама может порождать тоталитарные структуры — другие, конечно, — но она разрушает политический тоталитаризм. Советский Союз смертельно боится всех этих копируемых машин, глобальных спутников связи. А когда войдут в быт микрокомпьютеры и книга пре-

вернется в крохотный диск, контролировать литературу станет вообще невозможно. Конечно, это развитие может опустошить и саму литературу. А может дать ей совершенно невероятные возможности.

С моей точки зрения эта технологическая революция — непонятный еще нам промысел Божий, послание свыше. Вот я сейчас пишу роман о фотографах. (На самом деле это о писателях, но чтобы не уподобляться мистериу Апдайку, я их назвал фотографами.) И я стал углубляться в фотографию. Откуда она пошла? Она ведь пошла от алхимии! Алхимик смешивал свои вещества, чтобы найти философский камень. Камня он не нашел, но у него получилось однажды блестящее вещество, способное удерживать изображения. Это была смесь серебра с чем-то там еще. Может, это был результат его поисков, а может — хвостик того вселенского духа, который им руководил? Ведь что такое вообще фотография? Это же какое-то мистическое искусство: человек уходит, умирает, а его энергия, прана, остается на фотографии и после его смерти! Как в нерукотворном образе Иисуса. И вот, то, что происходит сейчас, все эти сложнейшие копируемые машины, невероятные средства коммуникации, микрокомпьютеры — это тоже послание свыше. Ведь все это дает людям колоссальный новый выбор. Человеку 19-го века, чтобы послушать Бетховена, нужно было в дилижансе десятки километров трястись. А сейчас каждый может у себя дома иметь собственный оркестр и за пять долларов слушать своего Бетховена. И я не думаю, как кое-кто, что этот поток жизни, мол, разрушает “подлинное” искусство, которое мы, творцы, якобы призваны сохранять. Я ничего особо разрушительного тут не вижу. Ну, побушуют молодые, а потом возникнет новая мода — скажем, ближе к барокко. Вот ведь и панков уже не слушают, возродилась мода на классическую музыку, в крупных городах есть радиостанции, которые круглые сутки шпарят классику. Когда говорят: сбросим Пушкина с парохода современности! — я понимаю: Маяковский и его друзья были такими же панками 14-го года, молодыми, задиристыми, они были нужны, конечно, но Пушкин-то от этого не пострадал...

Нет, я не вижу во всем этом ни малейшей угрозы. Конечно, эта массовость или, как говорят, “демократизация искусства” пока работает на искусство массовое, элитарному вроде приходится труднее. Но если таких возможностей у него пока нет, то ведь развитие идет к тому, что они скоро появятся. Развитие ведет ко все большему выбору. Даже телевидение с его “мыльными операми”, над которыми так смеются, тоже ведь приносит человеку все больше выбора. А дальше уже твое дело, что ты выбираешь: мыльную оперу или Прокофьева.

Вот почему я сомневаюсь, что все новое обязательно должно быть разрушительно. Мне кажется, что и искусство — не разрушение, а расширение. Расширение видимой реальности. Пусть оно не нарисовано, не снято, не написано еще — оно уже где-то существует. И когда оно осуществляется каким-то мастером, то в окружающем пространстве появляется нечто, вызванное откуда-то, то есть наш мир расширяется, в мире появляется некое новое тело. И эти тела, созданы ли они в 20-м веке, в 29-м или в 9-м, движутся по каким-то своим орбитам, светятся, могут противоречить старому, могут не противоречить, это не обязательно, главное, — что они существуют. Они извлекаются из реальности, я это знаю по себе. Когда я

начинаю повесть, роман, рассказ, они представляются мне какими-то спиральями, которые начинаются на самой поверхности, в самой густоте жизни. И чем больше вокруг реальности, тем сильнее движение этой спирали и тем легче мне — наступает такой момент — оторваться и полететь. Или упасть обратно...

Нужна реальность. А какая — не так важно. Я даже думаю, что самое лучшее положение для литературы — это ситуация изгнания, эмиграции.

Но я боюсь, что за такие слова на меня все набросятся.

Беседу вели А. и Н. Воронели

- . Она меня любит, я тоже себя люблю — нам есть о чем поговорить.
- . Нужно каждый свой день начинать сначала.
- . Особо затасканная особа.
- . Нужно не уважать себя, чтобы что-нибудь делать плохо.
- . Мягкий интеллигентный голос в уборной: “Вы уже посрали?”
- . Она смотрела на него потными глазами.
- . Жить надо так, чтобы не нуждаться во второй попытке.
- . Парк культуры имени Отдыха.
- . Авторитет уходит в горы.
- . В этом доме жили Изверги и Громберги.
- . Белоеврейские банды.
- . Военный и военно-морской патриотизм.
- . С кем вы, мастера художественного доноса?
- . Рыцари без страха, но с упреком.
- . Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это интимно.
- . С той поры прошло восемь получек.
- . Журнал “За рублем”.
- . Полиявшие плакаты продолжали хранить свое достоинство: “Достоинство встретим... Достоинство проведем...”
- . Я водкой бы выгрыз бюрократизм.
- . Нам Сталин дал стальные руки-крылья, а вместо сердца каменный топор.
- . Нелегальное выступление кукиша в кармане.
- . В критической статье шло полицейское перечисление фамилий.
- . Было время, когда подлость была делом государственным, сейчас подлость — дело общественности.
- . И вечный шмон, покой нам только снится.
- . Она смотрела на меня жестокими завербованными глазами.
- . Все ешь, ешь, никак опомниться не можешь.
- . Прошла дама в белых вязаных копытах.
- . Господи, почему я родился в этой стране. Я мог бы родиться совсем в другой стране, Господи!

Вениамин Волох

У гардеробщика были мутные глаза, он с трудом держался за стойку. Он входил на орбиту постепенно: видно, любил в эту пору начинать.

— Вы уже выходите? — спросил он.

— Нет. Только вхожу.

— А мне казалось, что вы были и что-то оставили. Даже помню, что.

— Верно. Я на минуточку выскочил и возвращаюсь.

Он был любезен, но строг. Его сдержанность по отношению к клиентам была оправданной: множество людей дожидалось места, стоя в очереди, взбиравшейся по лестнице вверх, а кончавшейся на улице.

Я вошел в зал. Этого ресторанного зала я не видел уже много лет, хотя здесь, именно здесь начинал свою биографию. Его, видно, не раз перестраивали, но он сохранил свою первоначальную форму глубокого колодца, поверху обрамленного галереей, куда сажали гостей похуже, каких-нибудь командировочных сопляков. В настоящее время "Рай" демонстрировал стиль модерн в стадии руины. То есть архитектурной и убранством он не отставал от мировых стандартов, но в то же время напоминал руину прямо перед тем, как ей рухнуть. Таков, впрочем, был стиль всего государства. Словно все эти люди ждали скорого пе-

Тадеуш Конвицкий

МАЛЫЙ АПОКАЛИПСИС

(окончание; начало в №35)

Сокращенный перевод

с польского

Наталии Горбаневской

реселения в новую страну.

Но столики были заняты. Официанты с трудом протискивались узкими ущельями в сторону мрачной кухни. По паркету шастало несколько пар. Наигрывал сборный инвалидный оркестр союза столичных музыкантов. Об этом извещала надпись на колонне из искусственного песчаника. Второе граффити гласило, что официанты стали на социалистическую вахту.

Места же все не было. Я стоял с краю и пронзал взором красно-голубой полумрак. Наконец я увидел Кольку Нахалова, который сидел за щедро уставленным столиком, а с ним — блондинка с таким высоким начесом, каких и старожилы не припомнят. У нее было огромное красное лицо с энергичными морщинами, большой рот, еще увеличенный густой, кроваво-красной помадой, и насчет бюста у нее тоже все было в большом порядке. Ничего не поделывать, приходилось искать поддержки у Кольки.

Я подошел к столику, церемонно поклонился.

— Места ищешь? — спросил Нахалов. — Садись, браток, не стесняйся. Разрешите, пани: мой товарищ, известный писатель.

Видно было, что ему льстит это знакомство, что оно возвысит его в глазах блондинки.

— Спасибо. Я на минуточку. Съем что-нибудь и тут же побегу.

— Да хоть до утра оставайся, правда, пани Гося?

Она с достоинством наклонила осиное гнездо золотистого начеса, а я поцеловал ей ручку, украшенную черноватыми веснушками.

— Это хорошее знакомство, браток, — сказал Колька. — Пани Гося управляет кинематографией.

— Ого, — вежливо удивился я.

— Ее специальность — брать у государства внаймы лопнувшие предприятия. Когда-то это были заводы, универмаги, а теперь она перебросила силы на культурный фронт.

Пани Гося мило улыбнулась.

— Колька вечно преувеличивает. Я, знаете, перекупаю у министерства культуры брошенные фильмы. Понимаете, такие, которые не удалось довести до конца. У них все хуже дела с производством. Режиссер, оператор все время сражаются с общей импотенцией. С тем, что люди опаздывают, не приносят реквизит, забывают о сроках, теряют отснятую ленту, а главное — не просыхают. Ну, и через несколько недель производство само собой угасает. Все исчезают, остается пустой кабинет и режиссер, близкий к са-

моубийству. Тут появляюсь я, беру фильм за полцены и кончаю его со своей бригадой.

— И “Переливание крови” пани Гося закончила, — похвалился Колька.

— Так я же плачу. У меня воровать не нужно.

— Отличное изобретение.

— Знали бы вы, какое! Ко мне приезжают на исследования профессора из Института планирования и статистики. Я подопытный кролик, — она засмеялась, показывая зубки, вымазанные той же помадой.

Колька подозвал официанта. Это был сумрачный брюнет в заляпанном смокинге. Он злобно ждал, держа карандаш на блокнотике бланков-счетов.

— Я бы взял рагу, — сказал я неуверенно, — но из чего это рагу?

— Я не знаю. Меня это не касается. Есть в меню рагу, и ладно. Что мне, на кухню ходить, в кастрюли заглядывать? — завелся официант.

— Что ж вы нервничаете? — сказал я мягко, пытаюсь его задобрить.

— Вас это удивляет? Все жрут, а я работаю.

— Тогда, пожалуйста, рагу.

— Все? А то я по несколько раз подходить не буду.

— Спасибо. Все.

Официант ушел куда-то в тьму. Колька понимающе заулыбался.

— Он вначале всегда такой. А под утро ставит гостям “Золотую осень”. Кстати, дерябнешь?

— Попробую, — ответил я.

Он до краев наполнил хрустальную рюмку очищенной из импортированного картофеля. Но сбоку по рюмке потекли серебристые капельки.

— Ну, не будем тянуть, — молвил Колька. — Гранильщик хватил по хрусталу от всего сердца, вот и течет. За гранильщика.

Мы осторожно чокнулись. У меня уже было мокро в рукаве. Меня шатнуло от этой жидкости, но я пересилил себя и проглотил жгучее содержимое.

— А может, будет хорошо, — сказал я тихо.

— Конечно, будет. Почему бы нет? — произнес Колька.

Оркестр теперь играл какое-то амбициозное сочинение родимого модерниста. В стране не хватало валюты на авторские иностранные

ранцам. Никто не протестовал, все привыкли. Танцоры разошлись по столикам. Я закрыл глаза, и мне показалось, что все так, как тогда. В тот вечер тоже кто-то играл на рояле свое сочинение. А я сидел с девушкой, которая потом стала моей женой.

— Я вас, пожалуй, откуда-то знаю, — нарушила молчание пани Гося.

— Я всем кого-то напоминаю. Точней говоря — всякому кого-то другого. Так, словно меня вообще нет. Меня отдельного, индивидуального, с собственным неповторимым генетическим кодом. Я — это каждый, уважаемая пани, я рядовой прохожий, я чуточку Колька, чуточку официант, а может, даже — лщцу себе — чуточку вы, пани, достопочтенная продюсерша “Переливания крови”.

Только теперь я заметил, что кое-где по стенкам стоят брошенные плакаты демонстрантов, укрывшихся в “Раю”.

— Это что, новая секта или вообще новая религия? — спрашивает Гося.

— Простите, я не расслышал.

— Ну, то, что вы говорите.

Потрескавшиеся стены, ржавеющая позолота, испорченное мигающее электричество. Модернизм, умирающий от инфаркта. Красно-голубой полумрак полон чудовищных лиц. Каждая рожа — как смертный грех. Каждое рыло — кощунство. В стенах гудит, в ушах звенит, на чердаке воет. Глас гнева Божия.

— Ага. Есть. Вспомнил.

— Что вы вспомнили?

— Отчего у меня похмелье.

Оркестр перестал играть и тут же задремал. Едва прислонили головы к инструментам — и уже спят.

— Выпьем, — говорит Колька. — Погляжу-ка, чего это они не подают.

Теперь пошло гладко. Пахта, сибирский эликсир, бокал кавказского вина, ну, и родимая картофельная. Я еще жив, но уже догоняю предназначение. Колька нетвердо встал на ноги, двинулся в сторону таинственного кухонного сумрака, где привидениями носятся невидимые духи нашей гастрономии.

— Вы ниспровергатель, — вполголоса говорит пани Гося. — А я всегда воображала, что ниспровергатель — это дикий, длинноволосый юноша.

— Чего же вы хотите, режим постарел, и мы постарели. Сlish-

ком все это затянулось. Длинноты во всем спектакле. Драматургия ни к черту.

— Вы уже основали новую секту или только собираетесь?

— Моя секта — это я сам. Я сам в каждом из вас. Потому что меня реального, биологического, с адресом и биографией, вообще нет. Я живу в вас, как вирус, моральный вирус, или как бактерия совести. А может, как энзим порока. Главное дело, пани, что я отсутствую — точнее, не существую. Вы слышите тексты из репродуктора, волны, заблудившиеся в эфире, никем целенаправленно не передаваемые, просто какие-то отголоски, рикошеты ваших волн, монотонное мурмурандо из божественного горла.

— Когда вы это все выдумали?

— Я ничего не выдумал. Это мне открылось.

— Сегодня? В самый полдень, когда раздались пушечные залпы?

— Нет. Вчера ночью. Потому-то у меня похмелье.

В овале ниши виднелся угол гардеробной стойки. Кутька как раз вскочил на ее лоснящийся от старости верх и, любовно глядя в мою сторону, вилял обрубок хвоста, давая знак, что он тут и ждет. Я показал ему, что еще не пора.

Приплыл Колька Нахалов, порозовевший еще одним тоном выше.

— Позволь, Гося, шеф-повар просит тебя зайти.

— Извините, я на минуточку, — она встала со стула, и я увидел, что она в брюках. Толстые женщины любят брюки.

Вокруг гудело, как в долине Иосафата вечером накануне Страшного Суда. Все голоса сливались в один душераздирающий жалобный стон. Сверху, словно из чистилища, нас созерцали лица недобрых ангелов. Но это были всего лишь те клиенты — из провинции, похуже разрядом, — кому удалось получить паспорт на поездку в столицу в день величайшего праздника XX века.

— С кем ты сидишь? — услышал я издевательский голос.

Это был Рысь Шмидт, но совершенно переименовавшийся. Он будто похудел, будто серебра у него в волосах прибавилось.

— С такими, у кого мощна тугая. Садись, и тебе поставят.

— Мне не надо, — сказал он надменно и сел. — Можно? — он показал на бутылку житной из импортного картофеля.

Он налил себе в стакан из-под минеральной воды, выпил и уставился мне прямо в глаза.

— Умер, — сказал он.

— Когда это случилось?

— Его еще треплют разные там машины в реанимации, но я знаю, что он умер. Он уже видит Господа Бога. Вытаращил глаза и наглядеться не может. Он уже по ту сторону.

Музыканты вдруг проснулись и заиграли вариации на темы вальса “На сопках Маньчжурии”. Чтобы не платить валютой. Я еще больше разжалобился.

— Хотел бы я его повидать. Я знаю, что он мне не все сказал. Он всю жизнь скупился на концовку.

— Скоро увидите.

Подошел официант с тарелкой.

— Вы заказывали рагу?

— Да. Спасибо.

— Пожалуйста, талон на мясные блюда.

Я вынул горсть талонов на месяц вперед.

— Можете все забирать. Мне они больше не нужны.

Официант нахмурил смоляные брови.

— Я тут что, милостыню собираю? Можете отдать в фонд борьбы с колониализмом.

Он старательно выбрал один талон, остальные бросил на стол передо мной. Они лежали бесстыдно, как наличные, которыми пренебрегли.

— Простите, — сказал я.

Но он уже возвращался на кухню, в ярости толкнув по дороге какого-то провинциального потребителя.

— Это он только так, — объяснил я. — Колька обещает, что под утро он поставит “Золотую Осень”.

— Тебе, правда, не нужны эти талоны? — спросил Рысь.

— Я уж давно не ем мяса. Мировоззренческое решение. Каприз пожилого господина.

— Мясо дает силу.

— Мне уже силы не нужно.

— А по бабам? На это ты всегда был лаком. Хотя в городе говорят, что лаком — и только.

— Слушай: хочешь — так бери. Тебе сила пригодится.

— Как хочешь, могу и взять. Что ж им впустую пропадать?

Стыдливо, оглядываясь по сторонам, он спрятал красные талончики во внутренний карман. Какие-то пары раскачивались на микропаркетке.

— Который час? — очнулся я.

— Пол-третьего.

— Много еще времени. Целая жизнь.

— А где этот, ну, знаешь, бензин? — щепнул Рысь Шмидт.

— Не бойся, не пропал. Дождается в холодильнике раздевалки. Градусу набирается.

— Господи Боже, Губерт, несчастный Губерт.

Оркестр пиликал вальс, и вальс сплетался с Надеждой. Горько мне стало и — странно приятно. Встречу ли я ее еще? Пожалуй, да — такое у меня предчувствие. А мои предчувствия в том, что касается женщин, ни разу меня не подвели. И дурные, и хорошие.

Рысь Шмидт писал элегантную прозу, интеллигентскую. Он нес себя с достоинством и умело создавал вокруг себя атмосферу — несколько, впрочем, старосветскую атмосферу артистизма. Утром он разыграл рубаху-парня, честнягу, но это была тактика, и меня эта искусственная сердечность не

проняла. Мою работу Рысь слегка презирал. Меня он любил, но прозу мою не уважал. Он был профессионал, я — любитель. Профессионалы презирают любителей. Кроме того, он знал, что я знаю, что он пишет книги со специальным усилием: так, чтобы их легко было перевести. Рысь ото всего отказался и целую жизнь посвятил карьере всемирного масштаба. Он так этого жаждал, что в конце концов добьется своего.

А сейчас он смотрел, как я, не ощущая вкуса, клюю странное блюдо, по чьему-то капризу названное рагу.

— Он сам себя сжег, — сказал я.

Рысь одеревянел, замер с бутылкой в руке.

— Кто?

— Губерт. Внутренне сжегся. Он жил на страшных оборотах. Знаешь, я не только мыслей собрать не могу, но и своего самоощущения. Словно с привязи сорвался. Сквозняки меня швыряют во все стороны. Мне следовало бы пасть на землю и взвыть. А я тут жую рагу.

Рысь глядел вверх, в сторону чистилища, где серебрились пепельные отблески дневного света.

— Слушай, слушай, — сказал он медленно, — там сидит Цабан.

Он хочет с тобой поговорить.

— Где? Не вижу.

— На галерее. Недалеко от окна. Галина тебе его покажет.

— Какая Галина?

— Ну, которую ты уже знаешь. Гляди, на лестнице ждет.

Действительно, на лестнице, позади оркестра, стояла Галина. А музыканты все играли "На сопках Маньчжурии", и мне казалось, что они так и играют с утра. Я встал, пробрался за спинами инвалидов.

— Да, он хочет с вами познакомиться, — сказала Галина шепотом.

Я шел за ней и по пути вглядывался в плотного мужчину в помятом фланелевом костюме, одиноко сидевшего за круглым столиком возле окна, завешенного прозрачным тюлем. Я вошел в полосу дневного света, в пушистый свет осенней предвечерней поры.

— Садитесь, — сказал он вполголоса, но со звучанием металла.

Я послушно сел, хотя был старше его этак на десяток лет. Столик был пуст. На нем стояла только большая пепельница, наполненная оставшимися от предыдущих клиентов окурками.

Я его ничуть не заинтересовал. Он глядел за окно на почерневшее, замызганное здание партии, над которым метался огромный шелковый красный флаг.

— Не люблю интеллигентов, — промолвил он наконец.

Я поглядел на него удивленно. Но он хранил неподвижность,

обратясь ко мне профилем. Опять какая-то горстка нетрезвых демонстрантов шла по середине мостовой в сторону Аллей. Они несли какой-то плакат с какой-то неразборчивой датой.

— Истерики они. Чересчур чувствительные бабы.

— Вы хотели со мной поговорить.

— Вот я и говорю.

Он обнаглел от сознания своей миссии, привык, что все его слушают, и со вкусом играл роль диктатора. А эта залоснившаяся фланель выглядела на нем королевской мантией.

— Я слушаю, — сказал я.

— Вы много лет назад ото всего отошли. Самоцензура не позволяла?

— Почему самоцензура? Куча всяких причин.

— Ну, каких, например?

— Что мне, перед вами исповедоваться? — спросил я чуть резче.

Он сверкнул белком в уголке глаза, но не повернулся ко мне.

— Чего вы боитесь?

— Как чего?

— Ну, тюрьмы боитесь, допросов, мелких преследований?

— Я боюсь не за себя.

— Ну-ну, — подгонял он. — Так за кого? За нас? За всю страну? Что нас сотрут с лица земли из-за вашей книги?

Я глядел на него и не верил своим глазам. В нем было что-то, напоминавшее тех. Анонимное, простецкое лицо и прозрачные глаза.

— Я, знаете, привык к другой конспирации.

— К какой это?

— К той, что нанизывалась от восстания к восстанию. Боевая Организация ППС — и вплоть до АК. Вы пляшете от другой печки.

— То есть?

— Вас создал этот режим. Вы — выделение этой системы, ребро из груди этой тирании. Вы — из "Бесов" Достоевского, а не из рассказов Жеромского или Струга.

Он наконец повернулся ко мне. Я увидел лицо, вовсе не такое уж простецкое и анонимное. В его глазах, действительно, довольно бледных, поблескивала почти что улыбка.

— Ну, и что вы советуете? — спросил он.

— Не знаю, что посоветовать. Это не мое дело. Я один, вне всяких группировок. И так хочу дотянуть до своей последней мину-

ты. Если вы очень добиваетесь совета, могу один подкинуть. Станьте похожими на конспирантов старых времен. Социальное подсознание помнит эти архетипы. Они принадлежат общей памяти. Только они будут действенны.

— Уточните, пожалуйста, в чем состоит такой архетип.

— Во-первых, добровольность. Вы любите шантаж, мерзкий, удушающий моральный шантаж. Во-вторых, бескорыстие. Вы любите немедленные награды, вы прагматичны. В-третьих, согласие на проигрыш. Вы проигрывать не любите. Любой ценой, только бы не проиграть. Вы плод своего времени и некрасивы, как породившее вас время.

— Кое-что в ваших словах мелькнуло разумное. Пожалуй, мы таковы, каково наше время. А какими еще мы можем быть? Как перепрыгнуть через обусловленность временем, социальными умонастроениями, политическим положением, спецификой нашей фазы исторического процесса, моральной напряженностью либо расслабленностью мгновения или эпохи? Как нам быть людьми девятнадцатого века, когда нами завершается двадцатый? Каким образом мы можем быть настроены антикапиталистически, если мы антикоммунисты? Вы романтик или дурачок?

— Вы говорите ловким языком марксиста. Вы не замечаете тех неуловимых морально-идейных оснований, которые решали судьбу этого народа. Вы только теневой кабинет при власти держащих.

— Ну, тогда вам незачем и стараться. Я слышал, что вы вообще кривитесь, резонируете. Таких нам сейчас не нужно. Может, когда-нибудь, когда все будет хорошо, подискутируем. Сейчас времени нет. Сейчас загоняют в могилу множество людей и народов. Последний звонок. Колокол к молитве. Можете считать себя свободным от данного слова. Мы в вас не нуждаемся. Можете идти домой.

Я встал из-за стола, но не отошел.

— А кто же это преподнес тебе мою жизнь, чтобы ты ею вертел? Я медленно и нелегко иду на костер, но так идти — это по-человечески. И чем же это мой нравственный инстинкт слабее твоего или вашего? И кто сказал, что моя смерть должна наступить с твоего одобрения?

Он снова глядел сквозь запыленный тюль на то здание, освещенное редкими прямоугольниками окон. Он сжал губы, свел брови на переносице и, казалось, сдерживал вспышку гнева — или

попросту рыдание. Я думал, что он мне ответит, но он ничего не сказал. Мне стало неловко, я хотел что-нибудь сказать, но промолчал.

Я вернулся к своему столику. Оркестр по-прежнему играл все тот же вальс и никак не мог кончить.

— Ну и что? — спросил Рысь.

— Нехороший разговор был.

Я замолк, и он тоже молчал. Кто-то у бара повернулся в нашу сторону. Это был брат Рыся, тот самый философ по намекам. Не поздоровавшись, он издевательски уставился на нас. Шмидт, видимо, почувствовал взгляд брата: поднял голову и поглядел в его сторону.

— Только этого не хватало, — простонал он. — Что этот мудака здесь делает?

— Мы сегодня встретились в молочном баре. Он ведет в цензуре семинар по политическим намекам. По-соседски забежал опрокинуть шкалик.

— Эдик-педик, чтоб его черти побрали.

— Вы близнецы?

— Двуйайцевые. Он от другого отца.

— Что за бред. Это невозможно.

— Неохота объяснять. Спроси какого-нибудь медика. Есть такая возможность, если женщина с отступом в несколько часов переспит с другим и два яичка сойдутся. Неохота разговаривать об этом свинстве. Мама, упокой Господи ее душу, тот еще был номер. Но благодаря этому Эдик мне только дальний родственник.

— Все это ты придумал, Рысь. В бессонные ночи сочинил с медицинской энциклопедией в руках. Можно ли так ненавидеть собственного брата?

— Он мне не брат, я тебе еще раз повторяю. Седьмая вода на киселе.

Философ Эдик уже выхлестал стакан и мало того, что глядел на нас издевательски, так еще презрительно улыбался.

— Не обращай на него внимания, — прошептал Рысь. — Давай сделаем вид, что заняты разговором.

— Знаешь что, Рысь, я пошел домой. А ты возьми канистру из раздевалки. Может, найдешь другого добровольца.

— Ты с ума сошел!

— Все слишком двусмысленно. Я двусмысленный, вы все дву-

смысленны, весь мир двусмысленен. Плохо себя чувствую, вот и все.

— У педиков под носом говенно. Весь мир презирают, — бормотал Рысь, пригвожденный взглядом брата. — Может, в морду ему заехать?

— Слушай, я пошел домой, — и я встал со стула. Но тут появился Колька Нахалов, осторожно ведущий пани Госю. Они нежно похихикивали, Колька нес ее сумку, большую, как банковский сейф. На кухне они не потеряли времени даром: от них шел резкий запах незнакомого алкоголя. Они приближались к нам под пробирающий до костей вой гигантской флейты, но это всего лишь застряла клавиша электрооргана в инвалидном оркестре. Музыканты оставили свои инструменты и наблюдали сражение своего коллеги с таинственной музыкальной машиной.

— Это мой друг, — представил я Рыся, но они не обратили на него внимания.

— Всем, всем, всем! — трубил Колька, сложив ладони рупором. — Величайшая okazия перед настоящим концом света. Пани Гося приглашает, Госенька просит пожаловать, Госенок платит. За мной! Вперед! К победе!

Он принялся подталкивать нас в сторону кухни, и пани Гося активно помогала ему. По дороге мы перевернули столика два. Кто-то хотел вмешаться, но тут же получил в челюсть от чернявого официанта, который с утра жаждал такого случая.

В кухне нас приветствовали хоровым пением. Повара, поварята и кухонные мужики, все вместе — нестройно, но все вместе тянули на самых высоких нотах знаменитую песню волжских бурлаков “Дубинушка”. Шеф-повар, огромный веселый мужичище с помидором, раздавленным на макушке высокого белого колпака, танцевал вприсядку возле котла, испускавшего грозные пары. А этот приплюснутый помидор выглядел, словно рубиновая шишка на гетманской шапке. Увидя нас, шеф-повар поднялся на ноги, стукнул кулаком по крышке котла.

— Молчать в тряпочку! Я говорить буду!

Но сказать ему было нечего, и он только исполнил замысловатое па, перевернув ведро с картошкой.

— Эй да ухнем!

Потом встал раскорячившись и поманил нас огромным пальцем.

— Идите, идите, мои канареечки. Покажись, балерунка.

Он подхватил пани Госю на руки и понесся к темному входу в неизвестное помещение. Охваченные радостным ужасом, мы помчались за ним. Это была огромная коптильня, уставленная пустоватыми стеллажами. Пыльная лампочка раскачивалась под потолком.

Шеф-повар поставил Госю на цементный пол.

— Тихо! Я приказывать буду!

С заговорщицкой усмешкой он принялся рыться по карманам под белым фартуком. Наконец вытащил связку цветных ключиков, приложил огромный палец к губам и приподнял густые черные брови.

— Тс-с-с! Знаете, что это? — и звякнул ключиками.

— Ур-р-ра! — подхалимски крикнул Нахалов. — Полковник, под вашим водительством!

Шеф-повар ухватился за край полки с томатной пастой, рванул с силой литовского медведя, и полка застонала тайными засовами, открывая чистенькую металлическую дверь, похожую на ту, что уже передо мной открывалась. Полковник-повар, напевая под нос “Дубинушку”, поколдовал над замком, нажал светящиеся клавиши, что-то заскрипело, где-то блеснул свет, и мы уже ринулись в глубь низкого, словно штольня, коридора.

Держась за стенки, спотыкаясь, хихикая, как на школьной экскурсии, мы брели по аккуратно облицованному подземелью, педантично освещенному и снабженному белыми и красными стрелками: белые указывали нам путь, красные — дорогу обратно.

— Слушай, пахнет чем-то вроде оргии, — шепнул мне Рысь во вспотевшую шею. — Кто-то мне когда-то уже говорил.

— Мы вроде бы бродим под улицей. Я слышу шаги демонстрантов.

— Но под какой улицей? Неужели под Новым Святом? Слушай, ты догадываешься?

Я услышал позади эхо шагов. Машинально обернулся и увидел, что это не эхо, а живые люди тянутся по нашим следам. Кухонный персонал последовал за своим вождем.

— Ты тут? — спросил спереди Колька.

— Тут.

— Ну, и не пожалей, что расхрабрился. Знаешь, сколько стоит этот выход за границу? Весь доход от “Переливания крови”. Вот какая Госька. Ты ее еще не знаешь.

— А куда мы идем, Колька? Меня сроки поджимают.

— Знаю я твои сроки. Успеешь. К своему сроку всякий успеет.

Впереди нас запищала пани Гося.

— Полковник! Крыса!

— Балерунка, иди ко мне, лапонька! Иди, детонька.

— Ну и сильны же вы, пан.

— Моя сила дорого стоит.

— Господи, только не за бюст, старичок.

— За что-то же я должен держаться, балерунка.

Нас догонял топот ног персонала и упрямый голос той флейты, на которой застрял орган.

— Экскурсия в ад, — сказал я тихонько.

— Нет, в рай, — захрипел спереди Колька. — Стоит поглядеть. Другой раз такого случая не подвернется. Даже на том свете.

Что-то остановило наше шествие. Пани Гося все повизгивала.

— Руки уберите, полковник. У меня взрослые дети.

— У-ух, — трубил полковник-повар. — Прямо язык чешется съязвить.

— У меня грудь чувствительная, извините уж, а то рассержусь.

— Тихо, ша, теперь ни гу-гу, — басистым шепотом приказал полковник.
— Ближе, потребители, я вам что-то скажу.

Он дождался, пока мы все собрались перед такой же дверью, какую видели в самом начале.

— Кого там холера несет? — он разгневанно посмотрел в глубину коридора позади нас. — Вот прохвосты! Оставили кухню под присмотром Господа Бога. У вас что-то было в сумочке, грудиночка моя?

Он забулькал, как дубовый бочонок, вытер губы рукавом белого халата и сунул фляжку с остатками жидкости в свой карман.

— Предупреждаю: ничего с места не сдвигать и руками не трогать. Смотреть можно, но пробовать запрещаю. Слышите?

— Пан полковник, кому вы это говорите? Вы же пригласили художников, свидетелей эпохи.

— Работал я в секторе художников. Одному так врезал, что, извините за выражение, вверх тормашками полетел. Но это отступление. Так значит пальцами не тыкать и не шуметь. Все поняли?

— Все, все, — сказал Колька.

— А этот филин? — начальник указал на мою скромную персону, вздыхавшую под притолокой. — С чего это у тебя глаза на лоб вылезли?

— Похмелье, батюшка, тотальное похмелье.

— Может ты, несчастный, съел рагу?

— Съел, батюшка.

— Ну-ка, выпей одним духом глотка три, — он протянул мне фляжку, которую выманил у пани Гози. — Готовить, дорогие мои, этого я, правду говоря, не умею. Не умею и не люблю.

— Полковник, нам душно, — простонала Гося.

— Уже открываю, открываю.

Он заскрежетал ключами, нажал цветные клавиши и открыл железные двустворчатые двери. Мы снова оказались в коптильне, но на этот раз богатой. На высоких полках лежали, переливаясь цветными этикетками, большие банки консервированной ветчины. Справа стояли ящики с бутылками, каких глаза мои не выдывали уже много лет.

— Не глазеть, не глазеть, — торопил шеф-повар. — Давай на лестницу.

Перед нами была крутая каменная лестница, поднимавшаяся к черному потолку.

Полковник остановился наверху и сказал сам себе:

— А если мне голову с плеч? Три года всего до пенсии.

— Полковник, — воскликнул, выходя из терпения, Колька Нахалов. — Мы только одним глазочком и — на цыпочках выйдем. Ей-Богу, что за канитель!

— Твой папочка был моим учителем, — успокаивал сам себя повар-полковник. — Праздник — значит, праздник. А врагов, каких-нибудь там диверсантов не затесалось? Ну, ладно. В такой день, пожалуй, можно.

Он торжественно вздохнул, оглядел под светом затянутой в проволочную сетку лампочки самый главный ключ, поцеловал его, как реликвию, и начал прилаживать к замочной скважине обыкновенной, белой, с облезшей краской двери. На его сверхъестественно большом лице, словно увеличив-

шемся от какого-то неведомого биологического катаклизма, на этом лице, одновременно симпатичном и отталкивающим, на этой колоссальной роже появилось выражение некоего непристойного наслаждения. Он шебуршил в замке и все больше краснел. Из глубины коридора даже до этой царской коптильни долетал искаженный звук электрооргана. Наконец замок весело шелкнул, и очередная дверь была взята.

— Полгода не открывал, — с облегчением сказал полковник. — Раз в полгода провожу контроль. Но один. Еще ни разу не приходилось воспользоваться этой дорогой. Дай Боже, и не будет.

Мы столпились в тесной комнатухе, полной старых метел, пустых бутылок из-под мастики и сломанных частей от пылесосов.

— Готовы? — спросил повар, распрямляясь перед последней дверью.

— Готовы, — торжественно шепнула пани Гося.

Тогда он положил руку на позолоченную ручку последнего замка. Он медленно поворачивал его влево, а мы уже слышали возвышенную музыку, вроде той, что играют в костелах или крематориях. Дверь неспешно открывала огромный, как храм, интерьер. Стены и колонны были выложены мрамором, кое-где, правда, потрескавшимся, но заботливая рука зашпаклевала трещины соответственно подобранной замазкой. С высокого потолка, украшенного классической лепниной, тяжело свисали золотистые люстры, и щедрый хрусталь переливался всеми цветами радуги. Но все это было ничто в сравнении со столами. Они напоминали времена Радзивиллов или Саксонской династии на польском троне. Застеленные антикварными скатертями, увитые зеленью, нагруженные дивными музейными сервизами, они ломались под тяжестью изысканных яств и бутылей с напитками.

— Это вы все сами приготовили? — спросил потрясенный Колька Нахалов.

— Я не умею готовить, — взволнованным голосом возразил повар-полковник. — Целый мир готовил, жарил, тушил, пек эти чудеса. Наша партия вот уже два года копила каждый заграничный цент на этот тайный банкет для высшего руководства. Представляете, потребители, министр иностранных дел три месяца не может поехать в ООН — нет денег на дорогу! Сегодня впервые поступили первые доллары — кто-то купил в валютном магазине шведские спички, какой-то араб приобрел три дюжины гондонов, и, вот наконец, был выплачен первый взнос за билет для министра. Пожалуйста, прошу вас, входите осторожно, пол скользкий, и — только смотреть, упаси Боже что-нибудь тронуть. Предупреждаю: я человек зоркий.

На цыпочках мы вошли в банкетный зал, который хоть и был освещен люстрами в стиле эпохи Иосифа Виссарионовича, но оставался в золотистом полумраке, в нефах между колоннами переходившем в таинственную тьму коралловых гротов.

— Догадываешься, где мы? — шепнул Колька Нахалов.

— Не догадываюсь — уверен. Святилище. Ковчег завета. Завета, заключенного между партией-принцессой и партией-служанкой.

— Иди, поглядим.

А из той двери кладовки все выскакивали и выскакивали какие-то новые фигуры. Кухонные мужики и клиенты под хмельком, даже кто-то из музыкантов, кто владел ногами. Изумительная музыка, неведомо кем со-

чиненная, лилась из скрытых репродукторов. Наверно, ее коллективно сочинили партийные ректоры всех консерваторий.

Мы остановились у центрального стола, где на лужайке из петрушки лежал огромный осетр, царь-осетр, обложенный салатно-зеленым, мерцающим заливным, напоминающим глубины озера Байкал. Он глядел на нас полным достоинством, мудрым глазом, сваренным вкрутую. Неподалеку стояли выдолбленные глыбы голубого льда, в которых таилась красная и черная икра. Скромнее на обоих концах стола прикорнули старопольские окороки с обнаженной желтоватой костью — словно княжеский эфес. А между этими гигантами кулинарного искусства робко полеживали старинные блюда с полендницей, корейкой, литовской колбасой. Было на этом столе множество блюд, которых мы ни разу не встречали за всю нашу долгую жизнь.

— В Кремле такой банкет последний раз видали при Сталине. Перед тем как он сошел с ума, велел закатить пир. Никого не позвал. Сам ел и пил и разговаривал с духами российских императоров. А потом закрылся в тюрьме-одиночке, которую сам себе выстроил, и там в одиночестве откинул копыта. — Голос Кольки Нахалова слегка дрожал.

Только теперь я заметил, что у главной стены стоит небольшое возвышение, а на нем покоятся регалии коронации польских королей вплоть до знаменитого Зазубренного Меча. На стену партийный обер-хранитель древностей повесил картины — реликвии этой нации.

Колька Нахалов заметил, что я разглядываю этот кощунственный алтарь.

— Пусть цацапы знают, кого покупают. Ясновельможную Пани Речь Посполиту. *Римскую блать*.

Он сказал это и сам испугался своего голоса. Все еще звучала та возвышенная музыка, которую в течение долгих месяцев утверждал и отвергал отдел пропаганды Центрального Комитета. Однако какой-то прибывший из подземелья дух в подпитии уже обнаружил, откуда пускают музыку, и орудовал у магнитофона.

— Ох, таяет меня на этого осетра, — простонал Колька Нахалов. — Полковник не видит, пошли, отщипнем с шеи чуточку мяса.

— Колька, ты с ума сошел. Тут же ворвется охрана и перестреляет нас под этими колоннами.

— Никто не ворвется: двери снаружи опечатаны. Только без пяти восемь комендант здания в присутствии комиссии сорвет пломбы.

Мы наклонились над столом в том месте, где четверть девятого будут стоять оба секретаря: наш, королевич, и тамошний — царь. Колька раздвинул тонкую шелковистую кожу на осетриной шее, выцарапал кусочек желто-розовой мякоти и подал мне с величайшими предосторожностями. Я подождал, пока он и себе приготовит такую же порцию. Мы закрыли глаза, чтобы не нарушать чувств посторонними впечатлениями. Церемониально медленно, как облатку причастия, мы положили на языки это экзотическое лакомство.

Но Колька тут же поперхнулся от удара тяжелой полковничье-кухмистерской ладони по спине.

— Нельзя! Сколько раз повторять? *Пошли вон!* — кричал он приглушенным голосом.

У Кольки лакомый кусок упал на пол, но я свой успел проглотить. Мы укрылись за мраморную колонну, зашпаклеванную импортной замазкой, где какой-то типчик тянул французский коньяк прямо из бутылки. Полковник, разъяренно ворча, принялся огромным пальцем прищипывать углубление на шее осетра. Однако делал он это так неумело, что расшлепал рыбий хвост вплоть до первого плавника. В конце концов, он оглянулся по сторонам, не смотрит ли кто, и проглотил порядочный кусок мяса, который перед тем скатился на заливное. А раз уж закусил — машинально потянулся за бутылкой арманьяка.

Неведомый крошка-дух из кухни, поорудовав у магнитофона, нашел на какой-то дорожке танцевальную музыку. Громогласное танго разом заполнило интерьер этого храма в стиле fin de siècle. Захмелевший Рысь трудился у второсортных столов. Он сжирал копчености и оставлял на блюдах мои боны на мясные блюда. Кто-то уже, увы, блевал у соседней колонны.

Из золотистого мрака выплыла пани Гося. Она сражалась с битком набитой сумкой, которая не хотела закрываться. Мне стало неловко от такой бестактности. Попробовать деликатесы — одно дело, а выносить ветчину в сумке — совсем другое.

— Скоро смываюсь, хоть тут веселье только начинается. Но у меня банкет с киношниками. Продаем "Переливание крови" австралийским купцам. А то, понимаете, получили разрешение на границу только в рамках других континентов, кроме Европы. Ну, не скандал ли это?

Она подхватила пронзительные, смычковые тона танго, проделала несколько па со своей сумкой, как с партнером.

— Неповторимое настроение, — шепнула она. — А вы, как вам, молодой человек? Это правда, что вы играете в оппозицию?

— Я не играю, милостивая пани. Стар я уже для игр.

Она взяла меня под руку, потянула в таинственный полумрак колоннады. Я шел достойно, словно с женой члена политбюро. Ритм танго придавал величие нашим шагам.

— Я вам что-то должна сказать. Это мой долг старой бабы, — на минуту она поколебалась. — Ну, может, не такой старой, но опытной. Слушайте внимательно. Я во всю эту оппозицию не верю. Остерегайтесь вон того, — она показала пальчиком на Рыся Шмидта. — Они все у правительства на зарплате. Все это одна огромная провокация. Вас не удивляет: годы идут, а они спокойно, как мужики по весне, пашут эти свои протесты, резолюции, публикации, демонстрации. Поседали, обрюзгли, и что? Режим тоже поседел и обрюзг. Ворон ворону глаз не выклюет. Вас жалко. У вас верный глаз. Мне нужен заведующий производством. У меня можно заработать. Боже, какая чудесная музыка. Мне уже пора бежать. Но что мы увидели — то увидели. Этого у нас никто не отнимет. Знаете, говорят, скоро конец света. Почему все рушится? И Восток, и Запад. Начало конца света. Но этот конец может долго тянуться. Веками.

— Отвали, корова, — сказал я сонно. — Я твою морду каждый день вижу со всех сторон. Морду нардемовской буржуйки, которая любит пожрать у нас на поминках.

— Хам!

— Кто хам? — из-за колонны выкатился полковник. — Я хам? Я эвако-комендант ЦК.

— Меня тут оскорбляют. Покажите, пожалуйста, господин полковник, где выход.

— Тьфу на тебя! Не позволим ни оскорблять, ни уходить. Ну, и сиськи же у тебя, бабенка, прямо сказать — советские.

— Полковник, прошу вас опомниться.

— Потанцуем, киска. После нас хоть потоп. Видишь, и мы когда-то книжки читали. Та-ра-ра-ля-бум-бам-бом.

— Пардон, простите, пожалуйста, — кто-то тянул меня за полу куртки в другую сторону. — Я доктор Ганс-Юрген Гонсерек. Где тут уборная, не знаете?

— Не знаю. Пока потерпите. Потом поищем.

— Заблудился. И коллеги пропали, — он говорил правильно, но с сильным германским акцентом. — Даже не помню, как называется мой отель.

— А вы из этого здания или снаружи?

— С той кухни, глубокоуважаемый, что была вначале.

Подшел Рысь Шмидт с селедкой в одной руке и полным стаканом джина в другой:

— В чем дело?

— Этот господин ищет уборную. Может, я вас сначала познакомлю. Пан Шмидт, литератор. Пан Гонсерек, доктор.

— Очень приятно, — скривившись, выговорил немец. — Я руководитель делегации на переговорах с польским правительством по вопросу покупки Зеленогурского воеводства. Бывший Грюнберг.

Все больше пар проносилось в золотом мраке, выполняя трудные фигуры классического танго. За окнами, завешенными парчевой занавеской, гремела последняя гроза этого года.

— А, это вы? — от ближнего стола встал Эдик Шмидт. — Что за совпадение. Я эксперт польской комиссии по делам продажи Зеленогурского воеводства.

— Доктор Ганс-Юрген Гонсерек.

— Доцент Эдвард Шмидт.

— Да мы уже познакомились.

— Это был мой брат, близнец.

Рысь швырнул селедку в темноту нефа.

— Я ухожу. Конец. Точка. На сегодня хватит.

Философа слегка занесло в сторону стола.

— Братишка, погоди. Пойдем вместе. Я весь день о тебе думал.

— Позвольте, — влез доктор Гонсерек, поддерживая Эдварда. — Вы тот самый лидер оппозиции? Я читал о вас в газетах.

— Это вон тот недотепа. Мой брат-близнец. Я в правительственном лагере, герр доктор. Завтра, как протрезвеем, встретимся за одним столом.

— Я не хотел бы сейчас разговаривать о делах.

— Почему, докторишка? Во мне течет немецкая кровь.

— А во мне — польская.

Рысь замахнулся и метнул в глубину зала пустую винную бутылку. Мы

ждались, что она со звоном разобьется о мрамор, но она как в воду ка-нула.

— В вас, черт побери, слишком много нашей крови, да слишком мало нашей совести. Дорогу мне, я ухожу.

Но он не уходил. Тяжело прислонился к мраморной колонне и отирал капли пота на лбу.

— Мы, немцы, пережили великий исторический шок, — горько произнес доктор Гонсерек. — И я представляю иную, действительно новую Германию. Мы уже никогда не прибегнем к насилию.

Философ Шмидт хотёл запляпать трепака, но ему пришлось от этого отказаться.

— Бабушкины сказки, — заявил он, став на одно колено. — Наша граница проходит по предместьям вашей столицы. Иосиф Виссарионович повесил нам на шею тот еще мельничный жернов. Рысенька, что я говорю. Братишка, присмотри за мной. Я же тут единственный представитель государственных интересов. Завтра лекции, нет, заседание комиссии, а тут разгулялась реакция, Тарговица, нарядившаяся в художественные плащи, прихлебатели, цепляющиеся не за того хозяина. Споели меня, подонки! На колени, голь перекатная! И ты, немчик с тяжелой мошной! Это наша национальная базилика, Пястовский храм, пьедестал Святовида! Охрана, ко мне! Товарищи члены и члены партии!

— Рысь, он сейчас будет раздеваться, — сказал я с ужасом.

— Я бы ему помог, да он не разденется. У него птенчик с ноготок. Мама даже молебен служила — не помогло.

Меж танцующих пар вынырнул полковник-кухмистр, эвакокомандант. Он уныло шел в нашу сторону в расстегнутых штанах и распахнутом халате.

— Что тут происходит? — спрашивал он грозно. — Где Госька? Кто у меня девушку увел? Что ли, этот пижон в очечках?

— Это товарищ немец. А вы станьте смирно. Я член ревизионной комиссии.

— Я вас всех погоню. Распустились, от рук отбились — только водяру даровую хлестать да зельц разворовывать. А ну, танцевать. Бери немца подмышки и по галсу, а то макушку снесу, — и вдруг вытащил из-под рубашки большой лоснящийся наган, какую-то, видно, дорогую памятку давних времен. — Ну, пускайся в пляс! *Эй да ухнем!*

— Кто, я?

— Да, ты, член моржовый.

Он грубо толкнул Эдварда, а тот послушно обнял за талию доктора Гонсерек. Они принялись дрыгать ногами на месте: мелодия танго и их затыгивала.

— Господин полковник, — сказал я доверительно. — Там в углу вроде бы Госья. Какой-то типчик ее обрабатывает.

— Ах ты, проходимец! — ринулся во тьму обезумевший полковник.

Кроваво польхнуло, грянул выстрел, кто-то ринулся бежать через весь зал с хвостом осетра в объятиях.

— Сорвут пломбы и выломают двери, — сказал я Рысю. — Здесь польет-ся кровь.

— Давай возвращаться. Я за тебя отвечаю.

— А может, останемся? Последние Петронии последней минуты умирающего тысячелетия.

Он потащил меня в кладовку. По дороге нам пришлось перешагнуть через спавшего на полу Кольку Нахалова. Он спал, но во сне разговаривал сам с собой на языке своего детства.

— Иди скорей, я тебя догоню. Только бутылочку прихвачу.

Почему мне не нравится этот город? Нет, это неправда. Просто я не люблю его, как все эти ослы, сколачивающие денежки на любви к Варшаве. С утра, наверно, накачаются наркотиками, а потом до самого вечера любят, любят и велят, чтобы им за это платили. Больше, чем полжизни, я прожил в этом увечном городе. В этом граде, калеке от рождения, насилуемом оккупантами, четвертуемом захватчиками, задыхающемся на аркане азиатских орд.

Когда я вполз в его труп, город с трудом оживал, и я медленно, впервые в жизни, возвращался к жизни. Мы ровесники. Нас соединил случай. И оказалось, что на жизнь и на смерть.

Моим последним литературным произведением будет этот последний день жизни. День скромного хэппенинга. Но что-то пошло не так. Меня охватывает усталость и немощь. Моя жизнь повторяется, и я повторяюсь. Вместо неповторимости — серийность. Мое искусство, как и мою жизнь, можно резать на куски, как колбасу. Вот оно как в конце концов получается.

Надо мной только город свежих древностей и ветхих новых домов. Ничего больше. Общий язык, общая мука, общее непонимание. В чем они виноваты, в чем я виноват?

Я спускаюсь в эвакуационный коридор. Теперь меня ведут красные стрелки. Какая-то пара обжимается в нише с брандспойтом. Кто-то дремлет, опершись на стену, словно мумия в античных катакомбах. Я как будто поднимаюсь на поверхность земли, хотя на самом деле схожу в подземелья "Рая".

Мой город напоминает славный Иркутск. Когда-то он был хилым европейским городом, теперь — здоровый азиатский кишлак. Я в неволе у этого города. Или, точнее, выбрал себе здесь дом неволи.

Я вхожу в кухню, опустошенную, как после татарского нашествия. Вывороченные котлы, расколотые тарелки, из открытых кранов бежит вода. Крыса "по-собачьи" плывет через океан кухни.

Я знаю, отчего у меня похмелье. Тотальное похмелье. Время от времени это со мной случается. От одного недоброго времени до другого. И тогда я играю с судьбой в кости на жизнь. Не в кости, а в стакан воды и три-пять порошков снотворного. Это рулетка белого человека. В нее играют президенты и бляди, священники и поэты, пролетарии и капиталисты.

Оркестр кооператива инвалидов играет попури из американских мелодий, а чтобы не платить авторских в валюте, для неузнаваемости играет задом наперед. Кто-то дружелюбно толкается мне в ногу.

— Кутя, искал меня? Вот и я. Скоро уже пойдем дальше.

А он высоко подпрыгивает, стараясь лизнуть мне руку. Со скуки

вылизал шкурку и выглядит как новенький. Рыжая собачка с бахромчатыми лапами.

Кутькины глаза грустнеют, он поджимает огрызок хвоста, возвращается к сладко спящему гардеробщику, которому не мешает музыка, не мешают крики, не мешает конец света, что протянется еще несколько миллионов лет, которому вообще ничто не мешает.

Я сажусь за наш столик. Тут кочевали чуждые племена. Чужие чинарики, чужие следы помады, чужие лужи лимонада. Вокруг сонное движение. Одни спешат через кухню к оскверненному святилищу партии, другие бредут обратно, промокнув до колен, пресытившись развратом. Синие лица, красные лица. Длинные, овальные, кострубчатые, блестящие от пота. Меланхолические и разнузданные.

Я с трудом поднимаюсь из-за столика. Поднимаю руку, чтобы оркестр замолчал. Разеваю рот как могу широко.

— Люди! — ору я. — Антихрист сошел на землю. Прыгнул хромоногий из соседней галактики. Может, хотел еще куда, а попал к нам.

Какой-то тип жестикулирует, обращаясь ко мне.

— Уборная там, дружище. За раздевалкой.

А я воздымаю обе руки ввысь.

— Люди, поглядите на себя. Он разделился на всех вас и на меня. Не ждите Антихриста, ибо он уже на земле. Антихрист растворенный, раздробленный, гранулированный. Мини-Антихрист в каждом из вас и во мне.

Оркестр играет шестую вариацию, кто-то танцует, кто-то дремлет. Лампы мигают синим и красным. Наверху бледные рыла помощников Люцифера. Они ждут своего часа.

— Никто меня не слушает, — говорю я в отчаянии. — Антихрист привился во всех, и поэтому его нет. Никто меня не слушает.

— Я слушаю, — вылез откуда-то Эдик Шмидт, взлохмаченный, с перекошенным галстуком. — Фу, как некрасиво. Какие ненаучные, старосветские бредни. Как вам не стыдно?

Между столиками ползет Колька Нахалов, оставляя на полу порядочные пятна. Он вплавь перебрался через кухонный потоп. Обессиленный, он падает на чужое кресло.

— Ребята, одолжите спички. У тебя, кажется, шведские. Подпалю этот бардак.

— А зачем? — растягивая гласные, спрашивает Рьсь.

— Пускай все сгорит. До голой земли. Вся грязь, весь грех, весь этот сатанинский помет.

Рьсь бьет его растопыренной ладонью по лицу. Колька переворачивается вместе с креслом, а потом молча кое-как поднимается.

— Ты ударил Кольку Нахалова, — говорит он придушенным голосом.

— Да, я ударил Кольку Нахалова.

— Мой отец за вас кровь проливал.

— Твой отец нам социализм устроил.

— Русские до сих пор гнилую картошку едят, чтобы вам хорошо было.

— Ну, так катитесь отсюда к чертям. Устриц есть будете.
— Вот благодарность. Доктор, вы свидетель. Я вам всем еще покажу.
Влезает Эдвард Шмидт.

— Товарищ Нахалов...

— Я тебе не товарищ.

Я помогаю ему усесться в кресло, но он зло отталкивает мои руки.

— Колька, — говорю я, — он из добрых побуждений.

— Как это из добрых?

— Нам положено вас легонько задирать. Белополяки держат вас на ногах. Комплекс полячишек придает вам азарта. Святое призвание обрусения Польши, унаследованное от Ивана Калиты, ведет вас через историю, как утренняя звезда. Ты что, хочешь, чтобы мы сразу поддались? Хочешь все испортить?

Колька Нахалов глядел на меня долго и мучительно. Наконец, он засмеялся и попытался приподнять тяжелое брюхо с кресла.

— Ты мне нравишься. Ты самый фальшивый, а я тебя люблю. Давай чмокнемся, *земляк*.

Но поцелуй не состоялся: появилась Зосенька, клозетная бабка на практике.

— К вам кто-то пришел, — сказала она.

— Ко мне? — удивился я. — Я никого не жду.

— Как знать.

Я пошел, обогнав ее, меж погромленных столиков и дремлющих клиентов.

— Не огорчайтесь, — успокоила она меня. — Уже первая смена кончается. Сейчас их всех вышвырнут из заведения. Надо прибрать для арабов. Они начинают с шести.

— Зося, милая, я к тебе собирался, и как-то не получилось.

— О чем говорить? Я уж все знаю. Вот ваши шестьсот золотых. Вы кабиной не пользовались, я просто со злости на вас напала.

— Нет, нет, оставь.

Она все-таки втиснула мне мелочь в руку. В раздевалке разбуженный майор лениво глядел в переносной телевизор, где приезжий секретарь, сверхсекретарь, супер-секретарь как раз кончил речь и принимал овации. Несколько типов в черном увенчали его шахтерской шапкой с роскошными перьями. Но картина оставалась немой: и майор, по обычаю соотечественников, выключил звук.

— Майор, пожалуйста, багаж и собаку. Отплываю в дальние края.

Он поднял банку, бултыхнул, чтобы показать, что ничего не пропало.

— Все в порядке? — спросил он.

Я сунул Зосину мелочь в его запотелую ладонь.

— Кутька, идем.

Песик бодро выскочил из-под стойки, готовый в дорогу.

.....
Я ступил на первую ступеньку, предшествуемый усердным Кутькой. Повернулся к Зосе, опершейся о притолоку своего учреждения.

— До свиданья. Может, как-нибудь вечером загляну к тебе.

— Наверняка на заглянете, — ответила она, разглядывая свои ногти.

Я начал взбираться по лестнице, застеленной красным ковром в пятнах всяческих непереваренных блюд. А на вершине ее, у стеклянной двери с выбитыми стеклами, стояла Надежда.

— Нас вышвыривают, — сказал я. — Вечером это заведение для нефтедолларовых арабов.

Она огорченно кивала рыжей головой.

— Ну и хорошо. Надо вас из забегаловки вытащить. Как вы выглядите!

Я стыдливо пригладил не слишком буйные волосы на темени. А Кутька уже обнюхивал ее полные, но не толстые ноги, такие, как мне нравятся и ему сразу понравились.

— Это ваша собака?

— Моих друзей. Когда-то он потерялся, мы его оплакивали многие годы, он нам снился в душераздирающих снах, подбитых угрызениями совести, а теперь ни с того ни с сего нашелся. Кутя, дай пани лапку.

— Вы пили?

— Чутьочку. Но что я ел! Кремлевский ланч. Даже расскажи я, вы не поверите.

Мы вышли на улицу, где уже дожидались арабы. Они стояли небольшими кучками, почти одинаково одетые, и разговаривали гортанными голосами. Они как-то не соприкасались с местными жителями. Вели в Варшаве свою жизнь, ни у кого не спрашивая дорогу, не ища ни помощи, ни дружбы. Только со страшной силой трахали привислинских барышень, и это, кроме валюты, был единственный ощутимый признак их присутствия.

— Надежда, подожди, какой день прекрасный.

Действительно, тучи разошлись к далеким горизонтам, ветер утих, солнце добродушно грело этот скорченный, бедный, хоть и праздничный, город. В горячем воздухе вились останки каких-то мошек, и даже пораженная раком бабочка пролетела над мостовой к дому партии.

— Дом партии, — сказал я сам себе, и у меня сжалось горло.

Агенты, переодетые орудовцами, притаптывают от скуки по углам здания, а посреди, в самом сердце, — Содом и Гоморра. Сумеет ли кто-нибудь вовремя кое-как склеить этого осетра, освежить истерзанные копченности, долить воды в початые бу-

тылки, подмести загаженные полы? О, бедный кухмистр в чине полковника, последний удалец столицы!

— Надежда, я возьму вас под руку.

— Может, хотите транквилизатор? У меня все с собой.

— А зачем мне транквилизироваться?

— Постарайтесь протрезветь.

— Я трезвый.

— У нас с вами сплошные хлопоты.

— Так Цабан же освободил меня от данного слова.

— Разве Цабан может вас освободить? Разве вы нуждаетесь в освобождении? Разве вас кто-нибудь к чему-нибудь сумел принудить?

— Надежда, вы мне льстите.

— Он, кстати, жалеет об этом разговоре. Мужчины, бывает, ни с того ни с сего сцепляются.

Мы проходили мимо продовольственного магазина. Поспешно вызванные из дому продавщицы монтировали в кривой витрине модернизированный герб отечества: маленький орлик, обложенный большими хлебными снопами.

Мы вышли на площадь Трех Крестов. На бетонном скверике, возле старинной общественной уборной, разлеглась кучка нетрезвых демонстрантов. Под головы они подложили транспарант с неразборчивым лозунгом и дырявой датой.

Посреди еще бодро державшихся домов виднелась одна развалина. Это дом, где много лет помещалась редакция сатирического еженедельника "Шпильки". Однажды весной он обвалился, и никто не собрался с силами взяться за его восстановление.

— Идем, посидим тут, поглядим на Божий мир.

Я потянул ее к лестнице развалины. Мы сели на нагретую ступеньку. Кутька свернулся клубком у моих ног. А демонстрации вроде бы медленно, хотя и преждевременно утихали. Откуда-то от Вислы или, может, от площади Шествий еще доносились звуки оркестров, где-то в мелких каньонах улиц срывался какой-то возглас — может, проправительственный, а, может, пьяный. Но вновь укрывала мой город бумазейным саваном апатия.

— Хороший знак, что мы снова видимся, — сказал я.

Она молчала, глядя перед собой, в затуманенную перспективу Аллей Уяздовских.

— Знаешь, вчера ночью мне было озарение. Тебе я расскажу, потому что тебя я уже не стесняюсь. Так вот, было мне озарение,

прямо как старой бабе — но все-таки не совсем, потому что то, что со мной приключилось, можно объяснить разумно. Потому-то сегодня у меня так болит голова. А я этого озарения ждал всю жизнь. Хотел бескорыстно пожертвовать его обществу. Как завещают музеям бесценные картины или статуи.

— Тебе приснился Антихрист.

Я замер с рукой, погруженной в Кутькину лохматую шкуру.

— Откуда ты знаешь?

— Я не знаю. Мне приснился Антихрист. Не первый раз. Этот сон у меня повторяется. И всегда цветной. Хотя нет, один раз, за несколько дней до отъезда в Польшу, приснился черно-белым.

— Но сегодня я уже ничего не помню. Словно топором отрубил. Только как-то боюсь людей. Не так боюсь, как человек обычно боится, а испытываю страх перед людьми.

Она вдруг положила мне голову на плечо. Красную, пушистую, легкую голову.

— Ох, милый мой.

— Что, Надежда, что?

— Ох, тяжело жить.

— И умирать тяжело.

Она прижалась ко мне. Одиноким воздушный шарик, потерявший хозяина, блуждал высоко в свежавымытом небе.

Пьяный демонстрант внезапно пробудился, приподнял тяжелую черепушку и хриплым голосом прокричал в это небо:

— Польша! *Польша! Мать ваша!*

.....
Солнце стояло низко, посылая почти горизонтальные лучи. Резкий летний предвечерний зной, хотя луг, по которому шли мои знакомые, давно порыжел и умер. Только система цветочных клумб, таинственно слагавшаяся в цифру LX, еще жила, информируя о том, что городское садоводство опередило все планы и отмечает шестидесятилетие ПНР. На этом лугу, после того как были взорваны военные руины, кто-то собирался что-то важное строить. Но потом забыли, кто и что.

По моей канистре в панике, как по незнакомой планете, бегают маленькие черные муравьи. Наверно, муравьи фараона или Пяста Колесника*. Эта голубая канистра — для них недобрая, недружелюбная планета или попросту гигантский ядерный реактор.

* Легендарный основатель династии Пястов (князей, затем королей Польши). — Пер.

— Надежда, уснула?

— Да, на секундочку. На долю секунды оставила тебя, милый, одного.

— Зло как тьма. Оно длится вечно. А добро — зарница, краткая победа над темнотой. Добро смертно.

— Ты думаешь о наших снах?

— Я думаю, что делать. Моим последним литературным фрагментом будет этот день. Шлифовать ли каждое слово и каждое стечение обстоятельств по образцу старых мастеров или отдаться стихии, графоманской хаотической спонтанности? Нет, Надежда, я шучу. На самом деле я думаю о тебе. Утром познакомился с зачарованной, поэтичной, слегка чокнутой русской девушкой, а теперь...

— А теперь?

— А теперь сижу с моей женщиной. Ты моя женщина?

— Да.

— Хотя это и некрасиво звучит.

— Хотя это и банально звучит.

— Как это угнетающе, как оскорбительно, что все сводится все к тем же нескольким вопросам из монолога Гамлета. Прошли века, пала цивилизация, кануло в вечность столько поколений, а ничего не изменилось, а так мало изменилось, и это проклятое провидение отнимает у нас иллюзорное удовлетворение первенства, лишает авторства, делает нас вечными плагиаторами.

— Что тебя мучит, милый?

— Грех оброс плотью добродетели. Неуловимые нравственные принципы поблекли, а из-под их очертаний, как на перекрашенной материи, вынырнули аморальные. Аморальность правит нравственными законами, использует нравственную номенклатуру, строит свои позитивные системы, награждает ореолом святости и сталкивает в ад. Зло стало частью наших этических кодексов, стало добром. Роковым ракообразным добром.

— Ты жалеешь, что присоединился к нам? Что не заработал правительственной лицензии на разумную оппозиционность, на неагрессивную защиту достоинства человека, на бескровную борьбу с насилием и несвободой?

— Я не мог не присоединиться к вам. Так мне было суждено.

— Так не жаль свою ненасытную гордыню. Пусть страдает, завидует, пусть мучится.

— Все равно.

– Не все равно.
– Думаешь, можно искупить? Можно потрясти совесть Господа Бога?

– Надо пытаться. До самого конца света.

– Вы любите грех.

– Кто?

– Вы развратно пачкались в грехе, чтобы обрести блаженство отпущения. Ибо не может быть отпущения грехов без грехов, верно?

– Ты путаешь литературу с жизнью.

– Как ты сказала?

– Ты путаешь кощунственные грезы отчаявшихся людей с их повседневными поступками.

– Я путаю литературу с жизнью. Свою заурядную биографию я провозглашаю литературным произведением.

Кутька сочувственно лизал мою приоткрытую лодыжку. Выско над крышами мелькали ласточки, раньше это предвещало хорошую погоду, а теперь ничего не предвещает. Внезапный зной. Может, это конец лета или начало будущей весны?

– Покажись, Надежда.

Она подняла голову, красноватые волосы, несомненные ленинские волосы рассыпались вокруг лица, упали на плечи. Один глаз был действительно зеленый, но другой — действительно фиолетовый. В сумме — красивая Надежда, тревожно и рискованно красивая. А я в этом разбираюсь.

Я крепко обнял ее. Она закрыла глаза, и я тоже. Мы наощупь встречались губами. Ее губы жили своей, такой агрессивной и чувственной жизнью, что у меня мурашки по спине побежали.

Где-то били часы. Они били так долго, что мы в конце концов открыли глаза. Но это были не часы. В костеле св.Александра колокол раньше времени бил к заутрене.

Ничего не говоря, без слов мы встали с этой цементной ступеньки, которая уже пропитывалась предвечерним холодом, и вошли в затишье нефа разрушенной редакции. Только лестница свисала в этом пустом пространстве, словно смятый ковер. Остатки стен, перегородок, потолков лежали посреди здания живописными руинами, словно спроектированными архитектором-романтиком. Удивительно буйная растительность обвивала бетонный лом, кирпичные камни и холмы выветренной известки. Косой солнечный свет озарял профили огромных чернявых лопухов, золотил

могучие папоротники, зажигал огнем кусты волчьей ягоды. Даже осенние астры пробралась в этот чародейский сад, буйно разросшийся на свалке бывшей редакции.

Эта лестница приглашала в небо, переливавшееся всеми цветами радуги у нас над головой. Ногой я смел с первой ступеньки иссохшие листья и куски штукатурки. Я подал Надежде руку, она поднялась на первую ступеньку. Я расчищал ей дорогу, она шла за мной послушно, пока мы не оказались на лестничной площадке с остатками паркета. На одиноком деревце сидела невероятно огромная стая воробьев. О чем-то они визгливо спорили, скрытые в пожухающих листьях. Из этого визга рождалась звучная, необычайная музыка, однообразный металлический стон душераздирающей тревоги.

Надежда прислонилась спиной к выщербленной стене. Она закрыла глаза и ждала. Я снова поцеловал ее в губы, уже успевшие остыть. Нашел эту большую грудь, мою благодарную знакомую. Надежда съежилась, словно испугавшись меня или, может, в страхе перед внезапным веянием неуверенности. Огромные соски напряглись спазматической жесткостью, запахло разогретым от солнца садом, я почувствовал острый, зовущий запах березовых листьев. Надежда прошептала что-то, чего я не понял. Она отяжелела, мне пришлось придержать ее, чтоб она не упала на трухлявый пол.

Мы слышали отчаянно бьющийся пульс. Слышали и этот многоголосый птичий крик, как нарастающий зов поторопиться. Я раздвинул коленями ее ноги и вторгся в нее. Вторгся высоко.

Она что-то говорила, беззвучно, словно читала литанию. Зажмурила глаза, так что веки побелели. В вересково-розовом рту светились хищные острые зубы.

— Надежда, — шепнул я. — Надежда, это я.

— Знаю. Только ты. И навсегда ты.

Она оперлась о стену, словно хотела оттолкнуть ее к самому горизонту, где солнце готовилось закатиться. Схватила обеими ладонями мою руку, коротко крикнула придушенным голосом и стала такая тяжелая, что я не мог ее удержать. Она осела на пол, пряча лицо в красной пряже волос. Откуда-то с остатков потолка капала вода. Заблудившаяся оса прилетела из сада и закружилась над девичьими волосами. Я пробовал отогнать ее, наклонился за стеблем порыжевелой крапивы, но тут раздался скрежет стекла под чьими-то шагами. В дверной раме предстал немолодой господин в красной фуражке с длинным козырьком и с кожаной сум-

кой на животе, как у сторожей автостоянок. Он приложил два пальца к козырьку фуражки, украшенной неведомыми мне эмблемами. Только теперь я заметил, что в другой руке он держит листок, напоминающий квитанцию.

— Добрый день, — сказал он бодро. — Десять тысяч złotych.

— Десять тысяч złotych? За что? — спросил я.

— За любовное соитие в общественном месте.

— А что, нельзя?

— Можно, только надо платить.

— Это штраф?

— Нет, такой тариф. Введен с первого числа. Если бы вы ко мне обратились, было бы удобней: я даю напрокат надувные матрасы.

Я ошеломленно стоял над съезжившейся Надеждой. Оса теперь летала возле моей головы.

— Людей много, квартир мало, государство пошло навстречу, — информировал чиновник. — Со временем прибавится комфорта. Предполагается ввести маскировочный брезент и подушки. Ну как, вы платите или милиционера позвать?

— Плачу, плачу, — проворчал я, спускаясь на первый этаж. — Но откуда вы знаете, чем мы тут занимались?

— У нас берут работать специалистов. Надеюсь, не будете спорить? А я вас откуда-то знаю. Вы по телевизору не выступали?

— Может, и выступал. Не помню, — я нашел десятипятничную бумажку. Он вежливо, но решительно вытянул ее у меня из рук.

— А то я, перед тем как уйти на пенсию, был директором телевидения.

Он подал мне красную картонку с многозначительной надписью "городская квитанция".

— Можете тут оставаться сколько хотите. Я постерегу.

Он вежливо приложил руку к козырьку, аккуратно положил деньги в сумку и вышел на улицу.

Откуда-то из глубин центра города снова донесся звук оркестров. Были слышны отдельные ужасающие крики в соседних воротах. Крики, напоминающие вой волков зимой. Но волков на земле уже не было — остались только люди. Город, как обычно под вечер, спешил нагрудиться.

— Надежда, проснись, — я потряс ее за плечо.

Она не отвечала, скорчась, словно в кротовине старого праха, обхватив голову ладонями, как будто сдерживала жуткую, неодолимую боль.

Я начал поднимать ее, ужасно тяжелую и бессильную. Прямо рядом сыпалась выветрившаяся известка. Оса навязчиво жужжала, колотясь о мое ухо.

— Надя, — шепнул я в алую прядь ее волос.

Внезапно она пошатнулась к самой стенке. На мгновение я увидел ее глаза, совершенно одичалые в какой-то едва заметной расходящейся косине. Она вдруг оттолкнула меня и принялась убегать по этой растресканной лестнице. Потом кинулась в сторону, в самую чащу волшебного сада, зацепилась, наверно, за старый лист жести, потому что с того дерева сорвалась внезапная тень, заслонившая небо. Это всего лишь воробьи взлетели и с оглушительным чириканьем понеслись вглубь города.

И снова открылось небо, такое невинное и чистое, как когда-то, когда оно и вправду было невинным и чистым. Нынче это небо провоняли ракеты, растоптали усердные философы в поисках истины, которой, может, и нету. Но сейчас, на одно-единственное предвечерье, небо нарядилось, подкрасилось, подрумянилось и выглядело как молодое.

— Надя! — окликнул я негромко.

Зараженная раком бабочка, может быть, та же, что летела в ЦК, теперь неспешно парила над мощным кустом чертополоха, выпрямившимся, как гусар. Паутина серебрилась в затененных, бурых углах.

Надежда появилась внезапно, как это было в ее привычках. Она шла раскачивающимся шагом из-за дерева, оставленного воробьями. Шла этой своею грациозной, хоть и тяжеловатой походкой, словно плыла в челноке по волнующейся поверхности озера.

Уже издалека она улыбалась мне и тыльной стороной ладони вытирала уголки глаз. Я ждал ее, стоя по пояс в папоротниках, усыпанных таинственными белыми щупальцами, которые остались им от старых добрых времен, когда они были на земле деревьями.

Она подошла, обняла меня, спряталась у меня на груди.

— Я устала, — шепнула она. — Кто сюда приходил?

— Старичок, который когда-то работал в этом доме. Пожелал нам счастья и благословил.

— А я как раз так хотела, чтобы кто-нибудь нас благословил. У вас тоже есть добрые, мудрые старики.

— Бывали у нас благородные, разумные, достойные старики.

Она мотала разросшейся от копны волос головой. Божья коровка торопливо шла по широкому, сияющему под солнцем локону.

— Слушай, — сказала она шепотом.

— Слушаю, Надежда.

— Я пойду с тобой.

— Куда, родная?

— Туда, к Дворцу Культуры. Сделаю то же, что и ты, милый.

— Нет, Надежда, я режиссер своего последнего рассказа. По соображениям композиции и настроения лучше, если ты останешься и будешь тосковать обо мне до конца дней.

Она подняла голову, развеселившись. На меня глядели большие, заискрившиеся глаза, из которых один, возможно, был более зеленым, а второй — более фиолетовым. Небольшими стайками возвращались воробьи — на то дерево, где помещался их парламент. Я легко прикоснулся губами к ее левому глазу, потом к правому.

— Правда, не хочешь?

Я отрицательно помотал головой. Она снова спрятала лицо у меня на груди.

— Подожди, я должна подумать, — прошептала она.

Я обнял ее, сразу обнаружив эту поразительную грудь, так расположенную ко мне и доброжелательную. Она тоже устала и источала теплую трогательную сонливость.

— Нет, не надо, — она оттолкнула меня локтями. — Пусть так и останется. На всю жизнь.

— Я буду ждать тебя в унылом, бородатом, православном небе.

Она сильнее прижалась лицом к моей куртке, опутанной прозрачною паутиной.

— Что мне делать? — спросила она. — Все разрушилось в несколько часов. Но я об этом знала. Я догадывалась, что встречу тебя.

— Таких, как я, много. Я — любой из них. Меня отдельного нет. Ты обнимаешь манекен, одетый в брюки и куртку из универмага.

— Ты — это ты. Я знаю. Мне снилась Польша с разрушенными дворцами и ты с заплечным мешком на длинной, извилистой дороге.

— Мы должны расстаться, Надежда.

— До следующей встречи.

— Там.

— Или еще здесь. Хочешь успокаивающий порошок?

— Нет. Уже нет. Я спокоен, хотя не знаю, что сделаю.

— Сделаешь, как захочет Бог, в которого ты веришь.

— Все-таки лучше всего был бы конец света. Мы пошли бы вместе, обнявшись, в чистилище. Вместе с врагами и друзьями. С чемоданчиком святости и вагоном грехов.

— Да, это был бы хороший конец света, которого люди ждут полмиллиона лет.

— Надежда, у меня еще осталось несколько дел.

Она притянула меня к себе. Я снова услышал легчайший запах сохнувших березовых прутьев. А потом оттолкнула легко, на расстояние выдоха.

— Ну, иди, милый. Буду молиться за тебя.

Она перекрестила меня православным, русским крестом, а я поцеловал кончики ее пальцев. Воробьи принялись за свой брэнчащий китайский хорал. Клубы комаров взвились над кустами сада, полного теперь золота и колодезной черноты.

— Подожди, пока я уйду, — сказала она, глядя куда-то в сторону. — Обещаешь?

— Обещаю.

Она поглядела мне в глаза. Зрачки расширились в едва заметной улыбке, а в уголках век блеснула внезапная влага.

— Обними меня. Очень крепко, еще крепче.

— Еще крепче некуда.

— Крепче, милый, чтобы запомнила.

Мы поцеловались мокрыми и солеными губами. А потом она с отчаянной решимостью повернулась и побежала чуть тяжеловатой и странно плавной походкой вглубь солнечной улицы. Я машинально оглянулся в поисках канистры. Но моего сосуда пыток нигде не было. Я вдруг ощутил тяжесть в голове, измученной похмельем и дурными мыслями. Из глубины сада прилетела та оса, которой я недавно понравился. Она снова билась о мои щеки, о мои уши. Вместе с ней я вышел на улицу.

А там, возле покосившихся стен городской уборной, стоял улыбающийся Тадзик из Старогарда с голубой канистрой в руках.

— Ибо, может быть, когда-нибудь, в очередном круге бесконечности, я еще буду любить. Это тоже из ваших сочинений, — произнес он, помахивая банкой. — Я взял бензин на свое попечение. Вы его на улице оставили.

Пьяные демонстранты пробуждались от послеобеденной дремы на бетонном скверике. Один из них отдирает от плаката бумажную букву "Л", чтобы обмотать палец, из которого шла кровь.

Я перешел улицу, вонявшую плавящимся асфальтом, и подошел к улыбающемуся Тадзику из провинции. Он поднял бидон, хотел мне его вручить. Но я без разговора ухватил его за углы воротника фланелевой рубашки и так затянул ворот на его тощей шее, что его глупые, честные глаза на лоб вылезли.

— Ты, подонок, вывел меня на гебистов. Давно на них работаешь?

Испуганно отталкивая меня руками, он глухо пробормотал:

— Три года.

Я врезал ему наотмашь по не нуждавшемуся в бритве рылу. Он упал на колени, но как-то так ловко, чтобы не повредить канистру. Схватил мою руку и принялся целовать ее паскудно мокрыми и скользкими губами. Только теперь я заметил, что он вовсе не так уж молод. Было что-то старчески хитрое в этом инфантильном лице, на котором усы не росли.

— Сколько тебе лет, свинтус?

— Тридцать три, — проохал он, беззаветно покрывая мою ладонь поцелуями.

Я ударил его еще раз. Тогда он утер рукой нос, чтобы проверить, не идет ли кровь, и провыл:

— Сорок. Господом Богом клянусь.

— Как тебя завербовали?

— Я пишу для них стихи. Придумываю анекдоты. Для отдела пропаганды и изучения настроения населения.

— Вставай, скотина. Не ломай комедию, а то всем скажу, кто ты такой.

Он поднялся с колен, хлюпая носом. Старательно почистил рукавом край бидона. Так он был мне предан.

— Что за стихи? — спросил я и снова ухватил его за воротник мерзкой, пропотевшей рубашки.

— Сатирические. На разных оппозиционеров, отщепенцев, вообще врагов.

— А анекдоты?

— Анекдоты — про правительство. Два типа анекдотов. Одни — чтоб зондировать, как толпа реагирует, а другие — против политиков, которые сошли с орбиты.

— Чудовище. Созову сейчас народ, чтоб тебя линчевали.

Он снова пал на колени и своими лапками ящерицы ухватил меня за руку.

— Умоляю, пожалуйста, простите меня. Я же признался. А что я мог сделать? Что мог сделать человек из Старогарда, да еще увечный. Двадцать лет писал стихи, и хоть бы какая собака доброе слово молвила. Все письма из редакций и издательств начинались: “К сожалению, сообщаем...” В конце концов, я возненавидел почту. Вы меня поймете и простите. Другие и похуже свинства устраивают. Я вас прошу именем моих родителей — я ведь сирота.

— Столько же лет тебе, как ПНР, и столько же, как в ней, гнусного лицемерия. Может, еще что-нибудь из моих текстов процитируешь?

— Пожалуйста, — обрадовался продажный Тадзик. — Уже вспомнил подходящую цитатку.

Я поднял кулак для удара, а он съежился и заплакал.

— Если я и в самом деле в восторге от вашей прозы. Одно к другому не имеет никакого отношения. Я под вашим писательским обаянием. В моей поэзии видно ваше влияние. Начальство в отделе мне даже сделало выговор, что я вдохновляюсь вашим творчеством. Я вас люблю. Я без вас жить не могу.

Пьяницы следили за мной недружелюбно. Со стороны могло казаться, что я избиваю несовершеннолетнего.

— Вставай, хуй старогардский. И с глаз моих долой.

Он встал с тротуара, утирая нос и глаза.

— Я сегодня пережил шок, — сказал он плаксиво. — Отпустите мне грех. Я начинаю новую жизнь. После обеда отказался на них работать. Я такой же человек, как и вы.

Я сжал кулак и шагнул в его сторону, а он заслонился грязными руками.

— Эй, облом, оставь мальчика в покое! — крикнул демонстрант, поднимая палку от плаката.

— Ладно, — сказал я. — Давай банку и вали.

— Я буду за вами носить, — разрыдался Тадзик.

Я зыркнул в сторону проснувшихся алкашей. Они, пошатываясь, вставали.

— Как хорошо, что я вас встретил. Это был перелом. В моей жизни и в моем творчестве. Вы спасли человека. Что может быть важнее в этом мире?

— Заткнись и смываемся, а то обоим достанется, — буркнул я.

Я пошел в сторону Нового Свята, а сорокагодовалый Тадзик,

за мной. С трудом трезвеющие демонстранты проводили нас подозрительными, неласковыми взглядами.

— Столько лет даром пропало, — сокрушался Тадзик, идя следом за мной. — Да, грешен, не отпираюсь. А наши современные классики не грешат? Поглядите, пожалуйста, — он изловил меня за руку и потянул к витрине галантереи.

А там посреди лозунгов стоял расстроенный телевизор. Однако не настолько испорченный, чтобы нельзя было разглядеть очередное съездовское событие. На этот раз обоим секретарям возносили почести представители творческих союзов. Председатель художников был одет в блузу прошлого века и огромный бархатный берет, в руке он держал палитру и кисть. Другой, в белом, нес огромное гусиное перо и свиток бумаги. Третий, в римской тоге, держал перед лицом греческую маску. Четвертый, с венком на лбу, щипал струны лиры. Но еще один из них был в нормальной одежде, без всякого символического реквизита, однако, как и все остальные, опустился на одно колено перед секретарями. Меня заинтриговал этот наряженный председатель, мне вдруг захотелось любой ценой узнать, кого же он представляет. Тадзик наверняка знал, но спрашивать я не хотел.

— Видите, им все можно? У них есть все. Деньги, красивые женщины, слава на родине и за границей, а становятся на колени перед этими олухами. Так чего вы от меня хотите?

— Тадзик, ты омерзитель, — вздохнул я.

— Я, что ли, в этом виноват? Я хотел бы выглядеть, как вы. А что же поделаешь, если Господь Бог по-другому задумал.

Я хмыкнул, не зная, что ответить.

— Отдай банку, — произнес я наконец.

— Я с собой покончу.

— Можешь идти за мной, если хочешь, но банку отдай.

— Вы меня презираете?

Я бросился в его сторону, а он ловко отскочил.

— Отдай канистру, сукин сын!

Вдруг он обиделся и подал мне бидон, рукоятка намокла от его паршивого пота.

— Думаете, я ничего не знаю, — проговорил он двусмысленно.

Возле "Рая" было пусто. Арабы, уже внутри, щупали наших девушек в ритм восточной мелодии. Я остановился у дверей, в которых кто-то когда-то выбил резные стекла. На легком предвде-

чернем ветру раскачивалась картонка с надписью “Все места заняты”.

— Знаете, — примирительно начал сорокалетний Тадзик, — арабу только дотронуться до ноги белой женщины — и он уже кончает.

— Теперь будешь мне всякие свинства рассказывать? — заорал я.

— Это правда, чистая правда. Спросите девочек.

Я пошел в сторону трамвайного круга. Здание ЦК сонно лежало на огромной каменной платформе. Старый, усталый зверь с пустыми глазницами. Легкая дрожь прошла у меня по спине: я вновь припомнил тайный банкет для высшего руководства — ТБДВР. Успеют ли мои собратья по алкоголю стереть следы? А мой счет? Я забыл расплатиться за рагу. Что поделаешь, может, в общем разорении утонул.

На кругу дремал пустой трамвай. Пассажиры окружили водителя, который стоял рядом с вагоном и отбивался от навязчивых путешественников.

— Сказал, не поеду — значит, не поеду.

— Да, золотой ты наш, что случилось?

— Попросту расхотелось — и все. Домой иду.

— Пан механик, у вас же теперь маршрут покорооче. Только от моста Понятовского, который завалился.

— Короткий маршрут я тоже в гробу видал.

— Ой лихо! Человеке, будь же, пан, человеком.

— Не хочу и разговаривать не стану. Дорогу, пожалуйста.

— Родненький, я больной матери обед везу.

— А мне какое дело?

— У меня тут четвертушка зельца. Хотите?

— Да катись ты, пан. Мне зельц вреден. Мне все вредно — говорю вам как людям. Дайте дорогу.

— Умоляем, будь же, пан, поляком.

— Поляком, первым кандидатом? — спросил трамвайщик.

Наступила внезапная тишина. Кто-то закашлялся, кто-то откашлялся. Расплакался ребенок.

— Ох, елки-моталки, — вздохнул водитель. — Мягкое у меня сердце. Повезу, но только до площади Нарутовича, а там — капут. Садитесь, поляки.

Мы живо забрались в разрушенное нутро вагона. Позади себя

я слышал одышку Тадзика. Трамвай яростно зазвонил, и мы скрежеща поплыли к заходящему солнцу.

— Ты же еще, ко всему, наверняка путаешь меня с каким-нибудь другим писателем, капуста голова, — проворчал я, глядя в заросшее пылью окно.

— Как это так? Отлично знаю. Вы же Рышард Шмидт, правда?

Я хотел ему дать пинка, назад, незаметно.

— Ты ж меня цитировал, дурачок.

— Так это ваши тексты? А мне казалось, пана Рышарда.

Я обернулся. Это безусоё, моложавое, сморщенное лицо улыбалось фамильярно-покровительственно.

— Не бойтесь, пан. Это ваши золотые мысли, и я знаю, кто вы такой.

— Можешь цитировать кого хочешь. Мне это до лампочки.

— Так ведь хорошие тексты, хоть вам и не до конца пофартило. Но я за вас отомщу, когда получу Нобеля.

Я тихо застонал, снова отворачиваясь к окну. Он присел на трубу отопления и нежно вынул из моих рук голубую канистру. Поставил между колен и весело глядел вперед, понимающе подмигивая.

И тут я почувствовал, что кто-то осторожно толкает мою правую ногу. Это, конечно же, был Кутька. Он преданно смотрел мне в глаза и вилял печальным остатком хвостика.

— Кутька, куда ты снова подевался?

А он вцепился бахромчатыми лапками в мои штаны, повизгивая с величайшей любовью, счастливый, что порадовал меня своим неожиданным явлением.

— Отведем мы тебя, собачка, к твоим, к площади Христа-Спасителя. Столько лет прошло, а они тебя забыть не могут. Они любят животных. И людей тоже.

Кутька радовался, ловил себя за хвост, которого собственно не было. Мы проехали трамвайный круг на перекрестке Маршалковской и Аллей. В стеклах витрин и окнах квартир показалось отражение каменной горы Дворца Культуры. Поблескивали огни армейских прожекторов. Между ними пульсировала надпись, выложенная из подсвеченных пластмассовых детских ванночек. "Мы построили социализм!" Но ванночки были из отходов экспорта, кое-где потресканные, и обнажали скрытые внутри лампочки, большинство которых уже перегорело.

Что-то меня заставляло обернуться и поглядеть на это мое бу-

дущее гигантское надгробье, украшенное прежним гербом Польши и нынешним советского государства. Меня даже брало любопытство, обложили ли уже нашего орла гербовыми снопиками хлеба, перевязанного лентой с лозунгом "Пролетарии всех стран, соединяйтесь". Но я обернулся, парализованный каким-то суеверным или магическим сопротивлением. Погляжу на это здание, когда надо будет. Погляжу на него в восемь вечера, если вообще погляжу.

И за спиной, сквозь трамвайный скрежет, я слышал гул гигантофонов и размытые звуки оркестров. По моим плечам прыгали трупные, фиолетовые отблески света дуговых ламп. Кутька спал у моих ног.

Мы проехали Центральный вокзал, стоящий в озере битого стекла от последних окон, вылетевших во время пушечного салюта. В этой раздробленной стеклянной глади отражалось заходящее солнце. И едва мы минули кровавую пойму близ почерневшего вокзального бункера, трамвай наш начал рваться, словно пытаюсь сорваться с привязи, принялся скрежетать железными сцеплениями, пока, наконец, не утих и еще несколько десятков метров плыл, словно корабль, пристающий к берегу. В конце концов, он остановился, качнулся вперед и назад и замер.

Пассажиры бежали к кабине, из которой, пошатываясь, выбирался водитель.

— Вы же, пан, обещали до площади Нарутовича.

— Обещал, потому как я человек чести. Так ведь ток отключили. Ох, люди, как мне горло дерет, — он обмахивался латунной рукояткой, которую прихватил с пульта управления.

— Врет! Опять ему расхотелось. А я везу обед больной матери! — завизжала женщина.

— Пожалуйста, — водитель поклонился, сдерживая икоту. — Вот вам рукоятка, поезжайте.

Несколько парней уже шарило у него в кабине.

— Правду говорит. Нет току! — закричали они.

Раздались не слишком энергичные ругательства. Толпа стала растекаться по соседним улицам. Водитель стоял на передней площадке, он поднял синее лицо к солнцу и с облегчением закрыл глаза.

— Пошли ребята, пешком, — решил я.

Кутька двинулся впереди, я — посередке, а Тадзик с банкой — в хвосте. Мы шли по улице Очки, зарумяненной закатом, по уны-

лому каньону между кладбищенскими деревьями. Мы знали, что за этой тюремной стеной скрываются городские прозекторские и морги.

.....

— Дай канистру.

— Но почему?

— Потому что пригодится. Я здесь войду в больницу, а ты меня жди.

— Умоляю, будьте осторожны. Я вас люблю, как отца родного.

Я хотел его пнуть, но он бдительно отскочил.

— Я за вас отомщу. Мир вас еще вспомнит.

Он возился со своим карманом, пытаясь извлечь какой-то пакет.

— Я начал писать прозу. У меня уже три главы. Мир еще такой прозы не видал.

Я смирился и направился к больничному входу. Несколько нетрезвых больных лежали на заросших травой ступеньках. Я хотел их предостеречь, как бы не заработали воспаления легких, но они посмотрели на меня враждебно, как больные смотрят на здоровых.

— Антихрист, — сказал я. — Антихрист в виде вируса. Эпидемия. Как гриппа или холеры. Эпидемия из глубин космоса.

Я шел по коридору, освещенному слабыми лампочками, которые разгорались и гасли. Больница получала ток от собственного агрегата. По этим темноватым закомаркам шлялись поддавшие пациенты. Ходячие больные без энтузиазма ухаживали за тяжелобольными. Медсестер и санитарок в наших больницах давно уже было не видеть. Вышли из моды.

Наконец, я увидел стеклянную стену реанимации. В палате стояли три то ли кресла, то ли кровати, а скорей всего — рахитические катафалки, на которых подергивались три бессильных тела. Дверь была приоткрыта, и я без труда вошел в зеленоватое помещение, наполненное, как у часовщика, тиканьем, шипением, бряцаньем. Моргали цветные сигналы, из крана текла вода, в воздухе стоял тяжелый дух карболки, а может, валерьянки.

Я по очереди поглядел на три лица без капли крови. Тот, что в середине, темный с проседью, вроде бы был Губерт. Его опутывали какие-то провода, проволоки, а в горло упиралась трубка — толстой нарезкой. Он истерически дергался в ритме аппаратов и глядел на меня своим незрячим глазом. Он ощерил странно умножившиеся зубы, но, видно, ощерил давно: в углах серого рта засохла желтая пена. Он глядел на меня этим незрячим глазом и ничего не говорил, потому что ничего уже не мог сказать. Мне вдруг показалось, что здесь смердит трупом. Что в этом стеклянном киоске, который неделями не прибирали, что в этом зеленоватом чистилище смердит смертью.

Я не мог вынести его взгляда, то есть не мог вынести этого белого глаза, который сверлил меня салатно-фосфорическим огоньком. Я присел в ногах кровати, теперь передо мной были восковые ступни Губерта, обтянутые неживой кожей, костистые, жилистые, словно вываренные в формалине.

— Ну и что, Губерт? — сказал я вполголоса. — Намотался ты по миру за

свою средне-долгую жизнь. Намотался по нашему малому микромиру города, агонизирующего посреди Европы. Что гнало тебя вперед, какая сила, какая вера?

Кто-то вздохнул со стоном. Я поднял голову, но это только одна из машин — может искусственное легкое, искусственная почка или искусственное сердце, — какой-то из искусственных человеческих органов сменил ритм. словно поменял усталую руку.

— Ну и что, монах эпохи упадка, Савонарола конца старого мира? Напрасную жизнь ты прожил, приземленное существование, убогую судьбу. Ты всегда был против, и все говорили, что ты постоянно меняешь убеждения. Ты подавлял в себе человеческие реакции, а может, филистерские привычки и в ближних преследовал мещанина и филистера. Мало кто тебя любил, многие тебя ненавидели. Любили тебя кое-как — ненавидели в полную силу. Какая же нравственная логика руководила твоими поступками, мое бледное, жесткое, нечеловеческое угрызение совести?

И тут откуда-то из полумрака вынырнул Кутька, добравшийся сюда ему лишь известными путями. Насторожив уши, он принялся обнюхивать высокие, уродливые ножки постелей, какие-то ведра, мотки бинтов. Машины мерно сопели, мигая слабыми огоньками.

— Когда ты начал печататься у эмигрантов и подпольно здесь, правительственные художественные салоны издевательски хихикали: на политике, мол, хочешь построить литературную карьеру. Когда по ночам студенты размножали тебя на гектографах, когда старые маньячки тайком выступивали на машинках твои эссе, когда твои плоды, твои отчаянные мысли и безнадежные надежды расходились по стране тиражом в несколько десятков экземпляров, твои коллеги, твои верные друзья, стражи национального очага, весталки веры отцов — они углублялись в двусмысленный, но окупающийся флирт с безмозглым режимом. Они рвались вверх здесь, загребая монету и славу, рвались вверх за границей, пользуясь поддержкой режима, дипломатией, командировочными, огромной государственной машиной. Они многозначительно подмигивали в свободном мире: они, мол, представляют моральную силу угнетенной страны, они, мол, эту силу творят, и они же вожди ее. А тебе, бедняга средневекового воспитания, тебе не жалели пинков ни те, ни другие. Ты нажимаешь рычаг, замыкающий твою судьбу? И с каким сальдо? Похорошел ли кто-нибудь в этих казематах, кроме меня? Или кто-нибудь, кроме меня, не проспал ночь, мучимый совестью? Или кто-нибудь прыгнул в огонь, чтобы согрешить и оскорбить Господа Бога, — кроме меня?

Кутька сел посреди палаты. Он не глядел на меня, не глядел на умирающих. Он поднял голову и уставил бусинки глаз в зеленоватый кафельный потолок, в зеленоватый цвет безнадежной надежды.

— Правильно делаешь, шантажист, что умираешь. Ускользаешь потихоньку, как водопроводчик, который не сумел починить кран. Мир подравнялся. Нет ни злых, ни добрых. Есть огромная, несчастная толпа, оттаптывающая ноги друг дружке. Иссохли, в песок забвения ушли живительные источники когдатощней нравственности. Неоткуда черпать, негде освежиться. Нет примера, нет вдохновения. Только ночь. Ночь равнодушия, ночь апатии, ночь хаоса.

На столике под испорченной лампой стоит откидной календарь. Пожелтый, с загнутыми углами, с чьими-то пометками. На нем — 22 июля 1979 года, еще одна из многих окружающих нас дат.

— Слишком рано ты умираешь, Губерт. Все они, сознательные лакеи времени или истории, все они дожидаются твоей головы. Они требуют, чтобы ты перед ними смирился и признал их правоту. Они твой скальп хотят повесить себе на грудь, словно еще один орден. А может, ты уже смирился? Может, ты платишь жизнью за капитуляцию?

Гипсовые ноги Губерта легонько дрожали. Край простыни сползал, открывая волосатые, мертвые лодыжки. Где-то стукнула дверь, но Кутька и не пошевелился. Сидя посреди палаты, закинув голову, он глядел в потолок или во что-то выше потолка.

— Губерт, мы были с тобой самые далекие и самые близкие друг другу. Мне плохо пришлось бы на земле без тебя. Тебе пришлось бы плохо без меня на том свете. Пора ненадолго распрощаться — на одно мгновение мертвого ока Господа Бога.

Я встал, подошел к изголовью. Машины не слишком сильно трясли эту голову с проседью и с выражением боли или ожидания на лице. Я склонился, прикоснулся губами к холодному, мокрому лбу. Мне не хотелось, но я знал, что так надо.

Тогда Кутька завыл. Он выл, как на луну, на эти зеленые кафели надежды. А я почему-то боялся прикрикнуть на него, чтоб не выл, и со сжимающимся сердцем слушал траурный гимн собаки Кутьки — Кутьки пропавшего и неожиданно нашедшегося.

.....

На улице темнело. С севера надвигались мощные чернильные тучи, каких и старожилы не припомнят.

— Идем, собачка, — я бултыхнул канистрой, этим моим дорожным саквояжем.

Кутька твякнул и пустился во тьму. Но мы не ушли далеко. Со сквера Старынкевича осторожно выскользнуло несколько сгорбленных фигур.

— Руки вверх! — скомандовал один и пнул меня в бок чем-то вроде обреза. Я заметил, что у других были скаутские ножи, притороченные к модным плетеным ремешкам. Я поднял руки — правую вместе с канистрой.

Командир прошелся по моим карманам и сразу изъясил деньги.

— А где партбилет? — спросил он грозно.

— Я не член партии.

— Не член партии, — издевательски повторил он, хотел врезать мне прикладом, но я уклонился, и он зацепил обрезом одного из своих.

— А вы — кто, если не секрет? — спросил я.

— Мы городское партизанское движение. Не слышали такого?
— Вроде что-то слышал. Но это, кажется, не в Польше.
— В Польше, в Польше. Еще услышите. Что там у вас в канистре?

— Бензин.

— Сейчас проверим. Пройдите, пожалуйста, вон туда, в общественную уборную.

— Да она с десятого съезда не работает.

— Неважно.

Мы спустились по ступенькам, заваленным стихийно образовавшейся помойкой. Дверь, конечно, была забита досками, которые кто-то тщательно поломал. Один из партизан зажег фонарик, другой открыл герметическую крышечку канистры.

— Бензин. Растворитель, — подтвердил он мрачно.

Теперь командир направил мне луч света в глаза.

— Зачем вам бензин?

— Чтобы облить себя и поджечься.

Он сконфуженно погасил фонарик.

— Вы что, с ума сошли?

— Идемте, братва, вместе обольемся. У меня отличные шведские спички. — Я схватил командира за балахон. Он изо всех сил пытался вырваться, но я держал крепко.

— Караул! — кричал он. — Псих!

— Ребята, миленькие, дайте канистру. Такой толстяк, как раз подойдет.

Но уже только топот ног раздавался в чаще кустов. Моя жертва тоже бросилась наутек. Не удержал я этого франта. А брошенный на лестнице фонарик светил прямо в чернеющее небо. Я нашел канистру, поднял фонарик — тоже может пригодиться. Осмотрел карманы. Все забрали — даже тот обрывок “Трибуны люду”, что я утром раздобыл.

— Зазевался ты, Кутька, не защищал хозяина.

Он застыдился, с лаем отпрыгнул в кусты.

— Ладно уж. Может, они добра хотели. Может, только учатся ходить. Антихрист, попущение Божие, уж и сам не знаю что. Я бы сейчас лег и уснул. Навсегда.

Тут из темноты вылез Тадзик Скурко. На этот раз, странное дело, без цитаты.

— Ну что, ханыга? — спросил я.

— У них там, в городской очистительной сети, хаза, — показал

он на черные отвалы за площадью Старынкевича. — Обыкновенное жулье. Давайте канистру. Вы устали.

— А где у тебя, осел, копия письма в департамент? Есть какая-нибудь квитанция, что подал на увольнение?

— Конечно.

— Ну, покажи.

Он закрутился, словно отгонял невидимого комара.

— Не стесняйся. Покажи.

— Когда у меня нету.

— Значит, не подавал?

— Не подавал, — бесстыже признался он. — Завтра подам.

— Видишь, Тадзик, каков ты. А я уже собирался тебе доверять.

— Так сегодня же праздник. Отдел кадров не работает. Завтра подам, вот ей-Богу.

— Значит, ходишь со мной по службе.

— Да какое там? Совершенно в частном порядке. Как поклонник вашей прозы. Вашего последнего текста. Тотальной новеллы.

Пролетела всполошенная стая каких-то лесных птиц. Звери все больше льнули к дичающим городам.

— Я молодой, — тихо сказал Тадзик. — У меня много сил в запасе. И еще ваш опыт. Я не повторю ваших ошибок. Куплю пачку бумаги и завтра поеду в Старогард. Через год все обо мне услышат. И завершу ваше творение.

— Да ты настоящий урод. Мне-то хоть с этим повезло.

— Я страшный урод, — согласился он спокойно. — В этом вся штука. Вы на один шаг были от уродства, да у Господа Бога рука от жалости задрожала. Остального вы уже сами достигли. Всю жизнь вы скрывали свое уродство, играя господина с эстетической наружностью. Но я за вас отомщу. Я за нас обоих отомщу.

— Черт побери. Может, я и правда был пугливый. И теперь боюсь, пугаюсь глупого вида, опасаясь презрения. Только гордыни у меня в достатке.

— Я тоже гордый, — произнес Тадзик. — Может, даже больше, чем вы. Поэтому я вам позволяю все эти неизобретательные оскорбления. Ваша гордыня уже навсегда останется голодной, а я свою накормлю.

Я осветил его фонариком. Он стоял с канистрой, выпрямившись, с достоинством, и даже не зажмурился от света в глаза. На мгновение, неизвестно почему, мне показалось, что, может быть,

он прав. Даже Кутька вытарачил на него зеленые, светящиеся глаза.

.....

Я пошел в сторону Аллей, а они за мной. По другую сторону улицы начинались садово-огородные участки, разбитые на территории бывшей автостоянки. Эту стоянку под конец 70-х годов выстроили на гигантской плите, покрывающей туннель Центрального вокзала. Ослабела автомобильная мания, стоянку ликвидировали, и привилегированные принялись грузовиками возить землю на эту бетонную плиту, сажать фруктовые деревья, помидоры и капусту. Если овощи отлично произрастали на этой плоской скале и выравнивали государственный зеленой дефицит, то яблони, груши, сливы оказались капризными, не хотели расти посреди отрезающегося от себя города. То есть росли, но неохотно, неубеденно, и ни одно из этих деревьев не выросло выше полутора метров. Поэтому хозяева участков, чтобы спрятаться от навязчивых зевак, все время присаживались на корточки. Отсюда и пошло название Корточки, которым окрестили этот район.

.....

— Эй! — окликнул кто-то из-за загородки.

— Эй! — отозвался я.

— Ты почему опоздал?

— Я опоздал?

— Видишь — забыл. Кто с тобой?

— Молодой поэт и пес.

— Ну, входите. Мы ждем.

Мы перелезли дырявую изгородь. За метровой сливой стояла Люцина в сером плаще и шляпке с перьями. Переодетая той девушкой, которой была двадцать лет назад.

— А мы как раз печем картошку с огорода, гадаем на золе и вспоминаем Казика. Сегодня ведь годовщина нашей свадьбы.

— Твоей с Казиком?

— Моей с Казиком. Не помнишь?

Я помнил, что Казика давно нет в живых. Она взяла меня за руку, повела к костру. Мы шли по аллейке, узкой, как кладка, между участками величиной в птичьи клетки. От Дворца Культуры шел фиолетовый, словно от навеки застывшей молнии, свет армейских прожекторов. Мы проходили мимо кустиков смородины, зарослей малины, могильных грядок с цветной капустой, морковкой, чесноком. Мы проходили мимо деревец, на которых не усидел бы даже голубь, но которые рожали крохотные фрукты, и каждое было подперто веткой или высохшим бурьяном. Мы вошли в теплый круг костра, ветер срывал с него искры и нес в сгущающуюся тьму.

— Я собственно спешу, который час?

— Время детское. К семи приближается. Гляди, узнаешь?

Вокруг костра сидело десятка полтора женщин. И мне показалось, что я вижу сон и во сне моя совесть сводит счеты с грехами. Все это были женщины, которых я когда-то любил и с которыми, стыдно сказать, жил. Одних я любил трагически и страстно, других — потому что так вышло и ничего другого не оставалось, третьих — наивно, с опаской и осторожно, словно принимал предательский эликсир. Да и жил я с ними по-разному, по всей стране и в некоторых уголках Европы, иногда успешно, чаще — проваливаясь, а то и по сей день не знаю, как.

Я гляжу на них со священным ужасом. А все они вдовы, разведенки, старые девы с бурным прошлым. Слава Богу, что друг о дружке они не знают всей правды, так что вряд ли меня разоблачат и линчуют. Да и за что же тут линчевать, по прошествии стольких лет, которых, может, и не было.

Я кланяюсь едва-едва, чтобы не обращать на себя внимания.

— Садись, — говорит Уля, у которой когда-то была грудь без сосков, прекрасная грудь, наделенная индивидуальностью.

Я оробело сажусь на холодный камушек. Кутька за спиной у меня высушил язык и дышит любопытством. А Тадзик из Старогарда уже осыпает Малгосю примитивными комплиментами, и она в восторге слушает.

— На, вот твоя доля, — говорит Рена, с которой у меня много лет назад никак ничего не выходило, и протягивает мне стаканчик, наполненный до краев. — Ждало тебя, пока не остыло.

— Ну, так за Казика, — поднимает свою посудину Люцина.

— И за тебя, — говорю я. Мне не следует пить, но я выпью. Они тут уже поплыли. Несколько упавших бутылок валяются между кустами. Господи, сделай так, чтобы они не возвращались к прошлому, чтобы обошлись без этих меандров намеков, фейерверков несвоевременных ассоциаций. Дворец Культуры неприлично светит своей зрекцией в низкое, затянутое тучами небо. Над Вислой рассыпалась первая пробная ракета.

— Видала тебя недавно на улице, — говорит Лидка, которую я когда-то таскал за собой по всем районным гостиницам.

— Да, я иногда хожу по улицам.

Из темноты появляется лицо Каси.

— Ты почему в угол прячешься? Иди к нам. Получишь горячую картошку.

А у этой Каси был такой аппетит, что она меня чуть в чахотку не загнала. Все ей было мало. Люди, я ее в самом деле любил, ибо я сентиментален и подвержен природным инстинктам. Нет ничего порочного в этих проблесках моей устыженной памяти. Жизнь была попросту жизнью.

— Может, споем, — предлагает Оля, у которой были золотые волосы и черная шубка. Я зажмуриваюсь, чтобы уже ничего не вспоминать.

— Сдурела? Тут же милиция примчится. Сегодня не разрешено петь в частном порядке.

К счастью, ветер все чаще заглядывает в этот мини-огород. Он раскачивает деревья, словно настоящие, рвет листья и несет их к еле освещенному вокзалу.

— Есть у тебя девушка? — спрашивает Рыся, о которой лучше не вспоминать.

— Оставь, — говорю я. — Страшная ночь надвигается.

Она склоняется, целует меня возле уха.

— Я тебя очень любила.

— И я тебя.

— Как-то ты это говоришь мимоходом.

Меня выручает Тадзик. Он пьет на брудершафт с Люциной. Они скромно целуются, но я уже ничему не верю.

— Ты мне как-то приснился, — кричит через скудный огонь Кася.

— Ого, и в какой же ситуации? — спрашивает какая-то из них.

— А вот угадайте, не скажу.

— Девушки, ваше здоровье, — я поднимаю недопитый стакан.

— Он обманывает. Долейте ему, бабоньки.

— Факт. Единственный наш мужчина.

— А я? — влезает разошедшийся Тадзик.

— Ты еще мальчишка. Сиди и помалкивай.

— Я мальчишка? Ну, я вам покажу.

Из темноты выходит Ханя, которая из-за меня хотела покончить с собой. Такая же таинственная и истеричная, как тогда.

— Привет, — машет она мне.

— Привет.

— Говорят, ты сделал карьеру. Люди по конторам шепчутся о тебе в обиденный перерыв.

— Может, с кем другим перепутали.

— Ты всегда притворялся скромным.

— Оставь.

— Боишься воспоминаний. Ну, наберись храбрости, скажи: отвали, старая баба.

— Честное слово, ты отлично выглядишь.

— Ты всегда был скотина, но я тебя люблю.

Мне становится жарко, не хватает воздуха, хотя ветер веет всюю, несет тонны живительного озона.

— Может, сыграем на него? — чуть-чуть чересчур громко предлагает Кася.

Я пронзаю взглядом потемки, чтобы проверить, не подслушивает ли нас кто. Но город дремлет в праздничном подпитии. Когда утихает ветер, от Вислы доносятся слабые, анемичные звуки оркестров, которые с эстрад развлекают бродяг и лунатиков. С башни Дворца внезапно летит обломок песчаника, срывая гирлянду лампочек. Это к перемене погоды.

Одна из моих бывших девочек швырнула в меня картошкой. Я перекаत्याю с ладони на ладонь непропеченную картофелину с раковыми наростами. Отечественная. Не очень-то везучие у меня девушки.

— Ну, так что? Разыграем этого единственного мужчину?

— Да во что?

— Да стоит ли трудиться?

— Может, в бутылочку?

- Я отказываюсь.
 - Я его и без бутылочки беру.
 - А фигушки. Почему ты?
 - Ну, тогда играем.
 - Тадзик, поищи бутылку.
 - И не подумаю. На меня тоже можно играть. Я уж не мальчик.
 - Не смеши.
 - Куда ж бутылка подевалась?
 - Подождите, надо его спросить. Может, он уже сам выбрал.
 - Он не выберет. Несмелый. Нерешительный.
 - А ты откуда знаешь?
 - Подружка рассказывала.
 - Не валийте дурака, Люцина плачет.
 - Да не плачет, пепел в глаз попал.
 - Ну так что, играем? Боже, какая скука.
 - У меня тоже был тяжелый день.
 - Жить все тяжелее.
 - С утра поглядела в зеркало.
 - Лучше не глядеть.
 - Ох, где наши мальчики.
 - Это уж все как в воду кануло.
 - Почему? Я себя чувствую молодой.
 - У Гени мужику всего тридцать.
 - У меня уже сил нет.
 - Перестаньте. Хватит жаловаться. Выпьем, девчата.
 - За нашу молодость.
 - Да мы же молоды.
 - Чего ревешь, дура?
 - А ты чего?
 - У меня тушь на ресницах смазалась.
 - А у меня все к черту смазалось.
 - Так разыграем?
 - Я протестую. Чего это мы, бабоньки, будем играть на приبلудного?
- Он мимо нас шел, куда-то дальше. Дура Люцина за ним побежала.
- Казичек его любил.
 - Я его тоже любила.
 - Странно – я тоже.
 - Невероятно, что вы тут рассказываете?
 - А ты, может, нет? Весь город сплетничал.
 - Тот еще фрукт.
 - Тот еще поросенок.
 - Содной кончал, с другой начинал.
 - С двумя сразу романы заводил. Сколько я, дурочка, проплакала.
 - Знаете что, зададим ему трепку.
 - За нашу и вашу обиду.
- Уже некоторые, пошатываясь, поднялись от костра. Рена ломала ветку от засохшей яблоньки.

— За какую обиду? — спросил я, поднимаясь с камня. — Девушки, я же старался. Я хотел вас любить, как никто другой на свете. Может, если бы не вы, я бы сегодня был Шекспиром. Да, совершенно точно. На вас я растратил полжизни.

— Нахал.

— Нас же еще обвиняет.

— Нет, это уже чересчур.

— Пусть катится ко всем чертям.

Я вытащил из огня головешку — точно факел. Отчасти для эффекта, отчасти для обороны. Ветер, словно клочок шелка, тербил скудное пламя.

— Милые мои, любимые. Еще целая ночь впереди. Вспомним все эти весны, лета, осени и даже зимы. Рассветы, обеденные часы и вечера. Шелковые постели, лесные мхи и кухонные закутки. Рассмотрите все по справедливости и только потом отдавайте на самосуд.

— Я ведь его почти не знаю, — сказала в наступившем молчании Рена.

— Больше дыма, чем огня.

— Выпьем наши девичьи.

— Лишь бы до весны.

— Лишь бы до Нового года.

— Лишь бы до завтра.

Я незаметно отложил обуглившуюся ветку. Осторожно, шаг за шагом, отошел за низкую грушу. И, словно в лесу, при сборе грибов, склонившись до земли, продрался на другой край огородов. А когда кусты и деревья уже закрыли костер и моих зябнущих девушек, я выпрямился и был свободен.

— Привет, — сказал кто-то тихо.

— Привет!

Она подошла ко мне, стройная во тьме, прекрасная во тьме, молодая во тьме. Взяла мое лицо в ладони, словно хотела приглядеться в свете внезапной луны, выглянувшей из разорванных туч.

— Я люблю тебя до сих пор, — прошептала она.

— А кто ты?

— Я твоя девушка былых времен.

Я пытался узнать ее по голосу, но она говорила шепотом. А шепот — только эхо голоса.

— И я тебя люблю.

— Ты вспоминаешь меня иногда среди других и не знаешь, что это я.

Она поцеловала меня в губы молодыми губами.

— Знаешь, я ухожу.

— Я знала, что ты уйдешь.

— Ухожу на тот берег.

— Что ты говоришь? Что случилось?

— Такая создалась необходимость.

— Что это значит?

— Что шутки кончились. Мои шутки.

— Ты мне нехорошо приснился. Я несла тебе ребенка. Не твоего и не моего.

- Я всегда буду помнить тебя.
- Да ты же не знаешь, кто я.
- Я буду помнить тебя молодой, таинственной, затемненной летними сумерками, как славянская мадонна. Хочешь?
- Хорошо, помни меня такой.
- И ты меня вспоминай добром.
- Всегда буду вспоминать.
- Если я тебе что-то дал.
- И если я тебе что-то могла дать.

Мы расцеловались долго и сердечно, как двое несчастных. Ветер уже носился по садам в осеннем безумии, срывал крыши с будок, сносил остатки изгородей, надрывно выл в просеках-аллеях.

- Привет, — сказала она.
- Привет.

И ее уже не было. Я постоял, собираясь с мыслями. Голова словно разбухла и распухла после этого стаканчика дамского самогона. Я двинулся на север, пересекая теснину карликового огорода.

Неправда. Я все время помню о Надежде. На этих руинах любовей или романчиков у меня маячит перед глазами статуя Надежды. С развевающимися алыми волосами, с протянутой ко мне рукой, с открытым для крика ртом. Страшно мне чего-то жаль. Что это? Что случилось в последние часы перед последней ночью?

.....

Неудачно это вышло. В последний момент. Может, забраться в мышиную норку на этом погосте? Свить гнездо, в котором ничто уже не родится? Ох, Надежда, моя Надежда.

- Эй, — услышал я впереди себя. — Бидон не потеряли?

Тадзик и Кутька стояли на грязной, разъезженной дороге возле заборов, окружающих начатую и брошенную стройку. Здесь когда-то запроектировали район небоскребов. Некоторые выросли, но не до конца, другие скончались в эмбриональном состоянии.

- Ну и что? — спросил я сам себя.
- Она в меня влюбилась.
- Кто?
- Люцина. Не поеду в Старогард, у меня с ней завтра свидание.
- Тадзик, ты жуткий недотепа.
- Выбирайте, пожалуйста, слова. Еще выяснится, кто из нас недотепа. У меня было три жены, и все — парторги. Я половину партии перетрахал в Старогарде.
- Может, уже попросаемся? Что тебе, обязательно за мной ходить?

— Обязательно. Я собираю материалы для великого репортажа о вашем последнем пути. Я вам обеспечу бессмертие.

Я обошел его с левой стороны по мосткам из замшелых досок. Я никогда хорошо не знал этого района, но знал, что иду правильно. Здесь годами уже по вечерам не зажигали фонарей — по многим причинам, а прежде всего из бережливости.

— Если у вас есть какие-то записи, начатая проза или интересные письма, оставьте мне их, — доканчивал сзади Тадзик. Кутька вырвался вперед, умело вел меня по бездорожью. Мне приходилось светить фонариком.

Наконец я увидел людей, сидящих на бетонных трубах. Некоторые держали переносные алтари и хоругви. Несколько девушек, одетых в белое, заслоняли от ветра огоньки старинных восковых свечей. Рядом стояли носилки с гипсовой фигурой святого. Все они сонными голосами тихо пели медленную религиозную песнь.

— Погасить свет! Не слепить в глаза! — услышал я удивительно знакомый голос. Кутька дружелюбно завилал хвостом, я спрятал в карман трофейный фонарик.

— Кого я вижу? — из темноты вынырнул Колька Нахалов с подбитым глазом. — Вы что тут делаете, мушкетеры?

— Возвращаемся с небольшого банкета. Может, отправишься туда? Барышни ждут на огородных участках.

— Э нет, не могу. Ночью я иду с паломничеством в Ченстохову.

— Выкрестился, Колька? Когда? Может, Шмидты тебя обратили?

— Э нет, я атеист. Встретил знакомого по молодежной организации. Он теперь в ксендзы пошел. Ведет паломничество и получил коллективный паспорт. Я присоединился, потому что в Ченстохове будут разбирать комбинат имени Берута. У нас сейчас хорошая конъюнктура на мартены. Хочешь конверторную печь?

Из потемок все время кто-то потихоньку выходил и, записавшись у ксендза, присоединялся к ожидающим паломникам.

— Еська, на минуточку, — окликнул Колька.

Молодой ксендз с четками, ксендз с прозрачными глазами, которые, и не глядя, все до мелочей видят, этот самый ксендз из нового набора подошел к нам не спеша.

— Познакомьтесь. Приятели по банкету, но банкет невинный. Может, благословишь их, а то бродят ночью, как грешные души.

— Колька, я тебя беру при условии, что ты будешь прилично себя вести. У меня и так переполнено, могут быть неприятности.

Мы поклонились друг другу. Ксендз как бы мимолетно, но внимательно поглядел на Тадзика.

— Может, по рюмочке? — предложил Колька, тронув пальцем оттопыренный на груди пиджак. Наверно, выудил бутылку в ЦК.

— Позже. В пути. Я предупреждаю тебя, Колька. Верующие смотрят, — сурово сказал молодой ксендз.

— Ну, счастливого пути, — пожелал я.

— Взаимно, — отвечал Колька, а ксендз поклонился с серьезностью.

Мы прошли мимо сборного пункта паломников, двинулись в сторону Свентокшиской. С боку белел высокий столб Дворца Культуры.

— Откуда-то я знаю этого ксендза, — сказал Тадзик. — Мои родители были религиозные. Я-то не очень. То верю, то не верю. А тот, что разделся на съезде, говорят, хотел соединить марксизм с религией.

Откуда-то из обширных просторов налетел ветер и чуть не перевернул нас. Меня сотрясло внезапным холодом. Может, у меня жар? Может, и жар. Все равно.

Мы перешли Свентокшискую. Среди черных холмов города наигрывал оркестр. Гигантофоны умолкли, только ветер посвистывал в их мертвых зарешеченных потрохах. Заметили ли вы, какой огромный круг делаю я возле этого выбеленного прожекторами Дворца, в лушащейся чешуе каменных плит подобного великанской рыбе? Как не отвожу от него глаз, как слежу за ним и одновременно держу его на дистанции? Я давным-давно предчувствовал, что он мое надгробье.

.....

Этот город веками строился под кнутом, этот город жег каждый, кому того хотелось. А я по-прежнему люблю этот город, не так сильно, как любят его круги лакействующих художников — страстно, до безумия, за деньги, выжимаемые из сентиментальных жителей, которым приходится любить свой город, потому что больше им нечего любить, и за деньги, выжимаемые из хитрой партии, которая самоотжествилась с городом, государством и Господом Богом.

Где-то там, в бездне ночи, умирает Украина, агонизирует Литва, испускает последнее дыхание Белоруссия, в далекое путешествие к раю Магомета уходит Татария. Где-то там, на болотах, на

тряси́нах ма́лой, как ато́м, земл́и, умира́ют лю́ди и пре́жде вре́мени конча́ются несча́стные наро́ды. Ме́жзвездный коло́кол бьёт к зау́трне. Серге́е космоса́ бьёт в наба́т.

.....

— Кончается еще одна бесконечность. Минует очередная вечность, — цитирует навстречу мне средних лет мальчик из Старогарда. — Но мы замерли. Вы видите, что творится?

Я вижу и глазам не верю. С неба летят редкие хлопья снега. После знойного, душного склона дня надвигается краткая ночная зима. Кутька гоняется за медленно парящими снежинками, которые напоминают ему веселое собачье Рождество.

Тадзик придвигается ко мне с таинственным видом, несмело берет за рукав.

— Я знаю, — шепчет он с ужасом, — я все знаю. Вы хотите покуситься на свою жизнь из-за того, что не добились успеха.

Где-то на соседней улице что-то обрушилось с гробовым грохотом. Но, к счастью, без жертв: криков не слышать.

— Я за вас отомщу.

Не говоря ни слова, я вхожу за кирпичную загородку, где стоят мусорные баки, которых уже никто не вывозит. Под пирамидой вонючих помоев нахожу здоровый кирпич.

— Тадзик, на минуточку.

Любопытствующий поэт из Старогарда доверчиво входит в этот смердящий крематорий. Я оставляю бидон, беру Тадзика за мокрый воротник курточки.

— В чем дело? — пытается он вывернуться из моих рук.

— Знаешь что, — говорю я задумчиво, — знаешь что, я в конце концов решил убить тебя. Можешь кричать сколько влезет. Никто даже в окно не выглянет. У меня тут крепкий кирпич. Хороший варшавский глушитель. Прервем по-научному твою жалкую жизнь.

— Вы шутите. Вы любите убивать в романах.

— Нет, Тадзик, я не шучу. Хватит вымыслов, хватит фантазий. Совершим обыкновенное банальное преступление.

— Вы видите, я не кричу, я вас за горло не хватаю. Вы просто примеряетесь.

— Нет. Гляди, я поднимаю кирпич вверх, сейчас размозжу твой веснушчатый лоб. Посмотрим, как это выглядит в жизни, на самом деле.

Тадзик без страха смотрел на щербатый кирпич, который я держал у него над головой.

— Хочется мне, ох, как хочется искутить судьбу. Прямо мурашки по спине бегают. И потом сразу встретимся, ладно? Я буду вас ждать пятьюдесятью километрами выше шпиля Дворца Культуры, там, где совсем кончается наша атмосфера, наш малый земной мир. Но вы этого не сделаете, ибо две тысячи лет тому назад один арамеец сказал своим жестоким современникам: вместо того, чтобы приносить в жертву агнца, соседа или своего брата, принеси в жертву самого себя. Во мне семь атомов Антихриста, но в вас, по меньшей мере, семьдесят семь.

— Гляди, Тадзик, как легко убить человека. Через полгода во время субботника тебя вывезли бы вместе с мусором в пригородный лесок, где растут последние сморчки и последние ядовитые травы. Как легко прервать чужое существование.

— А свое собственное?

Он вынул из моей руки кирпич, взвесил на ладони.

— Возьму на память. Это будет мой талисман. Веревка повешенного. Вы не голодны? У меня с собой два куска сахара.

— Ты что, бредишь?

— Мне следовало бы отереть вам лицо. Но у меня нет платка.

— Это была последняя остановка нашего крестного пути?

— Да. Перед нами жертвенник, — он показал рукой на белеющий в снежной дымке, воздымающийся до неба иконостас Дворца.

— Почему я тебя не убил, когда мог убить?

— У меня в карманах нет серебрянников. Моим гонораром будут пять страниц прозы, если по дороге никто не украдет тему. Знаете, как это теперь бывает. Я тружусь, потею с самого утра, веду вас, словно слепца, к предназначению, а в последний момент выскочит какой-нибудь ловкий мудака и выхватит финал, последнее послание, последнюю метафору.

— Тадзик, дарю тебе жизнь.

— Ладно, ладно. Пора уже. Нельзя опаздывать.

Мы торопливо двинулись напрямик к Дворцу Культуры. Мне пришлось разыскать в кармане фонарик, чтобы осветить на этом бездорожье. Кутька деликатно переждал наши препирательства и теперь бодро бежал впереди меня, выбирая безопасный путь. Снег становился все гуще.

Тут меня зацепила какая-то озабоченная бабенка.

— Вы не знаете, господа, где тут сбор паломников в Ченстохову?

Голос показался мне знакомым. Я осветил ей в глаза и увидел крупную голову, покрытую энергичными морщинами и размазанной по всему лицу яркой помадой.

— Недалеко, пани Гося. Надо пойти направо, к тем недостроенным небоскрегам.

— Ах, это вы, — сказала она не удивившись. — Ничего себе повеселились, а? Этот хам мною злоупотребил. Я обесчещена. За мои собственные деньги.

— Но ксендз, который ведет паломников, тоже выглядит подозрительно.

— Это неважно. Ксендз пусть хоть и фальшивый, лишь бы покаяние было настоящее. Вы что, собираетесь выступить возле Дворца?

— Кто вам сказал.

— Уж и не помню. Бедная моя голова. Столько неприятностей сразу. А вы знаете, какая дорога в Ченстохову? Полпути — пустыня после всех этих разведочных шахт. Понизили уровень грунтовых вод, разрушили экологию, всюду дюны да дикие собаки. Раньше шли неделю, а теперь, может, и до Нового года не доберемся. Я обанкротилась.

— Помолитесь за мою душу.

— Не знаю, искуплю ли свою. Надо же, хам, а до чего здоровый. Еле живая ушла.

Она удалилась не прощаясь, проклиная кухмистра-полковника. Кутька хотел залаять, но раздумал. Только ощерил свои не слишком красивые зубы и рычал, глядя в темноту.

Лишь бы покаяние было настоящим. Вот приближается из тьмы Дворец Культуры, сияющий, как месяц, отраженным светом прожекторов. Он надвигается на нас сквозь летучие облака метели. Я уже вижу смонтированные в аттик над залом съездов стальные столбы, огромный палисад, который должен защищать делегатов. А на палисаде распростерта великанская радуга из цветных лампочек, и на вершине дуги возносится кровавая надпись: "Мы построили социализм".

Я еще могу укрыться в мышиную норку. У меня еще есть последняя минута. Скрыться в какую-нибудь нору — хоть бы и в Старогард, сменить фамилию, вступить в партию, завести новую семью. Спасти несколько лет жизни для Надежды — то есть для надежды. Но тогда-то я ее и потеряю. Она умрет у меня на руках

или в моих мыслях. Большегрудая Надежда, степной эликсир женственности, блаженство, о котором я тосковал всю жизнь. Ибо только теперь я вдруг понял, что такое таинственный женский элемент, несомый солнечными ветрами из чрева космоса. Я спал с полубабами, полумужиками, ласкал белковые приманки, любил бесполой биологических манекенов. Я хотел бы положить голову на лоно Надежды и уснуть навеки.

До меня той же тропой на костер шли буддийские монахи, чех, какие-то литовцы. До меня шли той же раскаленной тропой люди разных рас, языков, религий. Почему самоубийство в одиночестве жалостно? Почему публичное самоубийство в величии ритуала становится вознесением? Почему одинокая смерть от собственной руки — грешное нарушение Божественных законов, а смерть на глазах ближних — победоносный вызов Господу Богу?

Где вы, кающиеся души, бессильно сопутствующие нам в этой земной суматохе? Я разговариваю с вами с утра, тяну повествование, представляющее собой умноженные повторы. Я повторяюсь рабски, ибо рабство повторяется изо дня в день. Я и вас замучил скукой, и вы молча ждете финала, когда я вступлю меж грешных, кающихся душ, которые никому не являются по ночам, которых никто живой не страшится, которые никогда еще не удержали никого живого от преступления.

Я не сотворил за свою жизнь прозы героической, эпической, объективной, всеохватывающей, многозначной и вместительной, как Библия или Коран. Меня время вынуждало к монотонности, к одному и тому же стонущему бормотанию, к отталкивающей истерике, к торопливому бормотанию, к односторонним обвинениям, к непривлекательному уродству. Меня, меня оно принуждало, безымянного литератора, неизвестного человека, совершеннейшую заурядность упадочной эпохи, заурядность с разывавшимися амбициями.

Стой, остановись. Не жаль тебе хотя бы этих нескольких месяцев или нескольких жалких осенних дней, которые может подарить судьба? Часов, питаемых надеждой и даже безнадежностью, ибо безнадежность — это унылый вариант надежды. А может, что-то случится, чего ждет земля миллионы лет?

Мы уже на площади Шестивий. Перед нами выщербленная колоннада зала съездов. Вдоль нее расставлены прожекторы, направленные на ряд выходных дверей или, может, на ту каменную платформу, которая дожидается меня, как родная земля. Я ви-

жу две камеры, похожие на пулеметы, готовые к расстрелу. А посреди раскинувшегося кинолагеря стоит Владислав Булат в огромной шубе. Он отложил поездку в Америку и правильно сделал. Он будет снимать выход делегатов, а снимет мою смерть. Эти несколько десятков метров ленты, экспонированных смертью человека, сделают его бессмертным.

Я замечаю моих близких. Надежду с косматым юношей, Рыся Шмидта, помрачневшего Цабана, с которым я перекинулся парой слов, когда на дворе еще стояло лето, замечаю и нищего из моего квартала, мужчину неопределенного возраста, с лысым черепом, с пастушеским посохом в руке. Доцент Эдвард Шмидт, мыча от наслаждения, мочится посреди толпы, что в последнее время входит в обычай. Стоят они все в сквозном полукольце зевак, между активом демонстрантов, между делегациями сонного населения, между подвижными, как воробушки, детьми. А перед этой публикой поставлено несколько мониторов, транслирующих ход заседания. Как раз встает президиум, за ним зал. Нестройными голосами принимаются петь "Интернационал". Наш секретарь сплетает ладонь с ладонью высочайшего секретаря, который правит всем миром.

Но кто в самом деле правит всем миром? Ведь я раб, раб — наш секретарь, и раб — этот властитель империи со слегка обиженным калмыцким лицом. Нами и всем миром правит политбюро призраков, ячейка привидений, чрезвычайка грешной трухи Сталина, Дзержинского, Жданова, Берии и всех остальных, скрытых в кладбищенском мраке.

Кто-то подходит ко мне сзади и обнимает. Это Цабан. Ничего не говоря, он целует меня в плечо, как когда-то целовались поляки. Встряхивает меня, оцепенелого от холода, и отходит в сторону. Подбегает Надежда. Она принимается рыдать, цепляясь за мой рукав.

— Не надо плакать. Теперь уже нельзя, — говорю я.

Стон "Интернационала" сквозь стены добирается до нас. Он звучит, как жалоба живьем замурованных.

— Я пойду с тобой. Может, тебе будет легче, — шепчет сквозь слезы Надежда.

— Нет, ты останься. Кто-то должен остаться. Возьмешь Кутьку. Собаку-путешественницу. Кутька уже все про меня знает.

Подходит этот юноша, заросший, как апостол Иоанн Креститель.

— Засучите, пожалуйста, рукав, — приказывает он.

— Зачем? Оставьте меня в покое.

— Марек заменяет Галину. Ее под вечер арестовали, а его выпустили, — шепчет Надежда.

Прежде чем я успел возразить, он засучил мне рукав и вбил иголку под кожу. Я негромко крикнул, а он уже прилепывал след от иглы мокрым тампоном.

— Противоболевое средство, — информировал он.

— Это сегодня уже второй укол.

Она поднимает мою руку, холодными губами целует покаленное место. Стой, остановись. Разве не жаль этого жалкого мира? Разве не жаль повседневных жизненных поражений, неудачных любовей, вечного страха перед неизвестностью?

— Во сне сидят все кающиеся души, — шепчет сзади Тадзик. — Вы ищете их глазами. Вы ждете их сигнала. Это я, это я. Как скрип половицы в ночи, как лунное мерцание, как придушенное горло в кошмаре.

В мониторах весь зал, сплетенный цепочкой ладоней, поет песню, которая когда-то, в молодости, была прекрасной, а в старости звучит как плач невольников. И наш секретарь поет, но словно анемичнее других, делает паузы, оглядывается назад, глотает слюну, наконец отпускает руку советского секретаря, отпускает свою опору и начинает падать навзничь, прямо на второй ряд президиума, и уже валится под стол, беспомощно, с мертво вывороченными глазами. Но сзади его подхватывает бдительный начальник его личной охраны, крупный господин с кабаньим лицом и странно тонким и заостренным носом, словно кто-то долго тянул его за этот орган. Он хватает секретаря подмышки, подбегают другие, после краткой суматохи тащат его за кулисы. Но по пути отказываются от этого намерения, сажают на свободное кресло, и тут картина зала исчезает, а вместо нее появляется картинка с двумя красными птичками, из которых одна белохвостая.

— Ему тоже в конце концов стало плохо. Всем становится плохо, — произносит Рысь Шмидт. — Слушай, старик, чтобы не было недоразумений. Помнишь, что говорил Эдик об этой моей прорезимной книжке, на которую я живу и оппозиция живет? Это моя штрафная квитанция, дань, сдираемая с бешеного государства, контрибуция, получаемая рабом от угнетателя.

Кто-то из смущенных зрителей начинает тонким голосом скандировать.

— Польша! *Польша!* *Вперед*, вперед!

— Пора уже, — шепчет Цабан.

— Нет, нет, — заслоняет меня Надежда. Она горестно плачет, а я глазу по ее мокрым волосам, при свете дня красноватым.

Снег сыплет, словно хочет смягчить, анестезировать, усыпить. Черный город смотрит на меня ненавидящими глазами. И все-таки это мой город. Он доставил мне страдания, и я не оберег его от страданий. Город невинных грешников, подобных мне грешному.

Когда умру, хочу я, чтобы,
Если чего-то заслужил,
Со мной не выносили гроба
Те, кого я не выносил.

Так написал перед смертью мой друг, мой опекун, мой крестный отец, поэт Антоний С. Его гроб несли самые близкие, и я его нес. Я вломлюсь к вам насильственно, незадолго до срока, как вы примете меня, друзья? Я вступлю в ваш круг обугленный, со страшным клеймом смертного греха на челе. Боже, из любви к Твоим законам я нарушу этот самый священный Твой закон.

Канистра, орошенная снегом, как слезами. Спички в трясущейся ладони. В голове шумит. Водопад рассыпавшихся мыслей, зеркальные осколки происшествий, пение как стон, стон как песня.

Загораются все огни в полукруглой колоннаде. Агенты начинают открывать тяжелые врата ада или неба. Заработали кинокамеры, мигая красными глазками контрольных лампочек.

Я крепко целую губы Надежды, раскрывающиеся в беззвучном рыдании. Я хочу закрыть их своими губами, чтобы они умолкли и не напоминали мне о незавершенной жизни, о несвершенных мечтах, о незавершившихся любовях.

Углом глаза я вижу, что Тадзик становится на колени в тающий снег. Кутька мечется в растерянности, он хочет бежать за мной, но какая-то внезапная мудрость приказывает ему остаться среди живых. Рысь Шмидт опустил голову, хлопья неожиданного снега сыплются ему за воротник. Цабан поднимает руку, словно дает сигнал, а может, благословляет.

— Прощай, Надежда. Если не после меня, то после кого-то следующего, поэта, рабочего или студента, придет внезапная свобода, как нежданное начало лета.

— Я любила тебя всю жизнь.

— И я тебя, милая, буду любить так долго, как смогу.

Озарение озарением. Да, я вижу, я помню вчерашнюю ночь. Резкий свет на пороге осенней или летней ночи. Внезапная, всеохватывающая уверенность, что именно мы, люди, эта плывущая из ниоткуда в никуда река биологической материи, мы создали Бога. Не в семь дней, а за века ледников и тропиков, за века рождающихся материков, за века развития мозговых полушарий и отмирания жабер, за плохие и хорошие века, за эры, изученные и до сих пор окутанные тайной, за всю нашу человеческую вечность, мы создали тяжким трудом, с болью, с мукой, нашего Бога, Бога милосердия и добра, чтобы он защитил нас от зла вселенной, космоса или хотя бы небесно-голубого неба, которое поражает нас молниями. Чтобы защитил нас от нас.

Бог есть. Бог, вылепленный из наших электромагнитных или каких-то других волн, бушующих нашим страданием, нашим отчаянием, нашим гневом. Бог против других богов.

Бог наш становится все могущественнее, захватывает все более далекие галактики, наконец он воцарится во всей вселенной, нашей вселенной, ибо о других вселенных мы ничего не знаем, и сделает нас избранным родом земли обетованной. Бог милосердия. Бог людей.

Я начинаю медленно идти к этой каменной платформе, венчающей невысокую лестницу. Ноги тяжелеют, голову тянет к земле, из которой я когда-то восстал и в которую по собственной воле возвращаюсь. Люди, добавьте мне сил. Люди, добавьте сил каждому на свете, кто в эту пору идет со мной на самоожжение. Люди, добавьте сил. Люди...

ВТОРОЙ ДОМ

1

Император велит записать:

“...от тоски
одиночества от
и свободы”

что ж
над нами
еще косяки не низки
потому что есть своды

и от смерти
как всякий ее прозелит
а — ей Богу!
похоже

так что пусть Император вписать повелит:

“и
от бешенства —
тоже”.

2

Он был городом — холм
сам был город с хребтом перебитым
лабиринты
иссохли его потрохов
и в колодцы вползли трилобиты

и цветы стали солью
потом
известь выросла в белую злую траву
это холм на котором мой дом
где живу

дом стоит над долиной
которая — ниц
перед домом что стал высоко
так бы стать и следить из бойниц
за течением битвы

но окончилась демонов битва
в серебрянном небе
ни птиц
и не звезд и не облаков
ни дождя ни молитвы

дом
стоит над долиной
в которой уже не встают инвалиды
только
жирные красные глины выползают из ям на разбитые плиты

ни души
хоть кричи петухом
разрывая у клюва углы
это дом где я жил это холм
его камни растут его травы остры и белы.

3

(КОЛЫБЕЛЬНАЯ)

сначала темнота
затем конечно детство
затем
прямая речь

и все
что получил
в горючее наследство
какого не беречь

и в свой черед учусь
неопалившись
падать
в узоры на лету

летая наизусть
из пламени
на память
из тьмы на темноту

сам
пепла лепесток
ничем не освященный
ни при какой луне

ни при каком огне
серебрянный и черный
как
и хотелось мне

вот блеск пыльцы
он пыль
свинцовых окон дома
пыльца на витражах

в полет!
холодный дым
падением ведомый
ничем не дорожа

как тем
что налету
гадать куда не падать
лететь не перестав

сначала
темнота
затем печаль и память
и снова темнота.

4

Е.

Смерть и бессмертье два близнеца
эта
усмешка второго лица
также придурковата
и у сестры и у брата

с кем и кому я стелю на полу
кто мне по каменному столу
кружку подвинет и пищу
жителя
в нашем жилище

с войн возвращаются
если живой
значит и я возвратился домой
где на лицо без ответа
смотрит лицо до рассвета.

5

(романс)

Тишь
в доме моем
мрак и тишь
мертво спишь ты дом на сырой золе
и валяется дохлый стриж
на столе

а в каждом окне
по луне
наклей
и
еще одну — на потолок!
эхо в ответ на "еще налей" сворачивается у ног

всякий жест руки производит дым
то есть
пыль да пепел из-под руки
в углах прах хоть сучи и тки
и кривят косяки
с ними нелады

и ступени
сгнили на чердаки
но в подвалы сгнили еще скорей
сквозняки
показывают языки
из разинутых напролом дверей

и
в доме моем
никого нет
а кому быть раз и не бывать!
а лежит лицом вся на лунный свет
в морщинах каменная кровать

развалились кресла
расселся стул
кто еще в компанию нашу с-тем
что неровен пол?
что неровен час
и осядут стены и нету стен?

нет уж!
твой дом — это твой дом
на твоей земле
по твоей руке
да по ремеслу — на твоей золе
да луна прибита на потолке

эхо пни ногой
повтори "налей"
и налей себе — нету эха но
лей!
затем что нет здесь руки белей
что возьмет перо дохлебав вино

запали белый свет
или нет — потом!
ни к чему нам и пускай темь
тем стоит дом
но стоит дом
всякий жест руки среди его стен.

6

Никого нет
у меня в дому
только заметим вслед
их нет
но не потому
что нет их
их вовсе нет

поэтому
ляжем
песком
кровать
по пояс занесена
пора переночевать пора
по ту сторону сна.

7

Мне снился сон что был я несчастлив
как насекомые
хрустели по паркету
осколки

мелкие искали мы монеты
шкафы какие были растворив
и — после
Голого
— сама в шелка одета —
меня смотреть водили на залив

бессмысленно и долго я смотрю
на ветер
вместо неба побережья
на хляби
много гибельнее
нежель
им разливаться бы по октябрю
я засыпал
не раньше чем забрежит
в дверном проеме то что знали как зарю.

Иерусалим

февраль 83 — март 84 г.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ КНИГУ
КИРИЛЛ ХЕНКИН
"РУССКИЕ ПРИШЛИ!"

300 стр.

14 долл.

В своей новой книге известный автор ("Охотник вверх ногами" и другие) задается вопросом о том, как формировалась "третья эмиграция". Кто столь заботливо мог отобрать своеобразный букет талантливых писателей, неунывающих стукачей, высококвалифицированных уголовников? Кто сумел бы очистить Одессу и Кутаиси от черного бизнеса, а Вильнюс и Ригу от сионизма? Кто позаботился об очистке Москвы и Ленинграда от ненадежного элемента и об укреплении кадров радиостанции "Свобода"? Читатель уже полагает, небось, что догадывается об ответе? Так вот — его ждут неожиданнысти...

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ОТ АВТОРА

*Мой городок : из труб не дым, а
дымшиц —
вот он летит с ухмылкой и
слезой.*

Сомненья прочь! Читатель не боится,
Читатель любит бритвы острие.
Он был бы счастлив вместе умереть
со мной у лампы от разрыва горла.
Я заблуждаюсь? Что ж, не миновать
ни собственных ошибок, ни прозрений.
К чему стесненья?! В детстве городок
мне преподавал урок дурного вкуса:
лишь там, где пафос, — там и красота,
где жизнь и смерть схлестнулись, — там искусство.

Садись на раму. Вот велосипед.
Рывок. Другой. И мы летим. И лица
родные гаснут. Только стук в висках,
да пиджачок хлобыщет за спиною.
Держись покрепче. Сорвана резьба.
Нам никогда уж не остановиться.

Вот сад мелькнул. Там мальчик: на губах —
вишневый сок, на плечиках — бретельки.
Вот тополиный пух, и сквозь него
квартал еврейский, как горбушка хлеба,
натертый чесноком. Глаза старух.
Гляди. Вдыхай. И ты поймешь, что страх
с водою вместе хлещет из колонок.

А шины шелестят. Все круче скат.
И пух свербит щеkotно в носоглотке.
Вот что-то обожгло. Еще в ушах
звонит: "Любимый!" Ветер плющит слезы. —
И в нем спасение.

Обрывы рук. Откосы. Как раним
веселый воздух хлесткий. От стрекоз
Он стал еще прозрачнее и легче
и пахнет васильками. Далеки
шлагбаумы, вагонная горячка,
досмотр таможенный. Подсаживает мать
мой друг. Еще, еще одно усилие.
Им не помочь.

Багажник дребезжит.
Летим, читатель! Спицы. Сухожилья.
Я здесь. С тобой. Я б за собой повлек
не то что с горки, но по краю бездны,
когда бы не сомненья...

* * *

Я пошутил: представь себе, сказал,
Стриптиз на сцене. Ярусы, партер
Мужчинами забиты. Я сажу
В ряду последнем. Рядом: кинолента,
Затертая, обглоданная. Пусть
Кристиана-Жака, пусть Де Сики.
Я с ней целуюсь. Разве я могу
Любить других?

Оркестр. Мороженое. Человек-гора
Аккордеонный приоткрое ящик:
Оттуда — скок! — пружинкою горбун —
И по рядам фойе под женский визг
Переходящий в шепот. Пинхус Берг!
Какой теперь иерусалимский мальчик
От вас не оторвет своих маслин?

Зима и кафель. Приоткрутишь кран:
По раковине цокают сосульки,
В затылок смотрит Герда. За тобой
На лыжах смерть в халате белофинна,
Размахивая палками, бежит.
Нас распустили. Будь благоденствен
Проклятый вирус гриппа. Ты — свободен.

Есть где-то город. Есть отшиб. На нем
Не празднуют законов карантина.
Есть девочка и мальчик. В темноте
Рукой, как бантиком, отмечено колено.

Любил ли я ее? О, если б знал
Тогда, что можно с женщиною делать,
Я б застрелился: пулею в висок.
Аплодисментов стайка. Каждый жест
Фальшив. От атропина
Зрочки расширены. Она поет
"Ариведерчи Ро..." Мой старший брат
Ее уводит.

Теперь такие фильмы не идут.

Параллельная реальность

День начался неудачно. Будильник не зазвонил, и Шауль проснулся позже, чем собирался. От завтрака пришлось отказаться. Внизу его ожидала новая неприятность — машина упорно не заводилась. Помучив ее минут десять, Шауль понял, что спасти его может только такси: Оснат недвусмысленно предупредила, что ждать не будет. Шауль достаточно хорошо знал свою подругу.

Странно, но их отношения, построенные из самого, казалось бы, прочного материала из всех, известных человечеству, с самого начала находились на грани краха. Все могло их разлучить: неверное (по мнению Оснат) суждение Шауля о фильме, его приглашение в китайский ресторан, его опоздание. (Оснат всегда задерживали важные дела.) И если Шаулю все же удалось удержать ее в течение трех лет (заполненных почти непрерывными ссорами, вспышками и разрывами), то лишь ценой невероятных усилий и полного отрешения от чувства собственного достоинства. И вот опять! Нет, у него не было сил для новой сцены...

Но цепь неудач не размыкалась. Такси пронеслись мимо, не внимая его страстным призывам. Еще минута — и он потеряет Оснат навсегда.

Михаил Шенелев

РАССКАЗЫ

Минута прошла, и другая, и третья, а Шауль все стоял на краю тротуара, хотя понимал, что все уже кончено и предстоит, сжав зубы и закрыв глаза, нырнуть в холодный омут разлуки. Не звонить. Не искать встреч. Лучше всего уехать — в Нагарию или Тверию. Уйти с головой в работу. Закончить, например, цикл гравюр, сделать наброски к давно задуманной картине, поставить точку, закрыть кавычки, подвести черту...

И тут у бровки резко затормозило такси, шофер, приветливо улыбаясь, распахнул дверцу, и Шауль, повинувшись охотничьему инстинкту, прыгнул внутрь прежде, чем сообразил, что ехать ему уже некуда и незачем.

— Ехать тебе, действительно, незачем, — спокойно произнес шофер, — по крайней мере, в этой реальности. — Однако с другой стороны, твои проблемы уже разрешились. Взгляни...

И странный шофер все с той же приветливой улыбкой коснулся пальцем металлического щитка, укрепленного на панели перед сиденьем пассажира. Щиток засветился, словно экран миниатюрного цветного телевизора, и Шауль увидел ограду университета, вдоль которой нервно прохаживалась Оснат, то и дело поглядывая на часы. Шауль инстинктивно тоже глянул на циферблат: без трех одиннадцать. Оснат вдруг бросилась к своей машине, вскочила в нее и с ходу рванула так, будто ее подгоняли демоны. В следующее мгновение Шауль понял, что имел в виду странный шофер. Оснат уже пересекала перекресток, когда слева, не остановившись на сигнал "Стоп", выскочил на полном ходу зеленый тендер и, как снаряд, врезался в машину Оснат. Экранчик начал тускнеть.

— Это... правда? — шепотом спросил Шауль.

-- Все, что ты видел, произойдет через три... нет, теперь уже через две минуты и сорок восемь секунд, — невозмутимо ответил таксист, не глядя на часы. — Но все это еще можно перевести в другую реальность и спасти твою подругу... Если ты, конечно, хочешь ее спасти.

Все было странно, фантастично, неправдоподобно: шофер с его приклеенной улыбочкой, телевизор, показывающий будущее, и это постоянное упоминание разных реальностей. Но в июльском предполуденном Тель-Авиве все казалось нереальным: и редкие прохожие, окруженные раскаленным маревом, и плавящиеся на асфальте машины, и звуки, размягченные тридцатиградус-

ной жарой. А голос таксиста продолжал журчать в ушах скованного ужасом Шауля:

— Мы можем перевести события в иную реальность: ты и там опоздаешь на свидание, но Оснат тронется чуть позже, и тендер проскочит позади ее машины. Но от тебя потребуется маленький пустячок. Ты должен отдать нам шкатулку. Ту, что ты нашел прошлым летом в Ашкелоне, помнишь?

Прошлым летом, в одну из суббот, Шауль побывал на ашкелонском пляже. В промежутке между купаньями, он, подобно многим другим, рылся в песчаных склонах в поисках древних римских монет, которые тут изредка попадались. Вдруг соскользнувший со склона слой песка открыл перед ним какую-то прямоугольную пластинку. Шауль поднял ее. Тяжелая, темно-серого цвета, примерно восемь на шесть размером, сантиметра полтора толщиной. Поверхность на ощупь казалась маслянистой, но на пальцах никаких следов не оставляла. И ни единого шва, щели, зазора — только на одном углу выступы в форме крохотных полушфер. Странно...

Дома Шауль положил пластинку на заваленный эскизами и рисунками стол. Так она и лежала, пока однажды он случайно не заметил, что один из выступов на углу пластинки словно бы вдавился в нее — от полусферы осталась лишь крошечная выпуклость. Шауль попытался подковырнуть запавший выступ отверткой — безуспешно: металл даже не оставлял царапин на необычайно твердой поверхности.

Выходит, эта загадочная пластинка — на самом деле “шкатулка”, да еще принадлежащая каким-то фантастическим существам, способным видеть будущее и менять реальность? Чего же они, располагая такими возможностями, попросту не забрали свою вещь сами?

— Ты удивляешься, почему мы просто не забрали ее обратно, — словно подслушав его мысли, заговорил шофер. — Дело в том, что когда ты вертел ее в руках, механизм замкнулся на тебя, и теперь никто не может даже дотронуться до шкатулки без твоего согласия. Вот мы и предлагаем тебе сделку: шкатулка в обмен за жизнь Оснат.

Первым побуждением Шауля было согласиться. Но тут он сообразил, что можно попытаться выгадать побольше.

— Послушай, — сказал он, смутно сознавая, что не стоит просить слишком много, время уходит, и “таксист” не случайно остановил-

ся возле него всего за три минуты до смерти Оснат. — Послушай, я готов отдать шкатулку, если вы сделаете так, чтобы я приехал к университету без опоздания и больше никогда не ссорился с Оснат.

— Идет, — сказал “таксист”. Его доброжелательности, казалось, не было предела. — Все будет в точности, как ты просишь. Прощай...

День начался неудачно. Будильник не зазвонил, и Шауль проснулся позже, чем собирался. От завтрака пришлось отказаться. Внизу его ожидала новая неприятность — машина упорно не заводилась. Помучив ее минут десять, Шауль понял, что спасти его может только такси: Оснат недвусмысленно предупредила, что ждать не будет. На всякий случай он в последний раз повернул ключ зажигания — и двигатель взревел на полных оборотах.

Шауль вывел машину на шоссе и помчался к университету, где его уже ждала Оснат, готовая немедленно покинуть сцену, если выход героя задержится хотя бы на мгновение. Машин на шоссе было мало, и хотя нескольким светофорам едва не удалось свести его шансы до нуля, Шауль ухитрился, мчась на скорости, грозившей лишением прав, прибыть на место точно в одиннадцать — по крайней мере, так свидетельствовал циферблат его не знающего ошибок “Сейко”. И тем не менее Оснат на месте уже не было. Оглянувшись, Шауль увидел, как ее худенькая, гибкая фигурка ныряет в припаркованную к бровке машину, и та с ходу берет с места так, будто ее подгоняют демоны разлуки. То ли ее часы спешили, то ли она решила, что даже точность Шауля недостаточно хороша для нее. Возможно, ему следовало прибыть минут за пять до назначенного времени...

Как бы то ни было, машина Оснат уже мчалась в сторону Герцлии, и Шауль, не раздумывая, устремился за ней. Еще мгновение — и он вылетел на перекресток, не спуская глаз с машины Оснат, поэтому он так и не увидел, как слева, не остановившись на сигнал “Стоп”, прямо на него на полной скорости выскочил зеленый тендер...

Граница существования

Меня зовут Муса. То есть на самом деле мое имя Моше, но все меня называют Мусой, еще со школы. А все почему? Вечно со мной

случаются всякие неприятности — вот и арабское имя ко мне пристало, просто так, само по себе. Я уж стараюсь не обращать внимания. Смеюсь со всеми.

Все у меня вкривь и вкось, вся жизнь. Купил я машину, Фиатик. Перед тем, как ездить, взял тридцать уроков вождения, хотя права совсем недавно получил. Знакомые смеялись: зачем деньги тратишь, все равно в первый же день разобьешь машину. И что вы думаете? В первый же день, как поехал один, стал разворачиваться на пустынной улице — и врезался в столб.

Или вот — недавний пикник. Сговорились четырьмя парами съездить на Кинерет. А Шмулик пришел один. Он, видите ли, накануне поссорился со своей подружкой. Я говорю: нехорошо, остальные будут чувствовать себя неловко, — а он только улыбается. И что вы думаете? Тем же вечером Тальма, с которой я приехал, отправилась в его палатку ночевать. А утром он еще и смеется:

— Видишь, а ты говорил, что будет неловко...

Тальма смеется, и остальные тоже. Ну, и я с ними. Не плакать же, в самом деле...

И на работе то же самое. Я кончил училище электриков, с отличием кончил, и работаю неплохо, но никто этого не замечает. Зато все знают: нет такой розетки, такого проводка, которые бы меня не дернули током. Так и зовут, если нужно проверить:

— Муса, ну-ка, подключись к моей розетке!

А нынешняя история случилась как раз перед новым годом, в сентябре. Профком решил устроить на заводе лотерею. Я, конечно, билет покупать не хотел: мне-то приза не видать, понятно, — но разве от них отвертеться?! Ладно, не разорюсь. Мне даже лучше: другие надеются, волнуются, переживают, а я-то знаю, что мне не светит, вот и спокоен.

Только вдруг объявляют: первый выигрыш пал на билет номер 27 и обладателя просят выйти на сцену. Я на всякий случай развернул свой билет и чуть со стула не свалился — номер 27! Ну, думаю, очередной розыгрыш. Сейчас выйду на сцену, а они скажут, что пошутили. Сижу. А они снова объявляют: владельца билета номер 27 просим на сцену. Пришлось выйти. Что тут началось — смех, свист, аплодисменты. Так я и думал — розыгрыш. Хотел уже в зал спуститься, а председатель профкома протягивает мне конверт. Что делать? Если подвох — ладно, посмеюсь со всеми. Открываю конверт...

А в нем — билет в Эйлат и оплата гостиницы на три недели. Вот вам и подвох! Я просто дара речи лишился. И не в том дело, конечно, сколько это стоит — я зарабатываю прилично, мог бы, в конце концов, и сам купить билет, — но просто: первый раз в жизни повезло! Вернулся в зал, чуть не плачу, а ребята утешают: не расстраивайся, все еще может обойтись — ну, самолет, там, разобьется, или утонешь, или, на худой конец, ногу сломаешь...

Ладно, оформил я отпуск, собрал вещички, поехал в аэропорт. Массу ценных советов мне в дорогу надавали: и как в иллюминатор не выпасть, и как с палубы в море не шагнуть, и как со шведками не путаться, чтобы израильских ребят не позорить. Посмеялся со всеми, не плакать же, в самом деле.

В самолете поначалу тоже все, как обычно: именно мое кресло без ремня, именно мне стюардесса забыла дать карамельку при взлете. Ладно, думаю, проживу без ремня, без карамельки. Что-то меня в Эйлате ждет?

А надо сказать, что у меня к Эйлату особое отношение еще с детства. Я его всегда как-то связывал с волшебными странами из детских сказок. Будто там все таинственные истории происходят, с добрыми феями и чудесными превращениями. Конечно, когда вырос, забыл эту чепуху, но отношение особое — осталось. Даже и не ездил в Эйлат ни разу, — чтобы мечту не разрушить. Мечта ведь лучше, чем реальность. Вы не согласны? Тогда мы с вами разные люди...

Снижаемся над Эйлатом — и начинаются чудеса. Стюардесса вдруг подходит ко мне и извиняется, что забыла карамельку. Так расстроена — чуть не плачет. И симпатичная такая.

— Меня, — говорит, — Иланой зовут. Запиши мой телефон, я в Эйлате каждый второй вечер бываю и (после паузы) на ночь остаюсь.

То есть хочет со мной встретиться?!

Я записал телефон, а тут и посадка. Вышел, получил чемодан, не успел оглянуться — подходит ко мне парень, симпатичный такой, и спрашивает — в какой отель меня отвезти. Ну и ну! Через несколько минут я уже в прохладном вестибюле отеля "Ларом", стою и оглядываюсь: а вдруг номер не заказан или еще чего? Вот скажут сейчас: не знаем мы никакого Моше Купера, лети себе, дорогой Муса, обратно...

— Конечно, заказан, — говорит портье, — номер с видом на море, но если хочешь — поменяем тебе с видом на горы...

Эйлатские чудеса! Хочу взять чемодан — а его уже подхватили: клиенту, мол, только ключ положено нести. И номер — точно, как обещали: вид на море, телевизор, душ. Только собрался помыться с дороги — стук в дверь. Открываю — на пороге очаровательная блондинка. Вежливо так улыбается и спрашивает, говорю ли я по-английски. А я как раз английский в школе учил и еще на заводе от нечего делать на вечерние курсы записался.

— Входи, — говорю, — извини, что беспорядок, я только что приехал.

— Я знаю, — говорит, -- я видела, как ты подъехал на такси. Я тоже только сегодня приехала, живу в соседней комнате. Я тут одна, и ты, вижу, один, если я тебе нравлюсь, давай проведем время вместе, я здесь буду двадцать дней.

Вот тебе и раз! Я ведь тоже на три недели приехал. Даже не знаю, что ответить. Может, я сплю? А она продолжает:

— Я знаю, о нас, о шведках, многие плохо говорят, но я не такая. Просто не люблю проводить время одна, а как увидела, что тебя поселили рядом, поняла, что это судьба.

Я улыбнулся и говорю:

— Ну, против судьбы не пойдешь...

Вы поняли? Это все — эйлатская волшебная страна детских сказок на берегу синего моря.

И вот началась у меня совсем другая жизнь — жизнь симпатичного и удачливого парня. Я ни разу не споткнулся на улице, не уронил стакан в баре, не потерял ключей от номера, не сделал ни одного нарушения, катая Эрику по Эйлату в снятой ею машине, и даже ночами не уронил чести израильских мужчин. В общем, герцог удачи посетил столицу своих владений. И Эрика разделяла со мной это герцогство, дарованное мне судьбой. И все было прекрасно, пока...

Случилось это ночью, когда мы поехали кататься на парходике. Мы поднялись на борт, парходик отчалил, а мы с Эрикой стояли у борта и смотрели на черную вязкую воду залива, и я думал о том, какая удача, что я ее встретил, надо слушаться велений судьбы. Может, нам вообще не следует расставаться...

И тут вдруг Эрика резко сбрасывает мою руку со своего плеча и говорит:

— Что за удовольствие обниматься в такую жару! Пойду лучше в бар, выпью чего-нибудь холодного...

Не "пойдем в бар", заметьте, а "пойду". Одна, то есть. И ушла,

даже не обернувшись. А я и не пытался ее остановить. Сказка кончилась, а в действительности такие, как я, призов не получают. И все же подарок от судьбы я получил, верно? Эти пять дней были, возможно, лучшими в моей жизни, и не надо жалеть, что они кончились. Начало ведь всегда предполагает конец, не так ли?

Уже возвращались огни Эйлата, как вдруг я услышал голос Эрики:

— Моше, Моше!

Я буквально прыгнул в дверь бара. Эрика сидела за столиком с каким-то симпатичным парнем, который, невзирая на ее сопротивление, обнимал ее за плечи. Я подошел к столику, глянул парню в глаза и сказал негромко:

— Что за удовольствие обнимать девушку в такую жару, да еще против ее воли. Оставь ее в покое.

Он смутился, будто ему только сейчас пришло в голову, что кому-то могут быть неприятны его объятия, и виновато сказал:

— Извини, я не знал, что она не одна.

Встал из-за столика, неловко извинился и выбежал из бара. Но Эрика, по-моему, о нем уже забыла — она смотрела только на меня. Потом сказала:

— Не знаю, что это на меня накатило — оставила тебя одного, начала кокетничать с этим бараном. Какое-то наваждение...

Итак, напрасно я переживал. Сказка продолжается, все прекрасно, а неприятные эпизоды, в конце концов, бывают и в сказках, главное — чтоб конец был хороший.

Но до конца было еще далеко.

— Слушай, — сказала мне Эрика однажды утром, — давай съездим в копи царя Соломона. Это звучит так романтично.

Напрасно я пытался ее отговорить: горы — они всюду горы, жарко, пыльно, — она проявила свое обычное упорство, и после завтрака мы двинулись в путь.

Сначала дорога идет вдоль берега, потом поднимается вверх, и вот уже Эйлат внизу, в узком пространстве между хребтом и морем, а дорога, прямая и скучная, уводит машину на север, к мрачным горам, где когда-то добывали медь и золото для обеспечения растущих потребностей подданных царя Соломона.

Только я открыл рот, чтобы предложить лучше вернуться и нанести визит в подводный музей, к рыбам, которые не менее прекрасны, чем все драгоценности царя Соломона во дни славы

его, как вдруг лицо Эрики исказила гримаса раздражения, и она резко и грубо сказала:

— Ты бы не мог сосредоточиться? Дура я, что доверила тебе руль.

Ну, вот! Где вы, слова любви? Где губы, расплавленные от страстных поцелуев?

Я припарковал машину у обочины, вышел, кивнул Эрике на прощание и пошел по шоссе назад. Вернусь в Эйлат, соберу вещи — и домой. Хватит, я никому не навязываюсь!

Часа через полтора, грязный и потный, я вернулся в отель, разделся и встал под душ. И тут в дверь постучали. Я накинул халат и открыл. Передо мной была Эрика — но в каком виде! Лицо залито слезами, глаза красные, веки опухшие. Она молча упала возле моих ног и разразилась рыданиями, уткнувшись лицом в халат.

Ну, что тут будешь делать? Я сел возле нее, начал гладить по волосам, по спине. Она прижималась ко мне с такой силой, будто боялась, что я снова исчезну. Наконец она заговорила. Доехала она до поворота в копи, развернулась и поехала обратно, но стоило ей въехать в Эйлат, как вдруг она почувствовала, что потеряла меня навсегда. Слезы мешали вести машину, а поскольку она понимала, что задержка грозит разлукой, то рыдала еще сильнее. Еле добралась.

Я поцеловал ее мокрое лицо и сказал:

— Успокойся. Все будет хорошо. Я тебе верю. Что случилось — прошло, мы снова вместе.

А утром я все понял.

Что ж, подумал я, это еще не худший вариант. Жаловаться не на что, Эйлат прекрасное место, люди здесь все симпатичные, а Красное море — самое синее в мире, не так ли?

И вот пришел день отъезда Эрики. Мы приехали в аэропорт заранее и ждали, молча обнявшись, в пустом и прохладном зале. И тут Эрика словно проснулась:

— Пстой, — сказала она, — ты ведь не дал мне своего адреса в Тель-Авиве, как же я буду тебе писать?

Я погладил ее волосы.

— Все в порядке, Эрика. Просто я решил навсегда остаться в Эйлате. Напишу тебе, как только сниму квартиру. Отныне мой адрес — Эйлат, и только в этом волшебном городе я хочу жить, получать твои письма и ждать твоего приезда, Эрика, дорогая...

Я гнал машину по пустынному шоссе. Дождь прошел часа два назад, но пленка воды, все еще покрывавшая асфальт, на каждом крутом повороте так и норовила сбросить меня в пропасть. Тем не менее я не сбавлял скорость, одержимый мрачной уверенностью, что сегодня со мной уже ничего худшего не случится.

За Акко все же пришлось замедлить — из-за светофоров. Наконец я запарковался, отметил, что из Цфата добрался за рекордное время, и вышел из машины. Дождь только этого и ждал. За три минуты, которые понадобились, чтобы добежать до подъезда, со мной было покончено.

Поднявшись на четвертый этаж, я с трудом вытащил из мокрого кармана ключ, осторожно повернул его и неслышно вошел — было начало второго ночи.

Мой план, разработанный еще в пути, в промежутках между вспышками отчаяния, злобы и иронического самоуничтожения, был логичен и прост: я пробираюсь на кухню, завариваю себе крепкий горячий чай и ложусь спать на диване в гостиной. А утром объясняю Мири, что конференция не состоялась.

В лифте пришлось внести в план коррективы — увы, в сторону усложнения. Сначала придется пойти в ванну, снять промокшую одежду, достать из бара в гостиной коньяк, выпить его с чаем, принять горячий душ и только затем отправиться спать. Все это отдаляло желанный сон и увеличивало вероятность разбудить Мири, но в моем возрасте нельзя рисковать здоровьем. Итак, я пробрался в ванную, надел халат, прошел, неслышно ступая босыми ногами, к двери гостиной и осторожно открыл ее.

Открыл — и застыл на пороге, невольно залюбовавшись представшей моему взору идиллией.

На диване, который я мысленно зарезервировал для себя, уютно полулежал мужчина лет тридцати. В одной руке он держал бокал (почти пустая бутылка коньяка, за которой я, собственно, и зашел в гостиную, стояла рядом на столике), другой гладил примостившуюся на ковре у его ног Мири. Спокойная и грациозная белизна двух обнаженных тел красиво контрастировала с коричневой обивкой дивана и темно-красным ковром. Их одежд не было видно, но я — математик, мой привыкший к логическим упражнениям мозг быстро решил эту несложную задачу: разделись

они, естественно, в спальне, а сюда пришли отдохнуть — посмотреть телевизор, подкрепиться коньяком.

Удовлетворенный своим анализом, почувствовав уверенность, что и все прочие задачи этой ночи я решу столь же успешно, я подумал о том, как бы улучшить мою, явно проигрышную, позицию. Судите сами: они — красивые, обнаженные, молодые, — уютно полулежат, прижавшись друг к другу, я же, прямо сказать, не очень гожусь на роль модели для мужской одежды, даже халат не в силах скрыть недостатки моей фигуры. К тому же коньяк...

Я сел в кресло и сказал спокойно:

— Мири, принеси мне, пожалуйста, чего-нибудь выпить.

Она слегка повернула голову к мужчине, тот кивнул, и она встала и пошла к бару. Я невольно залюбовался ее фигурой. С тех пор, как мы поженились, прошло семь лет, и Мири значительно изменилась — к лучшему. Красивая женщина и великолепно владеет своим телом. Мужчина тоже явно любовался ею. Наши вкусы, я вижу, совпадали: Мири, коньяк...

— Что тебе? — спросила Мири.

— Виски, пожалуйста. Коньяка, как я понимаю, уже не осталось.

Мири наполнила стакан, поставила рядом со мной и вернулась на прежнее место.

Я отхлебнул, поставил стакан на пол, поуютнее развалился в кресле и приготовился к поединку. Что он состоится, я не сомневался. Реплика о коньяке была перчаткой, брошенной противнику. И он ее поднял.

— Прошу прощения, что так вышло с коньяком, но мы считали, что у нас в запасе два дня. Если бы не твое неожиданное возвращение, твои запасы коньяка были бы, конечно, восстановлены.

— Да стоит ли говорить о таких мелочах, — я глотнул еще раз. — Жена, коньяк...

— Но я не причинил никакого ущерба и твоей жене, — чуть тверже заметил гость. — Мири может подтвердить. В конце концов, и ты, я думаю, не прочь поработать на холостом ходу, не правда ли? Кстати, почему ты все-таки вернулся не вовремя?

Его речь доставила мне удовольствие своей логичностью, хотя, несомненно, в ней присутствовал слишком значительный элемент самоуверенности. Некоторые нетривиальные ее моменты вкупе с накопленными ранее в моей памяти фактами тотчас подсказали

мне, с довольно высокой степенью вероятности, с кем я имею честь беседовать. Мои дела явно шли на лад.

— Конференция не состоялась, потому что коллеги из Тель-Авива не приехали. Мы прождали в Цфате допоздна, пока кто-то не сообразил позвонить в Тель-Авив. Так что я никоим образом не предполагал нарушить ваше уединение. Что же касается ущерба, то этот вопрос требует, по-моему, более серьезного обсуждения. Тебе не кажется, что в нашей машине слишком уж часто портится карбюратор? Пожалуй, денег, потраченных на его починку, уже хватило бы на покупку двух новых...

Я, безусловно, рисковал. Но степень вероятности, как я уже отметил, была достаточно высокой.

Мужчина взял свой бокал, вылил в него остатки из бутылки, глотнул и произнес, явно нервничая:

— Я с самого начала говорил Мири, что лучше поставить новый карбюратор, но она и слышать не хотела. Но поверь мне... — тут он сделал паузу и, смущенно вертя бокал в руке, продолжил с видимым усилием — ...в последнее время я брал только за детали, за работу я ничего не брал.

— То есть не брал деньгами, — уточнил я.

— Наши отношения с Мири никак не связаны с ремонтом машины, -- сказал он пылко, но неуверенно.

— Ты противоречишь себе, — улыбнулся я. — Если они не связаны, почему же ты не берешь деньги за работу? Интересно, могла бы Мири добиться, чтобы ты и за детали с нее не брал?

— Ты не прав, — сказал он печально и серьезно. — И я берусь доказать, что у тебя нет никаких оснований оскорблять меня или Мири. Только сначала я хотел бы, если не возражаешь, чего-нибудь выпить...

— Возьми что-нибудь из бара. Коньяка, как тебе известно, уже нет.

Он встал и пошел к бару. Мири тоже поднялась и пересела на ближайший ко мне край дивана. Автомеханик вернулся с бутылкой джина, налил себе на дно бокала и выпил. Он как-то не сразу заметил, что Мири переместилась в пространстве, а заметив, не придал этому значения.

— Так вот, — заговорил он, внимательно глядя мне в глаза, — ко мне ты не можешь иметь никаких претензий: скидки, которые я вам делал при ремонте, намного больше стоимости бутылки выпитого мною коньяка. С моральной точки зрения я еще чище:

я не брал перед тобой никаких обязательств, я даже знаком с тобой не был до сегодняшнего вечера. Теперь о Мири. Действительно, вступая в брак, люди берут на себя определенные обязательства, но их не следует толковать расширительно. Муж и жена обязуются производить, воспитывать и обеспечивать детей, иметь общую материальную базу и заниматься сексом. Но никто не дает обязательств отказываться от получения невинных удовольствий в индивидуальном, так сказать, порядке. Суд не примет жалобу на супружескую измену, если ты, скажем, обвинишь Мири в том, что она ходит в кино, хотя получаемое ею удовольствие, возможно, превосходит то, которое она сегодня испытала со мной, — с этими словами он посмотрел на Мири, как бы ожидая, что она запротестует. Но Мири не оправдала его ожиданий, и подкрепив свои силы очередным глотком, специалист по карбюраторам продолжал:

— А если ты после работы проведешь часок-другой в баре в компании коллег или симпатичных студенток, — разве это измена? Пойми, главное — чтобы вы получали удовольствие вместе, а если кто-то имеет возможность сделать это еще и на стороне, не затрагивая душевного покоя партнера, — тем лучше.

— Могу я тоже что-нибудь сказать, — вмешалась Мири, пересяживаясь в стоящее рядом с моим кресло. — Или меня тут так и будут покупать и продавать, как бессловесное животное?

Прежде чем наш общий друг из гаража успел открыть рот, я резко возразил:

— Нет, конечно!

— Почему? Ведь я тоже, мягко говоря, вовлечена в этот треугольник? Или ты считаешь, что ситуация слишком сложна для меня?

— Нет, дело не в этом. Видишь ли, мы судим о происходящем, как люди, занимающие в этом треугольнике строго определенные позиции: я, скажем, — муж, он — любовник. Твоя же позиция не ясна — кто ты, жена или любовница? Прежде чем вступать в спор, ты должна определить свое положение, а ты, по-моему, этого еще не сделала... Теперь вопрос к тебе — я повернулся к мужчине. — Строй твоей речи наводит на мысль, что перед нами не простой автомеханик. Твоя дидактичность, склонность к эффектным концовкам — все это говорит о знакомстве с юриспруденцией. Я не ошибся?

— Ты действительно математик? — с неудовольствием спросил

гость. — А может, следователь?.. Ты прав, я действительно учился на юридическом. Но потом понял, что не могу работать с людьми — слишком много лжи, нелогичности, нецелесообразности. То ли дело машины! Каждая деталь, каждый винтик на своем месте, все честно выполняют свою функцию, каждой гайке — один-единственный болт!..

— Ладно, — сказал я, — в машинах, если не считать моего карбюратора, ты, возможно, разбираешься неплохо. Но вот с институтом брака у тебя, по-моему, нелады. Я имею в виду теоретические основы, конечно. Ты ошибаешься, полагая, будто я считаю, что несу убытки, когда моя жена в мое отсутствие обогащает свой сексуальный опыт. Напротив, я уверен, что это может лишь сделать нашу совместную жизнь богаче и разнообразнее. Дело тут не во мне, а в Мири. Не я теряю, а она. Она теряет ощущение реальности, становясь по сути предметом общего пользования. Сегодня ты, завтра другой, через месяц третий, в промежутках муж, — незаметно для себя она превратится из личности в объект, охотно подставляя очередному клиенту необходимые ему для удовлетворения части тела. Все взаимосвязано, мой юный друг, не только в столь ценимых тобою машинах, но и в несовершенных и нецелесообразно устроенных людях. Сегодня ты отнял у Мири часть ощущения себя личностью. Еще немного ты отнял в прошлый раз, еще немного отнимешь завтра — я задержусь до восьми вечера..

Адвокат по карбюраторам накачивался джином, не смотрел ни на меня, ни на Мири и, кажется, ощущал себя лишним. Мири перегнулась через ручку кресла так, что я мог коснуться ее рукой, ее лицо покраснело от волнения, и она несколько раз машинально вытерла руки об обивку. Но я еще не кончил. То есть, с адвокатом было кончено, но Мири еще не получила настоящего урока.

— Возможно, ты спросишь, не пропадает ли она, как личность, занимаясь любовью со мной, — продолжал я. — Нет. В супружеских отношениях секс — лишь часть сложных связей, охватывающих почти все стороны жизни. Когда мы идем с Мири в постель, мы не только удовлетворяем свои желания. Мы ищем близости, которая была подготовлена всем комплексом наших контактов — и тем, что Мири позаботилась о моем чистом белье, и тем, что я ей напомнил о визите к зубному врачу, и ее вопросом о моем желудке. Все эти мелочи и тысячи других связывают нас невидимыми, но прочными нитями, а сексуальные отношения — лишь

продолжение и логическое завершение нашей связи друг с другом. Иными словами, в моих объятиях, как бы они ни проигрывали в сравнении с твоими, Мири не теряет, а находит себя – женщину, личность, человека.

Я допил виски и поднялся. Адвокат-механик тоже встал и, опустив голову, сказал мрачно:

– Если не возражаешь, я прошел бы в спальню одеться, мне пора, утром рано на работу, – и он вышел из салона, не глядя на нас.

Мири по-прежнему сидела в кресле, тщетно пытаюсь удержать слезы. Я прохаживался по салону, давая ей время прийти в себя. Вскоре гость появился снова: белоснежная рубашка в вырезе модного шерстяного свитера, темно-серые брюки, элегантные модные туфли, через руку перекинут светло-серый плащ.

– Я ухожу, – объявил он. – Прошу прощения за причиненные неудобства. Я, право, очень сожалею...

– Мири, проводи гостя, – сказал я. – Надеюсь, я не слишком утомил тебя своей старческой болтовней...

Мири выскользнула из салона и минуту спустя вернулась – уже в халате. Забавная закономерность: в начале встречи я был в халате, а они обнажены, сейчас мы с Мири одеты одинаково, а покидавший нас юрист казался элементом дисгармонии. Но я ведь был уверен, что выиграю дуэль.

Мири подошла к дивану, опустилась на колени и еле слышно сказала:

– Прости меня. Я просто глупая женщина, которая недостойна быть твоей женой. Каждое твое сегодняшнее слово причиняло мне физическую боль, но я была счастлива ощущать эту боль. Прости меня...

Было поздно, и я устал. В моем возрасте вредно перенапрягаться, да еще после виски.

– Иди в кровать, – ответил я, глядя ее по волосам. – Я приму душ и скоро приду...

Утром я проснулся разбитый. Возбуждение, разочарование, виски вместо коньяка... Нет, нужно сдерживать себя. Я уже не в том возрасте, когда позволяют себе два представления в день.

Мири, свежая, умытая, встала на колени у кровати и хотела меня поцеловать. Я не люблю целоваться до завтрака – нечищенные зубы, плохо работающий желудок не прибавляют мне очарования. Когда наконец Мири поймет, что мне давно уже не двадцать, не

тридцать и даже не сорок? Я отстранился и спросил, который час.

— Девять, дорогой. Мы сегодня ведь оба не идем на работу...

Почему она не идет — понятно: отпросилась на два дня в предвкушении бурных ночей с карбюратором. Впрочем, я тоже свободен — ведь сегодняшней день был посвящен Цфату...

Между тем Мири сделала серьезное лицо и произнесла:

— Дорогой! Я надеюсь, ты простишь меня. Ты можешь делать со мной что угодно, я твоя раба, приказывай! Но прежде я хотела бы объяснить, почему я так поступила. Я была уверена, что ты мне изменяешь — эти твои поздние возвращения, неожиданные командировки, конференции, равнодушие... Я мучилась, переживала, и когда Шимон стал ухаживать за мной (наконец-то я вспомнил название гаража, оно ведь стояло на каждом счете — "Шимон Мило"), решила изменить назло тебе. Я не понимала, что ты действительно работаешь, что ты сдержан, как настоящий мужчина. Вчера я прозрела, когда увидела вас рядом. Он даже не мальчишка в сравнении с тобой, я же — слабая женщина, которая сама себе противна. Не знаю, чем я смогу отплатить тебе за глубину твоего понимания...

По-моему, рабы должны говорить поменьше, особенно по утрам. Им, кажется, даже отрубали языки?

— Мое первое приказание, — сказал я. — Приготовь крепкий кофе. Есть я ничего не буду.

Все же я поехал в университет. Не сидеть же мне целый день дома, руководя действиями неожиданно появившейся у меня рабыни! В библиотеке стоял свежий номер "Анналов" — я-то полагал, что он придет только через неделю, — и я дрожащими от нетерпения руками схватил его. Так и есть: моя последняя статья, опубликованная в "Вестнике университета", не прошла незамеченной — в шести из десятка статей "Анналов" были ссылки на "фундаментальную работу Гринцвайга", а профессор Стерн из Торонто писал: "Последняя статья Аарона Гринцвайга выводит из тупика исследования многомерных пространств... идеи, предложенные им, несомненно, дадут толчок плодотворным приложениям..."

Неплохо сказано, я всегда уважал стиль старика Стерна. Впрочем, было в "Анналах" и кое-что неприятное: Рамм из Мичиганского университета опубликовал решение Тринадцатой задачи Лапласа. Ну, это, безусловно, требует проверки. Уже с ходу я заметил два сомнительных места...

Между тем наступило время обеда. Опять наращивать свой и без того безобразный живот? А впрочем, сколько вообще обедов мне осталось в жизни? Выражается их сумма трех- или четырехзначным числом?..

Народу в столовой было много, и я не сразу заметил примостившуюся в самом углу Эстер. Она сидела за пустым столиком, откинувшись на спинку стула, глядя прямо перед собой, я бы сказал, в многомерное пространство.

Неожиданно она поднялась, подошла к столу, где я сидел с сотрудниками кафедры, поздоровалась, извинилась и деловым тоном спросила, когда она сможет поговорить со мной о своей дипломной работе — в свете только что появившейся статьи Рамма.

Я объяснил, что после обеда буду в библиотеке.

Тоненькая фигурка Эстер, ее огромные черные глаза привлекли, естественно, внимание коллег, и их вопрошающие взгляды вынудили меня внести ясность в существо назначенного на их глазах свидания:

— Эстер делает мастерат, тема которого — Тринадцатая задача Лапласа. Мне кажется, она на верном пути. Что же касается работы Рамма, то я бегло просмотрел ее и уверен, что нашел минимум две ошибки..

Мы распрощались, и я медленно пошел в библиотеку, на ходу мысленно проверяя подход, избранный Эстер. В то же время мне становилась все ясней ошибочность метода Рамма. К ее столику я подошел, уже почти уверенный в том, что, по крайней мере, одну его ошибку можно будет легко доказать.

— Не огорчайся, — сказал я, присаживаясь к ней, — его решение содержит ошибки, и часть твоего мастерата мы посвятим анализу некорректностей, встречающихся при неудачных попытках решить задачу. Забавно будет проиллюстрировать их на примере Рамма, верно?

— И это все, что ты можешь мне сказать? — шепотом проговорила она. — Я тут убиваюсь от вчерашнего, а ты успокаиваешь меня разговорами об этом подлом Рамме! У меня по дороге заглох мотор, вызвали буксир из Хайфы, в гараже сказали, что сломан карбюратор, и начали чинить. Если бы они сразу сказали, сколько это займет времени, я бы взяла такси и примчалась к тебе. Но ты же знаешь их манеру: еще полчаса, еще четверть часа... — короче, машину я получила в девять вечера, но ехать уже было не к кому, и позвонить я не могла — мы ведь даже не договорились, в каком

отеле остановимся. Теперь ты понимаешь, что я ни в чем не виновата? Может, отстанешь от меня со своим подлым Лапласом?

Я украдкой погладил ее густые гладкие волосы. Моя душа была свободна от отчаяния и ревности. Я был полон доброты, теплоты и любви.

— Эстер, — сказал я ласково. — Я был уверен, что ты не пришла по какой-то важной причине, я волновался только за тебя и успокоился, лишь увидев, что ты жива и здорова. Я надеюсь, что мы еще встретимся — не в Цфате, так в другом месте, ведь мы любим друг друга, не так ли? А сейчас я хочу поработать. Завтра после лекций мы пройдемся и обсудим наши планы. И еще я тебе советую: как только найдешь свободное время, свози машину в гараж “Шимон Мило” — он прекрасный специалист по карбюраторам. Но запомни: если тебе предложат поставить новый карбюратор, немедленно соглашайся, сколько бы это ни стоило...

. Талант все проплет. Тьфу — пробьет!

. Позвольте вам лизнуть немного руку.

За то, что вы такой, какой вы есть!

(М. Исаковский. Стихи о Сталине.)

. Все неправо, что лево.

. Мемуары: люди, годы, страны. Очень странны.

. Асадов вот слепой, а видит по-нашему, по-советски.

. Сплин клином вышибают.

. Учи не учи — все равно стукачи.

. Советы дамам, желающим похудеть: завтрак съешь сама, обед подели с другом, на ужин отдайся врагу.

. Не было ни гроша, а вдруг аршин.

. Это не вранье, это правда на одну минуту.

. Почему причины всегда бывают техническими?

. Из призывов ЦК КПСС: народы Соединенных Штатов, боритесь за повышение жизненного уровня и благосостояния трудящихся!

. Из призывов ЦК КПСС: писатели Франции, повышайте художественный уровень ваших произведений!

. Еду в Болдино, старик, на осень, большие творческие планы надо написать.

. Вот у товарища Кочетова в паспорте записано, что он классик мировой советской литературы. А у вас, гражданин Пастернак, что написано?

. Людоюд — человек, который ищет себе друзей по вкусу.

. Когда же наконец кончится эта плюс электрификация всей страны?

. Когда нечего есть, хорошее занятие — чистить зубы: отвлекает.

. Этой сволочи надо было подохнуть в презервативе, не родившись.

. Статья была полна гневного вранья.

. Вчера отмечали День танкиста в Праге.

Вениамин Волох

Ему все не спится. Сколько же можно? Она наблюдает за ним в полумраке. Запах постели. Запах его тела. Пота. Едва они гасят свет, он тянет за шнур — опускает жалюзи, будто стесняется улицы. После — когда умиротворяются тела, разглаживаются морщины, смягчаются лица — он лежит на спине, пальцы коротких, сильных рук сцеплены под затылком. Она, нагая, привстает, тянет за шнур, поднимает жалюзи. Скупой, блеклый свет льется в комнату вместе с прохладным ветром. Потом они молча лежат врозь, смежив веки.

Она медленно открывает глаза, вглядывается. Его крупное тело словно светится во мгле, между смятыми простынями. Тяжелое, плотное, крепкое тело. Впалый живот. Прямые плечи. Прочно сидящая голова. Густые волосы. Ни сединки не прибавилось. Почти два года. Ни сединки. Сукин сын. В ней закипает гнев. Она смотрит на часы и вновь закрывает глаза. Мгновенье спустя с болью открывает, страхась уснуть. От горького дыма его черных солдатских сигарет у нее слезятся глаза. Три часа ночи. Он все не спит. Лежит вытянувшись, грубые армейские трусы прикрывают наготу, губы сомкнуты, пряча слова, которые она так ждет. Сигарета зажата в пальцах, глаза открыты. Она отво-

Ицхак Бен-Нер

НИКОЛЬ

рачивается, колени к животу, руки между колен. Пытается отвлечься, заставляет себя думать о ком-нибудь другом. О Габае, о Модии или Амираме. Или о Йонатане. Тлеющая где-то внутри зола слегка разгорается. Йонатан, в зеленом комбинезоне, у красной ложбины на желтом песчаном холме. Незряче, робко протягивает к ней руку, нежно гладит ее по щеке. Она закрывает глаза и вглядывается в видение. Но тяжелая рука — рука Берко — внезапно прогоняет его. Она ползет по ее спине, животу, возвращается тем же путем. Николь с отвращением открывает глаза:

— Слушай, ведь я же сплю, верно?

Шорох раздавливаемой в пепельнице сигареты. Хруст новой пачки. Щелчок зажигалки, которую она подарила ему три года назад, ко дню рождения. Очередная сигарета. Желтый огонек вспыхивает и тускнеет.

— Извини, — роняет он.

Сколько таких пачек он выкуривает за сутки? Все ищет выхода. Да уж...

И вот так — ночь за ночью. Долгие ночи. Временами она проваливается в небытие, словно в огромную бездну, но тотчас, страшась падения, стряхивает с себя сон. Порой сон сам пробуждает ее, когда она вдруг осознает: это же сон! И потом уже не спит, — чуть дремлет, почти бодрствует. А Берко все так же лежит на спине, в белых, старых армейских трусах. Волосатая грудь. Потный лоб. Во рту сигарета. И скрывает огромную боль, которую только он способен вместить и не дать ей вырваться, — которую только она способна воспринять. Заплачь, ну, заплачь же. Хотя бы раз! Пусть это, наконец, прорвется! Сядь в постели, грузный ослабевший, старый, скорбный, разразись сокрушительными стонами, грубыми, злыми, безутешными, очищающими рыданиями.

Он не плачет. Не спит. И — ни слова о своей боли. Под утро, уже отчаявшись уснуть, она всегда проваливается в забытие.

В восемь утра он уже одет: трикотажная рубашка, полотняные брюки, замшевые туфли. В штатском он еще старше, приземистее, еще более чужой и несчастный. Он складывает на кресло влажную от пота простыню, взбивает подушку, разглаживает матрац, выбрасывает сплюснутые сигаретные пачки, окурки из пепельницы. Она разлепляет тяжелые веки. В ее изъеденных дымом глазах тоска, сожаление о прерванном сне. Уже не в силах уснуть, она глядит на него. Черт, ночь почти не оставила на нем следов. Он умы-

вается, бреется, от него исходит легкий запах туалетной воды. Почувствовав, что она проснулась, он поворачивается к ней, спокойно, без всякого волнения разглядывает ее нагое тело. Длинные ноги, темный лобок, живот, груди, распущенные волосы, пересохшие за ночь губы. Сукин сын! За долгие месяцы она приучила себя к этому напряженному, на взводе сну: а вдруг боль возьмет свое, толкнет на отчаянный поступок именно тогда, когда она заснет! Нет. Он никогда не совершит ничего отчаянного. И никогда не вернется к ней тот добрый, спокойный сон, каким она спала в пустыне, на жесткой постели, в палатке, исхлестанной ветрами и песком. Сукин сын!

— Ну, ладно, я пошел, — говорит он. — Буду в семь, полвосьмого.

Будешь, так будешь...

— Ты будешь?..

Нелепый вопрос. Он задает его каждое утро с какой-то надеждой в голосе. Словно уверен, что ей ни за что не высвободиться от него.

Идет к двери. Эхо тяжелых, хотя обут в замшевые туфли, шагов — словно оно звучит еще с тех пор, когда обувался в армейские ботинки.

Ответа он не ждет. Она будет. Уж так хотела бы не быть, но — будет, еще как будет.

Она идет нагишом через полумрак, повсюду поднимая жалюзи, подставляя тело утреннему свету.

— Скажи, ты прячешься? Если прячешься, так скажи. По крайней мере, буду знать, что прячешься.

Он молчит. Обдумывает ее слова. Уязвлен, но не мстит.

— Просто хочу понять, в чем дело. Каждое утро открываю жалюзи, а ты приходишь вечером и опускаешь. Я не могу жить в клетке. — И добавляет запальчиво. — Мне-то скрывать нечего!

Свет заливает ее, ослепляет. За окном уборщик тащит зеленые мусорные баки к машине, что стоит напротив, у кинотеатра "Гат", и вдруг видит ее, белеющую в окне. От восхищения он так и застывает. Она смеется. День начался. Она открывает дверь в ванную. Запах мыла, запах его тела, очищенного от страданий ночи для страданий дня. Она медлит выходить из воды. Прикрывает глаза, покоряясь опустошенности, как вдруг в ней вновь закипает злость, от которой ей делается дурно.

И так каждый день. Мысленно она видит его в маленьком зале

университетской юридической библиотеки. Он ходит меж полок и, прищурившись, что-то выискивает. Библиотекарша Циона подает ему чашку кофе. Как обычно, он сразу же отпивает, обжигаясь, потом отставляет чашку — пусть остынет. И снова медленно и робко перебирает книги, еще непривыкший к долгому чтению, к отвлеченному языку науки. Морщит лоб, будто от боли. Какой сегодня день? Понедельник? Нет среда. Значит, и доктор Рафиах там. Говорят, говорят... Тесная у них дружба — не втиснешься! Лет двадцать уже, как разошлись путями, и разделяет их куда больше, чем связывает: этот — в военной форме, большое дитя среди песчаных холмов, под солнцем, а тот — восходящий по научной лестнице, строящий для себя новый, необычный язык. А вот поди ж ты! И другие тоже — Персиц, Идо Аарони, Маман. Все в стопке маленьких фотографий, которые Берко хранит в шкафу, вместе с документами. Его молодость, перед которой он, небось, благоговеет. Ей, Николь, было тогда годика три, самое большое — четыре. Иногда они собираются по вечерам, те немногие, что его не покинули. Отчужденно-благожелательно улыбнутся ей и тут же берутся за дело: для своего друга, для Берко, выискивать оправдания. Кропотливо ищут решение. Как будто оно возможно. Как будто возможно отыскать то единственное, окончательное доказательство его правоты, которое вернет ему все — должность, мундир, уважение, разгладит его морщины, прояснит взгляд, позволит шагать, как прежде, легко и уверенно через песчаные просторы, которым ни конца, ни края. Укротит ее собственный бунт, ее растущую враждебность и злорадство, и она будет взглядами просить у него прощения. Они собираются снова и снова, то здесь, то в университетской библиотеке, раскладывают карты, приглушенными голосами читают протоколы допросов, тычут пальцами в приговоры военного суда. А она остается одна, погруженная в свою упрямую ненависть.

И представляет себе: сквозь книжные полки, сквозь лица друзей, склонившихся над книгами и картами, сквозь размытую тень его бывшей жены Диды, сквозь невзрачный силуэт библиотекарши Ционы, притворяясь, что не замечает ее робкого, преданного взгляда, ищет он ее, Николь, виноватые в очистительном раскаянии глаза.

Но не-ет, с ней этот фокус не пройдет. Сжав губы, она холодно и пристально изучает себя в зеркале, которое так же упрямо и холодно взирает на нее. Она натягивает одежду прямо на голое,

влажное тело — тонкую кофточку, короткие, плотные брючки с разрезами по бокам, расчесывает мокрые волосы, оценивающе оглядывает свое прекрасное тело, познавшее столько других тел, но все еще, на удивление, не смятое, не опухшее, без складок и морщин. Что у нее общего с этим Берко, черт побери?! Что их до сих пор связывает? Память об общей вине? Ведь даже желание уже не то, что было, и влечет их друг к другу только боль, отчаяние и страх. И спокойствия душевного она ему тоже не может дать, и сама все больше злится, оставаясь с ним. Почему же она не может с ним порвать?

Через неделю после его вынужденной отставки, она в первый раз ушла от него. Без объяснений. Не для того, чтобы оставить его в покое: чтобы лишить покоя. Собрала чемодан и вернулась к родителям в Хайфу. Сходила в университет и записалась на второй курс, после двухлетнего перерыва. Пошла к осеннему морю. Переспала с другом юности, теперь преподавателем Техниона. Побывала вместе с матерью у портнихи. Навестила подружек, которых по-прежнему презирала, будучи уверена, что те равнодушно и снисходительно, из своих уютных, надежных семейных гнездышек взирают на нее, так и не ставшую взрослой. Знали бы, через что она прошла!

Потом стало невтерпех. Поссорилась с матерью — быть может, нарочно, чтобы найти предлог вернуться, уложила чемодан и уехала в Тель-Авив. Две ночи провела с давним своим любовником, Адиром, потом он ей опротивел, и она вернулась к Берко.

В кухонной раковине она обнаружила почти полный стакан кофе, в пепельнице — грудку окурков, на кровати — следы бессонной ночи и выросшую стопу газет. А на старом письменном столе — письмо — к ней, — которое он начал и не закончил.

Николь, — писал он своим неразборчивым, кривым почерком, — хорошо, что ты решила (далее несколько слов было зачеркнуто) бросить меня. Для нас обоих хорошо. Это было бессмысленно. Циона (опять зачеркнуто) звонила твоим родителям. По моей просьбе. Твоя мама сказала, что ты пошла в город. Я понял, что у тебя (зачеркнуто) все в порядке. Не знаю, интересно ли тебе (зачеркнуто), что у меня слышно, но если тебя интересует, то у меня все в порядке. Я все корплю над своими делами, Идо и Маман раскопали много важного материала. Они ребята что надо. Теперь я все это прорабатываю. Сижусь с Додиком Рафияхом и его адвокатом, Ремезом. Недели с три или четыре придется занимать-

ся этим копанием (ее душат тоска и презрение: иврит полковника!), чтобы уточнить смысл понятия "объявление военного положения". Ремез говорит, что Комиссия во всех ее документах и в дополнении касательно воскресенья, седьмого октября, уделяет особое внимание этому вопросу, действиям полевого командира, когда связь с вышестоящим командованием нарушена. Он убежден, что мой случай не единственный. Так что ты не (зачеркнуты две строчки). Я во всяком случае не беспокоюсь. Все будет в порядке. Вы слушали краткую сводку последних известий. А сейчас о тебе, Николь (зачеркнуто). Ты думаешь, что я занят только собой. Это не так. Я должен тебе многое сказать. (Зачеркнуто, еще зачеркнуто). Но поскольку сказать не получается, пишу. Скрывать это я больше не могу. Так вот...

Дальше все вычеркнуто — жирными черными линиями. Она жадно пытается прочесть зачеркнутое — тщетно. Что он хотел ей сказать? Что?!

Он возвращается ночью и видит ее, прикорнувшую в кресле, прямо в одежде, перед мерцающим экраном телевизора. Протягивает руку и перебирает ее длинные, темные, вновь отросшие волосы. Она приоткрывает глаза, и он долго вглядывается в них в тусклом, призрачном голубом свете экрана. Затем наклоняется и целует, словно говоря: мы с тобой не можем не вернуться друг к другу, что бы ни случилось. Словно говоря: твоя вина не меньше моей. Словно говоря: вернулась. Он тихо расстилает простыни, с величайшей нежностью переносит ее на кровать, помогает раздеться. О письме, которое утром, с его уходом, исчезает со стола, — ни слова. Что он ей хотел сказать? Что зачеркнул после того, последнего, "так вот..."?

С тех пор прошло полгода. Все, как прежде. Много вечеров подряд они не обмениваются ни единым словом. Даже в объятиях. Она еще не раз убегает — и неизменно возвращается, ничего не объясняя. Каждый раз клянет себя за то, что возвращается, а он каждый раз принимает ее с любовью и тоской. Она все ждет, что он заговорит о своей боли. Но он молчит. Он словно закрытая книга.

2

Может быть, он слышит голоса, когда лежит вот так по ночам? Ну да, голоса, что взывают к нему. Голос Йонатана или того, из Ф.

Тридцать девять часов подряд они звали его, пока в рациях не кончились батареи, пока не прорвались египтяне. Он никогда ей об этом не рассказывал. Он словно закрытая книга, черт бы его побрал. Она узнала от Амирама. Тридцать девять часов голоса Йонатана и Ядидии Цедербойма — того, из Ф. — зывали к нему, а он был бессилён помочь. Йонатан в двенадцати километрах к западу, в ловушке, его роту перемалывают танк за танком, Цедербойм — в двадцати семи километрах к северо-западу, по уши зарылся в песок с семнадцатью своими солдатами. Сержант, двадцати шести лет, ученик ешивы, отец четырех детей, связист. Она все о нем знает. Командир убит первым же пушечным залпом, больше принять командование некому. Когда он включал рацию, были слышны его тихие, уверенные приказы. На фоне глухих разрывов.

“Ой, что они с ним делают, Берко!” — стонал Амирам.

Ей многое пришлось услышать. Запекшиеся губы, пыль, затвердевшая на лицах, словно тонкая бетонная маска, налитые кровью, слезящиеся глаза. Сорок два часа без сна. Впервые в жизни — она то знает — впервые в жизни он беспомощен, тщетно пытается собрать весь свой ум, опыт, силу, чтобы решить — кому жить, а кому — умереть? Третьего не дано. Пытается — и не в силах взять на себя эту страшную ответственность: кого, какой путь ни предпочти, все равно проиграл. Семнадцать операций возмездия, семь рейдов во вражеские города, множество боев, так много испытаний духовной силы, и вот все это ничего не стоит сейчас на фоне сдержанного, спокойного голоса какого-то неведомого Цедербойма из-за холмов, с берега канала, на фоне смертельного страха в голосе Йонатана. А он, рассказывал Амирам, все пытался изображать уверенность, беспечность.

“Скажи этому богомольцу, чтоб перестал скулить. Передай Йонатану — пусть постарается пробиться. Скажи им, что нам не лучше”.

Она видит Габая, высчитывающего около рации: семь танков подбито у Йонатана, двенадцать у Эди Каца. Она слышит Амирама:

“Нужно решать — идти на выручку к Йонатану или пробиваться по центру, к Ф. Нельзя сидеть сложа руки!”

Бронетранспортер застопорило и тряхнуло. Падают, прижимаются к земле, встают в дыму.

“Сдай назад, счастье ты мое! Живо назад! Теперь вперед! Правее!”

Работяга-искусник, молчун, в пластмассовой, а не в стальной, вопреки всем приказам, каске на бритой голове, рвет рукоятку скоростей.

“Богомольцу передай, что мы идем к нему. Передавай непрерывно, Габай, ты меня слышишь? Непрерывно передавай, чтоб у них была надежда. И Йонатану тоже. Все время передавай!”

Амирам: “Нужно передать Нисимову, чтобы шел к Ф. или на подкрепление к Йонатану”.

Берко: “Я тебя просил что-то сообщать Нисимову? Пока нет связи с генералом, никакого прорыва. Ясно?!”

Амирам стонет от невыносимого, бессильного гнева.

– Ты понимаешь? Психологом заделался, хмырь этот твой. “Чтоб у них была надежда...” Тридцать девять часов – надейся тут!

Множество голосов... На двери и внизу, на почтовом ящике, таблички с их именами: “Барух Адар” – “Николь Лейбович”. Она приклеила их, как вызов, чтобы поровну делить позор. Нарочно выбрала эту квартиру – в самом центре города, на улице Цейтлин. Уверена: его имя известно всем, а лицо знакомо по снимкам. Он – один из героев, о нем ходят легенды. Газа, Хан-Юнис, Калькилия, Митле, Цовет-Рафиях. Он с Ариком, он с Рафулом. Она видела, как у людей светлеет взгляд, когда они внезапно его узнают. К его смущению. Однажды вечером – они сидят за скромным ужином – она вдруг спрашивает его:

– А жену Цедербойма ты навестил?

Повинуясь долгу, он ездит на все похороны и поминовения, аккуратно навещает все осиротевшие семьи. Со временем, когда незаметно подкралась молва, это стало обременительнее: ему мерещатся боль и укор во взглядах, кажется, что люди отворачиваются, язвительно перешептываются за его спиной, – но он продолжает ездить. Всегда.

На этот раз он вздрагивает и как бы съеживается, будто уличенный.

– Откуда ты знаешь о Цедербойме? Амирам небось рассказал?

Она со злорадством видит, как в его глазах вспыхивает слабая боль: еще и Амирам... Но он тут же спешит натянуть на себя маску беспечности:

– Да какое мне дело до этого Цедербойма! Я его и в глаза не видел.

И вот так все эти дни он постыдно съеживается, пытается спра-

виться с чувством вины — и не может. Она неотступно наблюдает за ним. Он ощущает ее взгляд, прячет голову в плечи и продолжает есть, с преувеличенной сосредоточенностью, без всякого аппетита. До войны у него было маленькое брюшко — привычное, твердое. Гимнастерка вечно расстегнута, брюки вот-вот лопнут. Самоуверенный, ощущающий свое превосходство, в вагончике своим командирском подшучивал над нею и двумя другими девчонками — Цилей и Рони:

“Эй, малютка, сделай мне гренку, а на нее горку навали!”

Жевал приготовленное белыми, крепкими зубами, отхлебывал виски из припрятанной бутылки. Потом отсылал девчонок, растягивался на койке. А она вскоре постукивала в его дверь, подкраившись вроде бы незаметно, но только все знали... Хмельные то были денечки!..

Потом — демобилизация. Университет. И вдруг она ловит себя на том, что сидит и пишет ему. А он — как ни поразительно — отвечает. Длинным письмом, написанным кривым почерком и дубовым языком на листах из армейского блокнота. Она ссорится с родителями, бросает учебу, подписывается на два года кадровой службы и с его помощью возвращается к нему в часть. И это — она, лучшая ученица, такая утонченная и гордая; она, работа которой по Черняховскому была размножена и роздана всем выпускникам в подарок; она, которая уже в пятнадцать лет с парнем из выпускного класса; она такая негибкая и своевольная — к нему, грубому, дикому, упрямому, как столб, надменному, изворотливому, вспылчивому! Разве могла она поверить, что может так подчиниться кому-то или чему-то — ему и своей любви, страсти, состраданию, позору, злорадству?!

Возле кровати, на стуле, что с ее стороны, — стопка книг. Белль, Солженицын, Вирджиния Вульф, Яир Гурвиц, Рахель Эйтан — все, что просто обязана была прочесть. Даже не прикасается. Время от времени заставляет себя — или проверяет, способна ли еще? — пробегает глазами страницу, но не находит ничего, что заставило бы взгляд слиться со скачущими мыслями. Два года она живет, себе на беду, не своей, а чужой жизнью.

“Даже собственную мою жизнь у меня украл, черт бы его побрал!”

В пятнадцать лет она уже обо всем судила по-взрослому. С бесстрастностью ученого холодно и безжалостно изучала всех — учителей, сверстников, сестру с мужем. Читать, читать, идти впе-

ред и вперед. Познавать всех, извлекать из всех — таков был ее девиз. Она открыла в себе этакую высокомерную справедливость, в которой черпала душевное удовлетворение. Мужчины пытались ухаживать за ней, но отступались перед ее умом. Они становились ей противны, едва она сознавала, что покорила их. Их женщины ревновали к ней, пятнадцатилетней. В семнадцать она уже была вхожа в ту хайфскую среду, где вращались молодые интеллектуалы и бизнесмены. Ей сразу же стало ясно, кто здесь поплоче, а с кем предстоит борьба на равных, хотя, разумеется, недолгая: она-то знала, что победит. Она увлеклась фортепиано, но однажды, почувствовав, что пальцы преодолели какой-то барьер и звуки уже не восходят с клавиш, а изливаются изнутри ее самой, разом погасила в себе это увлечение. Попробовала рисовать, но после того, как некий коллекционер приобрел у нее одну маленькую акварель, отложила кисть — тоже навсегда. Написала рассказ, а ее приятель послал его в серьезный литературный журнал, и журнал рассказ принял — и тогда она поехала в Тель-Авив и забрала рукопись. С тех пор не написала ни строчки. Она устремлена только вперед, сознательно обрывая все прежние связи. Сентиментальных воздыхателей осаживает ледяными, короткими фразами. Но вдруг, подобно неудержимому разливу, ее саму постигает любовь — к женатому человеку. Адир. Экономист, управляющий одним из крупнейших банков, как говорят — восходящее светило в финансовом мире. Запретная, бурная любовь. Адир безраздельно ею покорен, а она требует — будто найдя в себе силу для жертвы, силу, которой ей хочется обладать, — чтобы он не бросал жену и сына. Намеренно знакомится с его женой. Маленькая, милая, смышленная. При виде ее что-то щемит в душе, что-то злит. Она об этом — Адире, который и без того в нерешительности, как ему поступать, а она уязвлена, что мучается-то он не только по ее воле. Наконец, Адир оставляет семью — и у нее исчезает интерес к нему. Вслед за тем она безжалостно остригает свои длинные, красивые волосы и надевает военную форму.

Отныне все, что было, — невинное озорство подростка. С этим покончено. Теперь она в совсем другом мире. Долгие месяцы в песчаной пустыне, среди бескрайних просторов, всхолмленных к западу, где кровью проливаются закаты. И люди вокруг нее другие — грубые, настырные, заносчивые, трезвые. Властный взмах их руки очерчивает весь мир. Среди них и их бронированных машин. Впервые в жизни она предана людям, которые не подчиняют-

ся ей. Чей взгляд устремлен куда-то вдаль, поверх ее головы. Ее мысли сосредоточены на них: Берко, Амирам, Габай, Рашик, Цилля, Рони... И Йонатан. Штаб бригады. Измочаленные телефонные аппараты. Стрекочущий проектор, бросающий луч на потолок, — они смотрят кино, лежа на спине. Планы учений, система связи, названная ее именем: “Станция Николь, говорит Николь”. Армейская автолавка. Ленивое субботнее безделье в пустыне. Поездка в рыбную харчевню в Эль-Арише, ночное купание в море. Отпуска и сожаление, когда они подходят к концу. Автомат, содрогающийся в ее руках. Кипяток в походных душевых. Взгляды украдкой, когда она проходит во влажной, прилипшей к телу гимнастерке. Горький, черный кофе. Черствая нежность окружающих. Полночные трапезы, собранные на скорую руку. Тяжкая, потная любовь по ночам — в палатке или в вагончике. Присвистывающие голоса по рации. Надменность, которая не знает за собой греха и потому не нуждается в искуплении.

А потом — он. Как он глядел на нее — задумчиво, невозмутимо. Как забавлял ее и девчонок. И сладкая боль под ложечкой, когда касается своей тяжелой рукой. Его походка. То, как он подбирает слова, как бы нанизывая одно за другим. Легкое, беспечное пренебрежение, которое он проявляет к другим, не исключая начальство. Крупицы его воспоминаний о прошлом: приезд в страну, кибуц Оша, молодежное поселение, парашютные войска, дерзость, которая всегда толкала его вперед — благодаря которой, терзаемый виной, он сейчас держится. Его жена Дида. Уже в первые дни службы, задолго до того, как Николь стала с ним спать, девчонки рассказали, что он с женой живут врозь, и формальный развод — дело времени. Однажды ночью, при свете переносного фонаря, они моются вместе в мужской душевой, разделенной жестяными перегородками. Хохочут. Обнимаются. Издалека, со звуками ночи, доносятся обрывки мелодии из транзистора часового. Первая в жизни ревность, когда симпатичная женщина-офицер, прибывшая по делам, радостно бросается к нему и на долгие мгновения застывает в его объятьях. Попытка пробудить его ревность. С Амирамом, поздно вечером, на скрипучей койке в штабе. Она знала, что он придет. И вот послышались его тяжелые шаги. Амирам вскочил, побелел лицом. Берко роняет: “Прошу прощения. Я подожду снаружи” — и разворачивается к двери. Ей — ни слова. С Амирамом, который и любит его, и ненавидит. С Амирамом, который, бывало, тепло клал ей на плечо руку, когда они

все собирались у командира. Спокойный взгляд Берко застыл на мгновение — и скользнул мимо. Он ни за что не выдаст, что ревнует, что ему больно.

Недели две назад, придя домой, он обнаружил, что дверь заперта изнутри. Она не хотела его впускать. Молча, враждебно, сидела в кресле, глядя на запертую дверь, упиваясь просьбами, которые он произносил снаружи, шепотом. Почему так поступила — не объяснила. Как не объяснила ни свои побеги от него, ни возвращения. Трепеща от мучительного злорадства, ждала, что он вот-вот вспылит, взломает дверь, бросится на нее. Увы, смущенно и тихо, любовно, с безграничным терпением и со скрытой болью, он вновь и вновь уговаривал, нажимал на кнопку звонка. Она открыла через час. Понимающий, всепрощающий, он тянется погладить ее по щеке, упрямую, взбалмошную. Не спрашивает ни о чем. “Я для него просто непослушная девчонка, — зло думает она. — Или просто психопатка. Часть той мучительной доли, которая ему выпала. Ко всему — еще и я”. И вновь в ее душе закипает гнев. “Ничего, мы тебя еще попытаем. Будем подавать тебе кофе, делать бутерброды... Это часть твоего наказания, возмездия тебе, воздаяния...”

Месяцев через пять после войны Амирам с болью — а может, с враждебностью, не разобрать — рассказал ей о докладной записке, которую он подал в генштаб. Лежа с ним рядом, она обмерла:

— Ты с ума сошел. Ты понимаешь, что ты сделал?

Он молчит, закуривает, сжимает губы.

— Ты думаешь, все так просто: тут — черное, тут — белое? Будь ты сам на его месте, сумел бы решить, кому жить, кому умереть? Как ты мог это сделать, черт возьми?!

Он смотрит на нее, лицо нервно подрагивает.

— Сударыня, это армия, понятно? Армия, которая сражается не на жизнь, а на смерть. На такой войне только так и нужно решать — быстро, сразу, так или этак. Ты достаточно потерлась среди нас — сама знаешь.

С широко раскрытыми, полными боли глазами, словно получив пощечину, она кричит:

— Но почему, ко всем чертям, ты считаешь, что он способен вот так, за секунду, принять такое ужасное решение? Что за супермена ты себе выдумал? Он ведь не Бог, Ами, он всего лишь человек!

Он горько качает головой:

— Твой Берко двадцать один год готовил себя к этой минуте, сударыня. И если после стольких лет он не способен решить, то хреновый, значит, он командир. Почему, думаешь, накрылся Йонатан? Почему, я спрашиваю? Когда он в третий раз погнал его в Ф., а потом вернул, их уже поджидали с ракетами. А Берко не знал, что ему делать — то ли Йонатана выручать, то ли тех, что в блиндажах. Не знал! Семь танков к ебаной матери с первого удара? Понятно!

Ну, зачем, зачем он вспомнил про Йонатана? Йонатан, Йонатан. Снова разгорается тлеющая зола, жжет внизу живота. Эх, Йонатан. В комбинезоне, в защитных очках. Робко, как мальчик, протягивает руку, гладит ее по щеке, а она, в каком-то порыве, не понимая, зачем, склоняет голову и целует его в ладонь. И он опускает глаза, этот Йонатан, одним касанием руки покоривший ее сердце. Одну-единственную ночь — из всего множества любовных ночей, что были в ее жизни — неистово, чуть не против его воли, непонятно на что надеясь, она любила его — у которого через две недели свадьба. На рассвете — она еще спала — он сбежал. В столовой, за завтраком, прятал от нее глаза. Вышел. Она не удержалась, вышла за ним следом, окликнула. Он остановился резко, как ужаленный.

— Что случилось? — а глаза выискивают что-то за ее спиной, в песках.

— Да ничего, Йони. Что может случиться?

Бессильно, с внезапной болью потери, она смотрит на него, и тут появляется Берко — точно мессия, избавляющий Йонатана от нее.

— Командир, выхожу с ротой в седьмой квадрат, необходим кто-то из техобслуживания — местность каменистая.

Все понявший с первого взгляда, Берко поворачивает помрачневшее лицо к парню, которого всегда любил:

— Чего же ты обращаешься ко мне? У тебя что, нет комполка? За что Гросс получает зарплату?

Йонатан смущен. Она молча стоит рядом. Душа ее далеко. Горькая боль под ложечкой. С ней никогда еще не бывало такого.

— Гросс сказал, что требуется ваше разрешение, командир.

Берко смягчается. Выдавливает улыбку.

— Ну, ладно. У тебя, кажется, через две недели свадьба? — И косится на нее. — Так ты поосторожней...

Йонатан смущенно улыбается. Торопливо уходит. Берко кла-

дет ей на плечо свою короткую, тяжелую руку тем собственническим жестом, который так нравился ей прежде и так ненавистен сей час.

— Ну, идем, покормишь меня, красавица ты этакая...

Он не спрашивает, почему она не пришла сегодня ночью в вагончик. Есть в нем какая-то деликатность, не вяжущаяся со всем его обликом. Как он ухитряется всегда ее понять — что в любви, что в ненависти?

Йонатан, Йонатан. С того утра она неделю не приходила к Берко. Отлучила себя от всех. Одиноко, с болью ждала Йонатана. И знала, что он — не придет. Гнала от себя сон. Хотя бы одно прикосновение, один поцелуй, одну ночь. Что с ней, черт возьми? Пусть придет. Пусть только придет. Ну почему, почему она не может дотянуться до него, когда ей так нужно, она знает, что нужно? Ну что в нем, кроме застенчивой детскости. Пусть придет! Пусть бросит свою невесту! Пусть все летит к черту! Пусть только придет!

Не пришел. Третий день он со своей ротой — на высотах. Она — к Берко, который собирается выехать на плацдарм. Она не говорит: "К Йонатану". Она говорит: "В третью роту". С трудом сдерживается. Не она — Берко отечески обнимает этого мальчишку при встрече. Йонатан скованно, бледно улыбается ей и больше не глядит в ее сторону. Острая боль пронизывает ее. Она идет позади двух своих возлюбленных, их голоса звучат в ее ушах, но она их не слышит. Боль внизу живота. Горькая ее любовь. На следующую ночь она оправдывается перед Йонатаном, которого с ней нет: "Я искала тебя в каждом, пойми. Их было много, потому что я искала, но не находила. И не знала об этом. А ты из-за этого и не приходишь. Но ведь теперь я знаю, Йонатан, я точно знаю".

Одна в комнате, она все говорит и говорит, а он, словно грешник, опустил глаза, и его лицо скрыто под маской пыли. Через неделю он уехал — жениться. И даже не пришел с ней попрощаться.

Понемногу боль затихла. А перед самым отъездом офицеров в Беер-Шеву на свадьбу, она пришла к Берко в вагончик. Его спокойно-удивленный взгляд, сильные руки, ее рыдания, застрявшие в горле. Вечером, в душе насмехаясь над собой — дескать, вот еще, поддалась этойкой невиданной, бешеной любви, — в лучшем своем гражданском платье, ослепительнее всех, она независимо прохаживается среди гостей по свадебному залу. С холодной

улыбкой целует смущенного жениха в неуклюжем пиджаке, бросает снисходительный взгляд на победительницу-невесту, молоденькую, безмятежную толстушку, в которой нет ничего таинственного, ничего такого, что есть в ней. Посмеивается над ее глупостью, а внутри у нее тлеет боль. И она всем напоказ берет Берко под руку. Пусть видят. Берко изумленно ее разглядывает. Наверно, понимает. Ничего не говорит. Он всегда понимал.

Берко, рассказывал Амирам, часто навещал вдову Йонатана. Та вначале думала — это он просто так, чтобы утешить. Придет, посидит час-полтора, молчит. Уйдет — и снова. Простая девчонка, непонятно что в ней Йонатан нашел. А когда дошло — испугалась. Невыносимо стало с ним сидеть. Видеть его вину, его молчание, его большую, тяжелую поникшую голову. Чуть не попросила, чтобы перестал приходить. Но потом как будто сжалась. Я думаю, говорил Амирам, она его и жалеет, и вместе с тем — ненавидит.

Йонатан. Самая простая и самая странная из всех — эта ее любовь. А может, только такая — бессмысленная, бешеная, беспощадная — и есть настоящая? Черты его лица все больше стираются. Скоро два года. Йонатан, ее возлюбленный, который умер мужем другой. Жаль, что она не родила тебе сына, который остался бы памятью о тебе на долгие годы. С месяц назад она услышала, что вдова как будто вновь собирается замуж. Это ее обрадовало: “Теперь только я буду помнить о нем”. Но он уходит все дальше и дальше. Его облик тускнеет день ото дня. Скоро два года...

3

“Вдова может простить, или понять, или пожалеть, — говорил Амирам. — Но я, все это ебаное время находившийся рядом с ним, могу только осуждать. Не знаю, как бы поступил я сам, будь я на его месте. Слава Богу, что меня миновало. Конечно, я могу понять его колебания. Но выбирать так долго — это было непозволительно. Он обязан был решиться. Но он не решился. И потому я его осуждаю. Не могу иначе. Не могу, и все!”

Она смотрит на него. Высокий, худой, мускулистый. Амирам. И Берко, по прозвищу “Моль”. Командир бригады. Тогда, шестого октября, к тому часу, когда Берко, наконец, добрался до расположения бригады, Амирам уже принял командование на себя. Рашика, его помощника, уже не было в живых — он был в одном

из тех пяти танков, которые приняли на себя первый удар. Именно тогда между Амирамом и Берко зародилась та скрытая вражда, в которой Берко вел себя все гаже. А она, Николь, брошенная в номере маленькой беер-шевской гостиницы, каясь и мучаясь от стыда, собирала свои и его вещи. Натягивала форму. Собиралась на войну. Суббота. Машины мчатся на юг. На дорогах столпотворение. Сумеет ли Берко добраться в такой суматохе?

— Уж не из-за меня ли ты написал эту докладную, Ами? — глухо спрашивает она и тут же пугается своего вопроса. В глазах Амирама чуть ли не отвращение.

— Из-за тебя? — переспрашивает он после долгого молчания. Будто говоря: “А кто ты вообще такая?” Будто говоря: “Однако высокого же ты мнения о себе”. Будто говоря: “Неужто ты, что спала чуть ли не со всеми, всерьез полагаешь, что это из-за тебя?” — Это мое личное дело.

Ее разочарование сменяется гневом.

— Это грязь — то, что ты затеял. Кому это поможет? Что исправит? Кому вернет жизнь? Это грязь!

От ненависти у него перекашивается рот, глаза — две узкие щелки:

— Как ты сказала? Грязь? Только не к тебе ли самой она липнет? Попробуй, переспи-ка с этим спокойно хотя бы ночь!

С тех пор они не виделись. Кажется, ему не то присвоили, не то собираются присвоить полковничье звание, дать новый полк. Она тоскует по нему и ненавидит его. Он заронил в нее ощущение позора. “А меня-то за что? — негодует она. — Нет уж, без меня. Меня оставьте в покое”. Долгие часы она мысленно продолжает этот разговор. “Согласна — я спала и с ним, и с тобой. Но ведь все это было раньше. Что же, мне теперь всю жизнь мучаться от стыда? В чем я виновата?”

Но в этом споре она слабее. Даже наедине с собой. Остаются логические провалы, и постепенно они заполняются.

“Ну, и сукин же ты сын, Берко, — говорит она себе. Говорит ему. — Сукин ты сын. Виноват-то ты. Ты ведь и вправду виноват, черт побери! Так отстань же от меня со своей виной. Меня это не касается. Я не в силах это тащить”.

Как ей хотелось, чтобы он очнулся. Чтоб начал бороться. Потом все стало безразлично. Все в ней закипает, когда по вечерам он поднимает глаза от газеты и рассудительно говорит: “Я прихожу к выводу, что Рабин нам подходит больше всех — ты только по-

смотри, как он мудро ведет все эти дела с египтянами...” Сукин сын! Ведь это же из-за тебя! Вся наша гордость, сила и мощь обратились в растерянность, безотчетный страх, в жадный поиск обманчивого мира...

Как-то раз она присоединяется к экскурсии новопоселенцев. В группе — несколько давних знакомых: бывшие офицеры и солдаты из их бригады. Но и среди них она одинока. Гам, грубое веселье, пустое ликование только раздражают ее. Ей кажется, что все поглядывают на нее — ага, та самая, из беер-шевской гостиницы!..

Пятница. Одиннадцать утра. Берко: “Я — в гостинице Д., в Ашкелоне. Передай Рашику, когда вернется с плацдарма”.

Он забирает у своего шофера ключи, садится в красивый лимужин, приткнувшийся к самым пескам. Она садится рядом. Она знает — сейчас все презрительно насмеются над ней. Гилель из бригадной разведки подходит к машине, видимо пытаясь продолжить неоконченный разговор. Берко взмахом тяжелой руки отсекает незадачный вопрос: “Нечего паниковать, если какой-то там египтянин пукнет! Мы же сами спускались месяц назад на воду. Видели? Видели! Ты еще сам сличал наши данные с данными дивизионной разведки. В случае чего — звони мне в гостиницу Д. в Ашкелоне”.

Но на полпути он передумывает: в Беер-Шеву. Нет, это она попросила. Ну, что ж — он уступает ее просьбе. Маленькая гостиница близ центра города. Он пытается связаться со штабом. Она нетерпеливо ждет его в номере. Наконец, отчаявшись дозвониться: “Передай им, мой номер 20—25, Беер-Шева, а не тот, что я дал раньше. Вот-вот, скажи там — полковник Адар. А тебя как зовут?”

Он даже не помнит, как зовут ту кретинку. После войны он потратит долгие дни в попытках ее найти. Как будто это чем-нибудь могло ему помочь.

Они запираются в номере до следующего дня, почти до полудня. Голоса людей, шум моторов в чуткой, звонкой тишине.

“Постой, что это? Ведь нынче же Судный день?”

Он остервенело натягивает форменные брюки. Она прикрывается простыней, будто в комнату ворвался посторонний. Он бежит вниз, в фойе, почти расшвыривает резервистов, которые пытаются дозвониться на север. То ли пасуя перед его напором, то ли узнав его, хоть он и без гимнастерки, они уступают ему место

у телефона. Целый час он пытается дозвониться до дивизии. Наконец-то! Далекий голос кричит на него, как на мальчишку: искали в Ашкелоне, по всем возможным телефонам, через нарочных, прочесали все гостиницы... Он взлетает по лестнице, вбегает в номер, бросает на нее невидящий взгляд — и исчезает. Вертолет доставит его на передовую. Прямоком на фронт. Война. Внезапно.

Позже, когда все кончилось, и великая тишина накрыла пустыню, рассеялся дым, и следы гусениц, похожие на борозды землеша, протянулись к горизонту — туда, куда ушли танки, ей удалось добраться до бригады. Три недели она помогала в Рефидиме, в отделе одного из знакомых офицеров, потупив глаза под чужими, будто невидящими, но пытливыми взглядами. Потом, продолжив путь на юг, увидела свою бригаду — перемолотую, поредевшую, собирающую уцелевших под суровым, свинцовым небом. Подбитые танки. Молчаливые солдаты. Забинтованные головы, руки на перевязях. Бесконечно усталая, мимолетная, одними уголками губ, улыбка Берко, когда Николь появилась в палатке. И мертвые. Йонатан. Рашик. Йонатан. Эзра. Йонатан. Хлебнер. Йони Беренштейн. Арнон Модиано. Йонатан. Майор Пери. Каспи. Шофер Овед. Дани Коэн. Аминов. Йонатан.

Она идет с Берко — рука у него в гипсе, бинты грязные — среди немногих уцелевших и не видит на их лицах радости, что они — выжили. Не видит многих знакомых лиц. Люди смотрят на нее пустыми глазами, в которых нет ни вражды, ни упрека. А ночью она, как бывало, лежит рядом с ним, но он — где-то далеко, в дыму. Уже тогда ему не спалось. Он не касался ее тела, изнывающего в тоске по нему. Лишь проведет ладонью по лицу, словно невзначай. Словно говоря: "Тебе нечего беспокоиться". Словно говоря: "Во всем виноват только я". Словно говоря: "От всех бед, даже самых страшных, я тебя защищу". Словно говоря: "О, горе мне". Он дрожит, в душе его растет страх. Светает, а им обоим не спится. Невнятный стон срывается с его губ. Даже не стон — какое-то неясное, протяжное эхо: "Боже, как она накрылась, эта бригада..."

Утром в столовой, под брезентовым навесом, десятка два уцелевших офицеров жуют в глубоком молчании. Когда она входит, они поднимают головы, а потом вновь уходят в себя. Она ощущает капризное недовольство: "Ну, вот, меня уж и не привечают. А раньше-то..." Но тут же обуздывает свою гордыню: "Нет, их мрачность — от пережитого" И молча ест, потупив глаза.

Порой она звонила в университетскую библиотеку, и библиотечарша Циона, даже не выясняя, кто звонит, тихо звала: “Барух, это вас”. Он брал трубку, и она, изменив голос, просила позвать полковника Адара, или Баруха, или подполковника Борьку. Когда он, наконец, узнавал ее, она приходила в восторг.

Его бывшая жена пришла к ним незадолго до его демобилизации. Худая, молодая, короткие волосы, вышедшие из моды джинсы, рубашка мужского покроя, серые глаза. Николь знала, что она инспектор по школам, живет с другим, бездетна и неспособна родить, готовится к защите диплома по литературе в Еврейском университете.

— Здравствуйте, — сказала она. — Я Дида, вы, конечно, слышали обо мне. А вы — Николь, да?

Она сразу ощутила неприязнь к ней — за эту правильность, спокойствие, доброжелательность. Они сидели на кухне, вдвоем, и Дида, казалось, не испытывала никакого стеснения.

— А по виду вы сабра...

Николь кивнула.

— Почему же тогда — Николь?

Она рассказала — наверно, в тысячный раз — о женщине, которую прятала мать во время войны.

— Что вы говорите?! — голос у нее был хриплый, прокуренный, но в нем какая-то теплота и большое удивление.

Потом пришел Берко. При виде жены в глазах его вспыхнуло какое-то незнакомое выражение. “А ведь они не враги, — вдруг поняла она и ощутила разочарование. — Но и не любовники. Просто понимают друг друга”.

И вдруг он заговорил. Он рассказал ей все то, что Николь с огромным трудом, слово за словом, вытягивала из него эти долгие дни, недели, месяцы. И вдруг все это так охотно, откровенно выкладывает он этой трудной, худой женщине.

— А что Дадо? — спрашивает жена.

— У Дадо свои проблемы, — отвечает он. — И у Даяна тоже. А вот Дану я передал подборку подозрительных признаков, выявленных на допросах. А Ремез сопровождал их своими замечаниями. Ты ведь помнишь Ремеза? Он работал в военной прокуратуре и знаком с процедурой. Возможно, мы с ним засядем над этим делом. Дан обещал передать подборку премьеру, если удастся...

— Говорят, что Арик будет начальником генштаба, — замечает она. — Почему бы тебе не заглянуть к нему.

Он качает головой:

— Во-первых, у него нет никаких шансов. И потом, с чего это я пойду к нему — ведь он ко мне не пришел...

Николь встает, чтобы подать кофе, и вдруг понимает, что перестала воспринимать спокойный, уверенный голос этой женщины, откровения Берко. В ней вспыхивает гнев: “Какого черта она пудрит ему мозги? Виноват — так виноват, и нечего танцевать вокруг него. Пусть склонит голову и признает. Ведь виноват! Все бессонные ночи вглядывается в свою вину и не может от нее уйти”. Ночью и днем они его преследуют — его вина и она, Николь.

4

— Почему ты не спишь? — спрашивает она.

Он долго молчит, уставившись в потолок, словно там, как когда-то, мелькают кадры кино.

— Не знаю, — отвечает он, наконец. — Не знаю, Ники... Боюсь. Может, боюсь того, что может присниться. Сплю, а в голове абсолютно ясно, понимаешь?

Он шарит в потемках, находит сигареты, щелкает зажигалкой. На лбу выступили капли пота.

— Утром встаю и не понимаю — то ли спал, то ли нет. Снилось ли что — ничего не помню. Все стерто.

Он умолкает. Маленький красный огонек сигареты то разгорается, то тускнеет.

Она понимает его — по-своему. Она рада услышать, что ему страшно. Наконец-то. Она хочет, чтобы ему было страшно.

Ему страшно. Каждый телефонный звонок, взрывающий пролегшее между ними молчание, бросает его в дрожь, он съезживается, как беглец, которого накрыли в его тайнике. Она наслаждается его страхом.

Но почему же, черт побери, он не пытается запутать следы, почему не плачет, не кричит, не изворачивается? Падая на четвереньки — и только ей дано это распознать — неизменно поднимается, распрямляется. Эту его узость мышления, скудость воображения, осклопленность чувств она объясняет себе стыдом и растерянностью, которые так цепко им владеют. О, пусть бы он пошатнулся — она бы поддержала! Но он держится и даже стона не издаст, как тогда, в палатке. Молчаливый, грузный, стареющий, все более

неряшливый. Сначала она еще его жалела. Потом жалость прошла. Брось его, — убеждала она себя. И пыталась бросить — вновь и вновь. И самой себе не могла объяснить, почему возвращалась, раз за разом. Только чувствовала, что влипла. Не находит выхода. Не знает, как сбежать от всего этого подальше. Тогда в ней появилась злость. Все мысли сосредоточились на нем и его беде — как получше насладиться ею. Она подолгу сидит и смотрит на него — молча и холодно. Ему невыносимы этот холод и враждебность, он отводит глаза. Однажды она потащила его в большой магазин на улице Дизенгоф, в самом центре. Показывала продавщице, какие подать рубашки, брюки, носки — все по последней моде, а он стоял растерянный, с жалкой, кривой улыбкой старика, ставшего смешной игрушкой жестокого мальчишки, послушно надевал и снимал брюки с широкими штанинами, тонкие рубашки с кружевными рукавами. А дома быстро, молча переоделся во все старое: вельветовые брюки, шерстяной свитер с высоким воротом — зимой, поношенные полотняные брюки и трикотажная рубашка — летом, замшевые туфли — круглый год.

Он изменился, постарел, устал. Он всегда готов уступить, простить, согласиться. Может, он страдает, как и я? — в гневе спрашивает она себя. И отвечает: нет, он на это не способен, он иначе устроен. Но тот дерзкий блеск, что был в его глазах до войны, почему-то поблек. И глаза, что смотрели на всех с уверенным спокойствием, даже с пренебрежением, теперь опущены, а когда он их поднимает, то веки у него дрожат, как будто он смущается. И нет прежней беззаботности, и надменность исчезла. Может, она просто не видит, что он страдает?

Так внезапно вырвали его из ставшей привычной за долгие годы колеи. Разбитая, потрепанная бригада отведена в тыл на переформирование, ее остатки рассовывают по другим дивизиям. Он слоняется без дела — ни назначения, ни суда, ни приговора. Даже не обвиняют ни в чем. Только в воздухе носится что-то жестокое, напряженное, угадывается во взглядах друзей и недругов, которые отводят глаза. И что-то чужое, непроницаемое — во взглядах вышестоящих командиров. И эта докладная Амирама. Новый генерал предлагает: "Берко, а не взять ли тебе отпуск на годик? Хочешь — два года университета за счет армии? Заживешь, как помещик, а!"

Он потрясен, он все еще не верит в свое падение:

— В университет? Да вы с ума сошли!

Тогда еще в нем оставалась злость, остервенение, он еще не сдавался:

— Слушай, командир, если у вас есть что-то против меня, так выкладывайте открыто, черт возьми. Я уже пять месяцев слоняюсь без дела. Хватит крутить, если есть что — всыпьте, ко всем чертям!

Но все молчат, а воздух вокруг все разреженнее.

А она по-прежнему с ним. Он не предлагает ей уйти, он не хочет рвать с ней. И вот она с ним — как печать, подтверждающая его вину. Общий позор словно приковал их друг к другу. Ей чудится, что все тычут в нее пальцем. Никто ни слова, ни шепотка, но она видит и слышит все.

— Не сдавайся! — говорит она ему. — Слышишь? Не сдавайся!

Но он, брошенный теми, кто когда-то преклонялся перед его спокойствием, уверенностью, силой, понуро отправляется к новому начальнику генштаба. И возвращается молчаливый, упавший духом, и в глазах его нет больше прежней, задорной искры. Ей удастся выпытать совсем немного. Разговор в генштабе был короткий — словно отрубили.

— Оздоровление армии, — произносит он с горечью и закуривает, — а я — тот аппендикс, который надлежит удалить.

И невесело усмехается.

Позже она узнает от других, что его ни в чем не обвиняли. Даже амирамовскую докладную не подняли. Наоборот, пели дифирамбы. И все-таки — словно топором отрубили.

Через три дня он снимает форму.

— В сущности, — говорит он, — оно даже неплохо, попробовать поучиться. Ты только представь: я — студент!

И вновь усмехается, не очень-то весело. И конечно ни на какую учебу не идет, даже не записывается. Может, ему не по себе среди университетского молодняка?

— Да ты попробуй хотя бы, — убеждает она. — Ты наверняка сможешь, только решишь, потерпи месяца два-три.

Он делает кислую мину:

— Оставь, Ники, ей-Богу. Не лежит у меня душа.

И замолкает. Потом, словно про себя, роняет:

— Сделали из меня прокаженного. Я должен соскрести это с себя.

Она едва не выкрикнула ему тогда, со всей яростью: "Соскрести? Да это же сидит в твоей душе!"

Но она сдается. Что-то обрывается в ее душе. А он начинает свою молчаливую борьбу. Отчаянно ищет оправдания. Ей хочется, чтобы он боролся не так. Но разве он обязан бороться так, как нравится ей? И она бешено хлопает дверью. Долгие часы бродит по улицам, опускается на пляжи, сидит в кафе. Ловит на себе двусмысленные взгляды. Возвращается домой разбитая.

Так оно и идет. Их квартира. Его встречи в университете. Взгляды на улицах, на театральных премьерах, на которые она его упорно тащит. Их фамилии на почтовом ящике и возле кнопки звонка. Пустые, бесследно обтекающие дни. Вечера перед телевизором. Боль. Долгие ночи — без отдыха для тела, без утешения для души. Удушье. Сумерки по утрам, за опущенными жалюзи. Стыд. Соседи. Его опущенные глаза. Ее враждебность. Приближающаяся к нему старость. Ее желание выйти, пойти, побежать и никогда не возвращаться. Ее капитуляция. Нетерпеливое ожидание его прихода. Ненависть, пробуждающаяся в ней, когда обрывается знакомый шум его машины внизу, у дома. Слабость, опустошенность, пепел гнева и надежд, остающийся после отчаянной, тяжелой и потной ночной страсти. Беспокойный сон и пробуждение в одиночестве. Стыд. Знобящий душ по утрам, когда душа вновь пускает ростки — обтекающий тело и не смывающий ничего. Мама, мамочка, погорела я, не могу больше!

Каждое утро возвращается к ней весна, а она сеет только ненависть и месть. Вот она натягивает тонкую, плотную кофточку на прохладное, влажное тело. Пропитанная водой ткань облепляет грудь, живот, треугольник лона. Такое прекрасное тело, изведавшее все муки любви, но и поныне, на диво, жаждущее этих мук. Она встряхивает свои красивые, длинные волосы — они разлетаются веером, и водяные брызги вокруг вспыхивают яркой радугой под солнечным светом из широко распахнутого окна. Она набирает номер библиотеки, ждет, слышит голос Ционы. "Господина Берко, пожалуйста" — говорит она, и ждет, откашливается, слышит его осторожное, готовое к самому худшему "алло". Меняя голос, произносит:

— Это господин Берко Адар? Вы извините, я говорю из Иерусалима. — Она нарочно делает паузу, выжидает. Она чувствует, как в ее жилах все стремительнее бежит кровь, и словно видит, как бледнее его лицо. Она знает, что ей удалось, еще как удалось! — Мне вправду жаль, если я помешала. Но мне нужно с вами поговорить.

Он напряженно, беспомощно молчит.

— Это Цедербойм Пнина, — говорит она чужим голосом.

Ровный, тихий голос молодого парня из опорного укрепления Ф. бьет ему сейчас в ухо — она это знает. Как она до сих пор не додумалась?

— ...Вдова Цедербойма Ядидии, мир его праху, — выговаривает она тихо. — Того, что в Ф., на Суэцком канале... — и замолкает. Почти вынуждает его заговорить.

— Да... — говорит он оттуда, из библиотеки. — Я помню.

Он не умеет лгать. Он никогда не лжет. Ей так хочется, чтобы он солгал хоть сейчас, чтобы начал выкручиваться.

— Вы, господин Адар... я так слышала... мне говорили, что вы... разговаривали с ним по телефону перед... до того, как...

Через даль в многие дни она слышит, как он бессильно кашляет.

— ...Вы не подумайте, господин Адар, будто я сержусь... или что-то еще... Я понимаю положение...

Она ощущает его боль и без слов.

— Я должна с вами поговорить, господин Адар. Не можете ли вы со мной встретиться? Приехать в Иерусалим?

Она замолкает в ожидании его ответа. Он говорит приглушенно, медленно, без уверток. Он всему верит. Чист. Виновен.

— Нет, правда, господин Адар. Это просто потому, что... ведь четверо малышей. Старшему-то всего семь... Так что мне немного трудно приехать в Тель-Авив, понимаете?..

Он понимает. Предлагает встретиться в Иерусалиме, в кафе.

— Нет уж, пожалуйста... пожалуйста, не в кафе. Этак... этак для меня неудобно. Вы, конечно, понимаете? Может быть, лучше... — она запинается — ...лучше так сделать, чтобы в доме? Так будет гораздо лучше... Так когда, по-вашему, господин Адар?

Затем она кладет трубку. Почти голая, опускается в кресло, вытягивает ноги, расслабляется, закрывает глаза. Привычная, сверлящая боль тускнеет и успокаивается. И Николь вновь погружается в свое видение — песчаную степь, распростершуюся до самого края света, — и вновь бежит — в сандалиях и защитного цвета армейской форме — к тем красавцам-парням, чьи лица под маской пыли, в защитных очках — по ту сторону закатов, за кровависто-золотой небосклон, а эти парни с огромной любовью протягивают ей навстречу руки...

*Перевел с иврита Валерий Кукуй,
при участии Рафаила Нудельмана*

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Принято считать, что различия между Маарахом и Ликудом остались лишь во внешней политике. В действительности дело обстоит не вполне так. Различия, притом принципиальные, между "левыми" и "правыми" в Израиле есть и в вопросе о путях развития общества в целом. Из статьи М. Агурского видно, что израильский "новый социализм" ищет выхода из нынешних трудностей в отказе от современной мегатехнологии и урбанизации и возврате к "почве", физическому труду и небольшим самодельным общинам, а интервью Ю. Неемана демонстрирует, что израильский "новый либерализм", напротив, видит решение тех же трудностей в ускоренном технологическом прогрессе и переплавке общества в котле научно-промышленной революции.

Сегодняшние "левые" и "правые" причудливо поменялись местами: "левые" предлагают обществу проверенную безопасность консерватизма, "правые" — опасную свободу радикального поиска. Их внешне-политические различия: изоляционизм первых и активизм вторых — лишь следствия этого глубинного различия.

Михаил Агурский

СОВМЕСТИМЫ ЛИ СИОНИЗМ И СОЦИАЛИЗМ?

(Доклад, прочитанный на заседании центра им. Мартина Бурба в Иерусалиме).

Политическое и общественное развитие Израиля в последние годы сильно напоминает нечто такое, что может быть названо реакцией. Конечно же, это не та реакция, которая ставит под угрозу права человека. В этом смысле можно наблюдать скорее обратное — что-то, похожее на растущую анархию.

Но имеет место другая реакция — реакция против "социализма", против израильского социализма, который многие люди обвиняют в том, что он несет ответ за все несчастья Израиля, за все его трудности, за инфляцию, за нравственное разложение, за раскол между различными этническими группами, за коррупцию чиновников и прочее.

Конечно, было бы нереалистичным утверждать, что ничего подобного в Израиле нет и что все обвинения такого рода являются плодом воображения или клеветой. Однако, чтобы доказать эти обвинения, надо сделать по крайней мере две вещи: 1) установить причинную связь между израильским социализмом (в той мере, в какой он материализовался) и упомянутыми отрицательными аспектами израильской жизни; 2) проанализировать, что можно сделать для излечения этой болезни.

Когда мы говорим сейчас о сионизме, мы прежде всего име-

ем в виду еврейское национальное движение, имеющее своей целью создание и укрепление еврейского государства. К сожалению, в настоящее время стал утрачиваться социальный аспект сионизма: его общественный радикализм. А ведь почти с самого возникновения сионизма в нем появилось радикальное течение, стремившееся создать не только еврейский национальный очаг, но и справедливую общественную систему. Более того, для этого течения сионизм был бунтом не только против национального угнетения евреев, но и против сложившихся социальных отношений внутри еврейского мира. В тот период, несмотря на начавшуюся интеграцию евреев в разных обществах, подавляющее большинство евреев находилось под сильным контролем традиционной еврейской буржуазии, в значительной мере сросшейся с религиозными кругами. Поэтому тот, кто предпочитал оставаться в среде еврейской общины, не мог не испытывать глубокой зависимости от нее. Как известно, еврейская молодежь того времени испытывала глубокое влечение к революционному движению в странах своего проживания, в особенности в России. Более того, известно, что участие в революционном движении было своего рода "приличной" ассимиляцией, ибо обычная ассимиляция требовала крещения, а кроме того даже в этом случае не обеспечивала подлинного равноправия. Участие же в революционном движении означало и бунт против собственной буржуазии.

Однако почти с самого начала участия евреев в революционном движении возникли и различные течения, не выходявшие за еврейские национальные рамки. К ним принадлежал Бунд. К ним принадлежала и радикальная ветвь сионизма, наиболее ярким представителем которой был Нахман Сыркин. Сыркин подчеркивал необходимость борьбы с буржуазией. "Сионизм, — по его словам, — удаляет маску (с буржуазии — М. А.) и представляет ее, как она есть, людьми без чести и уважения, чьей общественной целью является накопление денег". Сионизм, говорил Сыркин, призывает евреев к протесту. Более того, Сыркин обвинял еврейскую буржуазию (как, впрочем, и любую буржуазию угнетенных наций) в том, что она отвергает национализм и проповедует ассимиляцию, исходя из своих экономических интересов. Сыркин резко обвинял и официальных представителей иудаизма — в том, что образовав союз с еврейской буржуазией, они тем самым преследуют антинациональные цели. Особенно критически относился он к

реформистской синагоге, где, по его словам, буржуазия молится всемогущему доллару.

Здесь невозможно останавливаться на общеизвестной истории социалистического сионизма, много важных страниц к которой добавил недавно проф. Ионатан Френкель в своей книге о социализме среди русских евреев. Однако следует подчеркнуть, что тот факт, что сионизм восстал против традиционной структуры еврейской общины, не ушел от внимания даже самых крайних русских антисемитов. Так, Алексей Шмаков, который был одним из обвинителей на процессе Бейлиса, писал в 1906 г., что “сионизм — это революция внутри самого еврейства, восстание против старейшин синагоги”. Впрочем, по словам Шмакова, эта революция “не обещает гоям ничего хорошего”.

Была ли радикальная составляющая сионизма случайной в его истории или же это было возрождением старой еврейской традиции?

С полной уверенностью можно утверждать, что такая традиция существовала всегда и что она глубоко коренится в еврейском религиозном сознании. Поэтому любое обуржуазивание, любое приспособленчество в еврейской жизни рано или поздно будет взорвано.

В 1969 году в Париже состоялся коллоквиум еврейской франкоязычной интеллигенции. В одном из докладов на этом коллоквиуме проф. Андре Неэр сказал, что революционером был уже Моисей, ибо и Исход был сам по себе революционным отрицанием действительности. “Бог Исхода, — сказал Неэр, — оспаривает существующее творение”. Но как сказал мне как-то ортодоксальный раввин Менахем Фурман: почему только Моисей, почему не Авраам? Разве Авраам не совершил Исход в своем бегстве из страны Ур? Разве не был и он отрицателем действительности подобно Моисею? Выйдя из Ура, Авраам оспорил существующий порядок вещей, он не признавал его, решая проблему Исходом — удалением, творением нового порядка *ex nihilo*. Таким образом, сионизм как форма протеста, выражающегося в Исходе и творении *ex nihilo*, глубоко коренится в еврейском религиозном сознании. В нем глубоко заложен протест против существующего положения, против ложных религий, против несправедливой системы, против самоуспокоенности и самодовольства, против всякого духовного и общественного *status quo*. Надо сказать, что подобный феномен можно наблюдать во многих народах, но еврейский народ по общему призна-

нию является народом протеста par excellence. Разумеется, это свойство не является достоянием всех без исключения евреев и даже не большинства евреев. На примере исхода из Египта, как исторического прототипа массового протеста, можно видеть, что Моисей был почти одиночкой, и энтузиазм народа, который он возбуждал, был не всегда надежным фактором.

Может быть, поэтому другой французский интеллектуал Владимир Раби сказал на том же коллоквиуме: "Хотя евреи участвуют в большинстве революционных движений, народ еврейский в своем абсолютном большинстве стал народом самым консервативным и самым реакционным".

Скорее всего, Раби преувеличивает, но тот факт, что и такая тенденция имеет глубокие корни в еврейском сознании, несомненно. Истина состоит, по-видимому, в том, что еврейское сознание как массовый феномен очень поляризовано, так что и радикальный протест, и конформизм являются его неотъемлемыми частями. Я думаю, что в этом оно ничем не отличается от других национальных сознаний, но разница, может быть, состоит в степени поляризации и в интенсивности полярных выражений. И в этом евреи, в самом деле, вряд ли имеют себе равных.

Хотелось бы добавить следующее. Еврейский религиозный мир (в противоположность тому, что утверждал Сыркин) отнюдь не был защищен не только от бациллы сионизма, но и от бациллы радикализма. Это показывает и движение религиозного сионизма — Мизрахи, это показывает позиция рава Кука* и всего вызванного им движения, которое является движением существенно антибуржуазным, резко отличающимся от буржуазной Агудат Исраэль.

Еврейский религиозный мир никогда не представлял собой единого целого — он содержал в себе также и сильную антибуржуазную струю, струю вечного протеста. Это никак не было привилегией секулярного мира.

Не вдаваясь в историю государства Израиль, можно утверждать, что все лучшее, все оригинальное в нем было создано именно благодаря импульсу радикализма, благодаря импульсу протеста, исходившему как от секулярных, так и от религиозных кругов.

* Рав Кук — крупный религиозно-общественный деятель Палестины предгосударственного периода, отстаивавший идею тесного сотрудничества религиозного и нерелигиозного еврейства (последнее он считал "бессознательно" исполняющим волю Бога); из его ешивы впоследствии вышли идеологи движения Гуш Эмумим.

Увы, все в мире имеет тенденцию к вырождению. Причина для этого находится всегда. В этом можно видеть одно из фундаментальных противоречий человеческой жизни, ее трагедию. Действительно нет решительно ни одной идеологии, ни одной идеи, ни одной концепции, которая не была бы скомпрометирована после ее успешного первоначального воплощения. Никакая религия, никакая философия не защищена против собственного вырождения. Скомпрометировано все: национализм и космополитизм, радикализм и консерватизм, демократия и авторитарное управление, религия и атеизм, активность и пассивность, богатство и бедность, строгая семейная жизнь и свободная любовь, дискриминация женщин и женская эмансипация и т. д.

В мире нет ничего устойчивого и защищенного от порчи. Человек постоянно меняется, и нежная любящая Евгения Гранде из романа Бальзака становится омерзительной скрягой.

Но это вовсе не означает, что присущая всему способность потенциального вырождения обязательно компрометирует первичную идею. Никакая идея не может быть осуждена на основании такой опасности.

Судьба израильского социализма не отличается от судьбы любой новой духовной, нравственной или общественной идеи. Но здесь нужно прежде всего избежать смешения терминов, ибо слово "социализм" имеет общий знаменатель со всеми тоталитарными системами, с системами государственного капитализма, с национал-социализмом и прочим. Всякий, кто называет себя "социалистом", будет, вероятно, утверждать, что он стремится к социальному равенству. Однако смысл социального равенства сильно различается в различных течениях, называющих себя "социалистическими". И смешать их в одно означало бы то же самое, что смешать в одну группу всех тех, кто хотел бы, например, жить "в государстве" — не упоминая, в каком именно.

Люди обычно становятся жертвами слишком далеко идущих обобщений. Если мы теперь перейдем к израильскому социализму, то легко видеть, что это скорее **уникальное** явление (несмотря на то, что большинство израильских социалистов думали и думают, будто их социализм универсален).

Молодые сионисты, приступая к созданию еврейского государства, не хотели экспроприировать еврейских капиталистов. Они

хотели построить новое социалистическое государство с помощью эмиграции в Палестину. Сионистский социализм никогда не носил тоталитарный характер. Он не пытался создать обязательный для всех образ жизни. Социалистический сектор был лишь одним из секторов израильского общества. Тот, кто не хотел жить в социалистических общинах, мог жить, как ему вздумается.

Но с самого начала "мирная" сионистская революция создала двусмысленные отношения с крайне буржуазной еврейской диаспорой, которая непоследовательно разделяла национальные стремления сионистов. Сионисты создали свой собственный центр власти, политически независимый от лидеров диаспоры, но им приходилось пользоваться их финансовой поддержкой, которая не могла не влиять на внутренние израильские дела. Это оказалось существенным фактором будущего вырождения.

Сионисты-социалисты вдохновлялись желанием вернуться на землю, жадной физической работы, стремлением стать сельскохозяйственной нацией. Они в этом преуспели, но очень скоро цветущее израильское сельское хозяйство сделало новых "крестьян" богачами, забывшими ранние идеалы и начавшими использовать наемный труд. Израильский социализм хотел построить свою жизнь по образцам общины. Он преуспел в этом, но позднее общины превратились в замкнутые привилегированные группы с их строгими правилами приема, напоминающими правила самых кастовых клубов.

Израильский социализм хотел создать гуманное общество, свободное от средневекового наследия. Его гуманистические ценности были достаточно сильны в ранний период израильского общества, поскольку он бессознательно исходил из секуляризованного иудаизма, но попытки перенести эти ценности на неподготовленные к этому традиционные восточные общины имели разрушительные последствия. Кроме того, сами выходцы из европейских стран стали терять впоследствии свои первоначальные гуманистические ценности.

Социалистический коллективизм был основой израильской государственной системы, но и он вскоре подвергся коррупции, поскольку социологически мог легко превратиться в нечто, похожее на мафию. Не потому, что коллективизм плох в своей основе, но в силу человеческой способности извращать все.

Да, израильское общество больно (хотя это и не смертельная болезнь), но какое лекарство предлагается для его излечения?

То, что мы наблюдаем сегодня — это антиссионистское восстание еврея диаспоры под покровом ультра-сионизма. Идет общая атака против лучших достижений сионизма, которые *par excellence* были социалистическими и основа которых сохранилась в рудиментарной форме почти в любой части израильского общества. Еврей диаспоры ненавидит физический труд, он ненавидит сельское хозяйство. Вот почему он инстинктивно хотел бы разрушить то, что было достигнуто столь тяжелым трудом. Еврей диаспоры ненавидит коллективизм, и он хотел бы разрушить весь израильский общинный социализм в принципе. Еврей диаспоры, живущий в Израиле, “подкуплен” евреями-капиталистами диаспоры и устал от остатков своей независимости.

Конечно, лидеров Ликуда никак нельзя отождествлять с евреем диаспоры. Но волей-неволей они полагаются именно на него в своей борьбе за власть. Именно он является их базой власти. А этим они разрушают самые основы израильского общества, ибо оно не сможет пережить окончательного разрушения израильского социализма.

Какова же альтернатива? Защищать израильское рабочее движение в том виде, в каком оно имеется? Ни в коем случае! Это движение является результатом **разложения** израильского социализма. Единственным выходом из положения и единственной национальной надеждой является социалистическое **возрождение**, которое может быть осуществлено как в существующих общественных рамках, так и вне их.

Что особенно важно при этом — чтобы все принципы потребительского общества, положенные в основу израильской социалистической системы, получили должную переоценку.

* * *

Вопрос об отношении к потребительскому обществу является пробным камнем для любого социалистического течения. В самом деле, в настоящее время почти все мировые общества, как называющие себя капиталистическими, так и называющие себя социалистическими, едины в самом главном, а именно — в их потребительском характере, и поэтому “социализм” коммунистических стран ни в коем случае не является общественной альтернативой капитализму. Их общественные системы построены на принципе максимизации потребления и отличаются в мере удовлет-

ворения этих потребностей. Советское общество не справляется с этой задачей в области продовольствия не из-за того, что в СССР нет потребительского общества, а только потому, что неограниченный промышленный рост, необходимый для создания военно-промышленного комплекса, разрушил советское сельское хозяйство, отсосав из него почти все русское сельское население.

Основой современной экономики во всех развитых странах является массовая промышленность. Она использует специальное дорогое оборудование, которое может быть применено только для определенного типа продукции. Автомобильный завод, производящий легковые автомобили, не может производить ничего, кроме легковых автомобилей, хотя их модели могут меняться. Таким образом, построив такой завод и набрав для него рабочую силу, ни капиталистическая кампания, ни государственная экономика не могут изменить характер своего производства и в случае насыщения рынка своей продукцией должны прибегать к стимулированию спроса.

Потребительский характер общества определяется, таким образом, видом техники. Эта мысль, могущая показаться парадоксальной, была высказана еще Льюисом Мэмфордом, который говорил, что каждое общество создает свой вид техники, который вовсе не носит абсолютного характера. Технику капиталистических стран, которая полностью унаследована и в СССР, Мэмфорд называл "мегамашинной". Покуда существует такая мегамашина, говорил Мэмфорд, все общества, построенные на ней, будут страдать от связанных с ней социальных пороков.

Мэмфорд и многие другие мыслители, начиная с 19-го века, предлагали развивать гуманные виды техники, не связанные с гонкой потребления, которая является неотъемлемым последствием массовой промышленности.

Израильский социализм в силу условий своего возникновения создал ячейку общества — киббуц, резко отличающуюся от мегамшины Мэмфорда. Однако остальная часть израильского общества развивалась как подражание образцам экономики западного мира и создала массовую индустрию высокого уровня, которая в конце концов привела к тем же хроническим недостаткам, которые эта индустрия породила и на Западе, и на Востоке. В конечном счете, в сферу массовой индустрии оказались вовлеченными и сами киббуцы, которые стали создавать такие предприятия

и зависеть от общей нестабильности мировой экономики потребительских стран. То, что израильское общество носит глубоко потребительский характер, ни у кого не вызывает сомнения, но и не вызывает осуждения, поскольку все силы израильского общества уходят на противостояние арабским странам. Промышленный рост, основанный на постоянном стимулировании потребления, ведет не только к укреплению капитализма во всех его формах, он создает ряд социальных и политических проблем, а кроме того порождает глубокий экологический кризис, ибо на растущую потребительскую экономику уходит множество естественных ресурсов, которые вовсе не являются неисчерпаемыми. Об этом говорят тревожные доклады "Римского клуба", об этом говорят многочисленные труды экологов, об этом говорит мощное экологическое движение во многих странах, которое является частью движения социального протеста.

Иногда создание массовой промышленности объясняют интересами обороны страны, которые требуют производства вооружения. Но следует иметь в виду, что в силу несовершенства современной технологии такое производство оказывается специализированным, а после насыщения внутренней потребности начинает зависеть от продажи оружия за границу и увеличивает потребность Израиля в ресурсах. Таким образом, возникает особо опасная общественная конфигурация — военно-промышленный комплекс, заинтересованный в постоянном росте военного бюджета и в гонке вооружений. Конечно, израильский военно-промышленный комплекс не идет ни в какое сравнение с американским и советским военно-промышленными комплексами, тем не менее и он всегда готов превратиться в неконтролируемое прожорливое чудовище, нуждающееся для своего развития в военной напряженности. С другой стороны, в Израиле существует пренебрежительное отношение к мелким ремесленникам, мастерским, гаражам и т. п. малым предприятиям, которых так много в стране. Между тем, в так называемой "малой экономике" нет ничего плохого, напротив — в ней больше истинного приложения человеческих усилий, собственного достоинства и социальной справедливости, чем в любом крупном предприятии. Ей нужна лишь новая техника, специально предназначенная для индивидуального и мелкого производства.

Есть еще одна черта, от которой истинный израильский социализм должен освободиться. Дело в том, что израильская рабочая

партия в значительной мере ориентируется на технократию, которая рассматривается как наиболее рациональная общественная сила в противовес “иррациональной” бюрократии. Это совсем не так. Технократия как общественная группа заинтересована (для усиления своего статуса) в экономическом росте, который иногда может идти вразрез с истинными интересами страны. Технократы более, чем любая другая группа населения, заинтересованы в гонке потребления и гонке вооружения. Традиционный израильский социализм слишком тесно сросся с технократией, и разорвать эту связь — одна из главных задач нового израильского социализма.

Израильское общество скопировало иностранные экономические системы, полагая, что цель Израиля состоит в равнении на Запад. Можно однако утверждать, что в этом, напротив, одна из основных слабостей Израиля. То, что еще терпимо в Швеции или даже в Италии, нетерпимо в Израиле. Можно полностью согласиться с тем, что сказал в 1976 году Эфраим Арази: “Наша жизнь является неудачной мутацией жизни, временно процветающей в западных странах... Мы преуспели в подражании беспочвенности т. н. индустриальных обществ, которые расплодились после второй мировой войны”.

Израильский социализм должен означать решительный отход от подражания общественным системам как Запада, так и Востока, что столь вредно сказывается на нашей жизни.

Другой ключевой вопрос — это вопрос о политической системе. Еврейская политическая традиция древности всегда была связана с ограничением центральной власти и гарантиями личных и религиозных свобод. Сквозь всю еврейскую историю красной нитью проходит отрицание идеи центральной власти в пользу плюралистической — даже анархистской — структуры общества. По существу, раннее кибуцное движение было движением анархистским, и Авраам Давид Гордон* не скрывал своего отрицательного отношения к центральной власти.

Я считаю, что истинный путь израильского социализма — это путь создания общества, управляемого идеалами анархизма, общества, состоящего из отдельных общин с минимальными органами центральной власти. Даже если этот идеал и неосуществим

* А. Д. Гордон — глашатай лозунга возвращения евреев к “почве”, физическому труду и “здоровой нравственности”

до конца, важно двигаться в его направлении, и любое такое продвижение имеет большую ценность.

Вряд ли нам следует опасаться этнического плюрализма. Напротив, именно он (а не общее этническое смешение) придал Израилю существенную жизненную силу. Дело однако в том, будет ли израильское общество урбанизированным (каким оно является в основном сейчас) или же под действием энергетического и экономического кризиса рассосется на отдельные общины.

* * *

Новое движение должно избавиться от старых ошибок. Прежде всего, оно должно вобрать в себя традиционные ценности. Я вполне разделяю позицию Арье Нахамкина, который смог различить высокие нравственные ценности среди молодых религиозных солдат. Я уже говорил о том, что израильский социализм имеет глубокие религиозные корни, и я думаю, что не будет парадоксом сказать, что израильское поселенческое движение — по крайней мере, на первых порах — имело в значительной степени антибуржуазный, антипотребительский характер (во всяком случае, в его идейной части) и представляло собой своеобразный Исход из буржуазного общества. Разумеется, это движение неизбежно оказалось в сложном контексте внутренней и внешней политики. Но мне представляются странными нападки глубоко буржуазной публики на самоотверженных людей, живущих в трудных и опасных условиях и пренебрегающих многими благами современной цивилизации. Кто здесь “левый” и кто “правый”?

Новому социализму необходимо отмежеваться от “социализма” советского и западного типа. К сожалению, отождествление с ними продолжает иметь место не только в МАПАМ,* но даже и в МАПАЙ**.

Ора Намир*** не скрывала своего восхищения перед мнимыми “достижениями” советской системы в области образования, которые почти открыто критикуются в самом Советском Союзе. Это исключительно опасная иллюзия, постоянно ориентирующая Израиль на модель государственного социализма. Необходимо наконец понять, что борьба против советского империализма не

* МАПАМ — израильская левосоциалистическая партия.

** МАПАЙ — сегодня то же, что рабочая (социал-демократическая) партия.

*** Ора Намир — активистка МАПАЙ, побывавшая с делегацией в СССР.

дискредитирует вечные человеческие устремления к социальной справедливости. То же самое относится к т. н. "западному" социализму, который является наиболее ярко выраженной формой потребительского общества, не решившей ни одной из проблем, страдающей от тех же пороков, что и другие страны.

* * *

Авраам Давид Гордон прибыл в Эрец Исраэль в возрасте 48 лет, один, без какой-либо специальности. Несмотря на это, он начал новое мощное движение. Может ли кто-нибудь указать на кибуц, который принял бы Авраама Давида Гордона, если бы он приехал в Израиль сегодня — как новый иммигрант, без денег и специальности, в том же возрасте? Я почти уверен, что каждый кибуц отверг бы его с порога. Это величайшее испытание для израильского социализма. Я мог бы сказать: "Если вы снова примете Гордона, это будет надежным признаком вашего здоровья. В противном случае вы исчезнете, а наше государство будет разрушено взбунтовавшимися евреями диаспоры".

Но и теперь, даже в сегодняшней ситуации, я безусловно поддерживаю Деганию и Сде Бокер, Хульду и Нахшон против Махане Иехуда и Шук а-Кармель.*

Надо понять, что это не восточный еврей бунтует против европейского еврея. Махане Иехуда, Шук а-Кармель и улица Лиленблюм** были созданы ашкеназийскими евреями. А многие восточные евреи живут в сельскохозяйственных поселениях.

И в конце, я хотел бы добавить несколько пессимистических нот. Пройдет много лет и вполне возможно, что то возрождение, о котором здесь говорилось, осуществится. Но снова пройдут годы, и это возрождение снова подвергнется неминуемому вырожждению.

* Дегания, Сде Бокер, Хульда, Нахшон — названия кибуцов Израиля; Махане Иехуда и Шук а-Кармель — название главных рынков Иерусалима и Тель-Авива.

** На улице Лиленблюм в Тель-Авиве находится израильская биржа.

— *Исполнилось четыре года с тех пор, как мы впервые брали у вас интервью для "22". Тогда вы сказали, что главной задачей вашей партии будет возрождение сионизма. Сейчас, накануне новых выборов, считаете ли вы, что продвинулись по этому пути?*

— Сионизм — это динамический процесс. Он развивается, как симфония, и нельзя прервать исполнение в каком-то месте, сказав — вот, цель достигнута. Как во всяком процессе, есть подъемы, есть ошибки и неудачи...

— *Тогда, в первом интервью, вы определили главные цели "нового сионизма" как "независимость, силу, безопасность". Ближе мы сегодня к достижению этих целей или дальше?*

— Независимость — вопрос прежде всего экономический. Я бы сказал, что в интегральном плане наша независимость возросла. Ливанская война, события в Персидском заливе показали Соединенным Штатам важность нашего присутствия здесь, значение союза с нами. Наше стратегическое сотрудничество с американцами стало более равноправным. Независимость наших действий сегодня больше.

Есть сдвиги и в экономическом плане. Многие западные фирмы заинтересованы во вложениях в наше развитие. Но в целом в экономике остается зависимость от американской

Ювал Неэман

**ПУТЬ ИЗРАИЛЯ —
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ**

(интервью для журнала "22")

помощи. Мы берем у них займы, и наш внешний долг вырос до 21 миллиарда. Почему это произошло? В 1980 году наш долг составлял всего 10 миллиардов. Иными словами, он возростал на 2,5 миллиарда в год. 2,5 миллиарда — это цена, которую мы платим за энергию — за нефть, а в последнее время — за уголь. Мы вынуждены одалживать эти деньги, потому что отдали нефтяные месторождения Синай. Так что наш внешний долг — это плата за мир с Египтом.

Наша сила, безусловно, возросла. Ливанская война это показала. Но сила еще не означает безопасность. Проблема израильской безопасности, и я это говорил всегда, связана с Иудеей и Самарией, с их заселением. За последние четыре года наша партия, Тхия, сделала очень много для развития поселений. Мы поставили условием своего вхождения в коалицию предоставление нам поста председателя министерской комиссии по поселениям. Сегодня у нас в Иудее и Самарии 40 тысяч еврейских поселенцев. Но я опасюсь, что этого недостаточно. Ситуация еще не стала необратимой. Если бы люди, вроде Абу Хацейры и Бен-Пората, не привели к досрочным выборам, через год, к концу нормальной каденции нынешнего правительства, у нас было бы 80 тысяч поселенцев, и ситуация в Иудее и Самарии необратимо изменилась бы в нашу пользу. Сегодня она еще обратима, и это может привести к сложностям.

— *Какие именно сложности вы имеете в виду?*

— Я опасюсь возможных действий Маараха, если он вернется к власти. Маарах одержим идеей уйти из так называемых густо заселенных (арабами) районов Иудеи и Самарии. У лидеров Маараха есть “коммитментс”, обязательства перед лидерами Социалистического Интернационала, с которыми они тесно связаны. Они дали понять, что, придя к власти, заморозят поселения и пойдут на территориальные уступки.

— *Но для “территориального компромисса” нужна вторая сторона, партнер в переговорах, а такого партнера на арабском горизонте не видно?..*

— Это ничего не значит. Маарах может преподнести арабам “подарок”. Это покажет Западу, что Маарах выполняет свои обязательства. В 1974 году Перес уже предлагал отдать Иордании район Йерихо. Тогда расчет был на то, что, приняв подарок, Хуссейн как бы подтвердит наши права на остальную долину Иордана. Хуссейн разгадал этот маневр. Он потребовал возвращения всей иорданской долины, и план провалился. Сегодня Хуссейн не может

пойти на переговоры. Арабы разрешат ему вступить в переговоры только на условии возвращения всей Иудеи, Самарии, а также восточного Иерусалима. Маараху не с кем вести переговоры, но он должен сделать жест по отношению к Западу. И вполне возможно, что он попытается предложить Хуссейну район Йерихо с коридором к Шхему или Хеврону. Это, кстати, соответствует маараховским идеям "территориальных уступок". Именно этого я опасаясь в случае победы Маараха.

— В случае такой победы готовы ли вы вступить в блок с Маарахом? Может быть, существует, чтобы лидер националистических сил входил в новое правительство?

— На это я отвечаю однозначно "нет". Партнерство Тхии с Маарахом сегодня невозможно. Если Маарах откажется от своих планов, заявит, например, что откладывает на пять лет идею переговоров, потому что их все равно не с кем вести, согласится продолжать заселение Иудеи и Самарии, тогда другое дело. Но сегодня Маарах говорит только о заселении определенных районов и оставляет открытой возможность уступок в других. И представляется, что он всерьез готов реализовать эту возможность путем односторонних шагов.

— В этом вы видите принципиальную разницу между Маарахом и Ликудом?

— Да, в вопросе об Эрец Исраэль. В Маарахе по этому вопросу господствует концепция Йоси Сарида. Он не входит в пятерку лидеров Маараха, но пятерка учитывает его концепцию, находится под ее влиянием, — точно так же, кстати, как Ликуд в этом вопросе находится под влиянием Тхии. Если бы не Тхия, Ликуд от многого бы отказался. Ликуд сохраняет свою линию благодаря нам, как Маарах сохраняет ее благодаря группе Сарида.

В остальном я, по правде говоря, не вижу особой разницы между Маарахом и Ликудом. Конечно, есть различие в темпераменте. Маарах утратил сионистскую мотивацию. Для его лидеров вершиной халуцианства все еще остаются кибуцы. Это внушает мне ужас: кибуцы, которые сегодня стали символом нуворишей большого размаха, — и халуцианство?! Это один из признаков вырождения маараховской элиты, утраты ею динамизма. В элите Ликуда сегодня больше возможностей для проявления новых динамичных сил. Но, конечно, с этим связана и опасность, что проявят себя новые силы, не являющиеся сионистскими.

В вопросах социальных, экономических разницы между Ли-

кудом и Маарахом, по-моему, нет -- ни в подходах, ни в решениях. Будет министром финансов человек Ликуда или Маараха, он будет делать приблизительно одно и то же, разве что человеку Маараха это будет легче — ему помогут профсоюзы.

— *Итак, по-вашему, главные израильские проблемы по-прежнему сводятся к проблеме Эрец Исраэль?*

— Не совсем так. Развитие сионизма не сводится только к решению проблемы Эрец Исраэль. Сионизм — это Эрец Исраэль плюс развитие Эрец Исраэль. И я, в своем двойном качестве — лидера партии и министра науки и развития, — пытаюсь объединить эти цели. Чтобы не возбуждать моих научных коллег, я иногда говорю: это я делаю, как лидер партии, а это — как министр, но внутри у меня нет такого раздвоения. Я целен и в ладу с собой: то, что я делаю в области науки и развития — тоже часть сионизма и необходимо для Эрец Исраэль.

— *Вступая в должность, вы говорили о намерении создать инфраструктуру современной израильской промышленности. Что сделано в этом направлении?*

— Люди поглощены текущими экономическими трудностями и не всегда сознают, что в Израиле идут и другие, более перспективные и обнадеживающие процессы. Складывается современная наукоемкая промышленность, в которой я вижу прообраз будущего Израиля. За последние 10 лет возникло около десятка крупных электронных фирм. Их оборот сегодня превышает 100 миллионов долларов в год. Назову “Эльбит”, “Эльсинт”, но есть и другие. У “Тадирана”, у объединения авиапромышленности оборот превосходит 300 миллионов. Но главное, — что доля этих фирм в израильском экспорте неуклонно растет. Несколько лет назад она составляла два-три-четыре процента. Сегодня они дают треть всего израильского промышленного экспорта. У других фирм вклад в экспорт снижается, у этих он только растет из года в год, невзирая на все наши экономические трудности.

Когда меня спрашивают, что будет решающим в мировой экономической конкуренции следующего десятилетия, я отвечаю — наукоемкая промышленность, индустрия информации. Важно завоевать место на этом рынке будущего, не опоздать. Сегодня эта промышленность во многих странах находится еще в зачаточном состоянии. В Австралии, например, министр науки столкнулся с яростным сопротивлением, когда попытался заговорить о развитии наукоемкой индустрии. Ему сказали, что Австралия пре-

красно обходится тем, что у нее уже есть, не нужно подозрительных новшеств. Возможно, Австралия может идти своим путем, но у нас иного пути нет. Мы уже на него вступили и преуспели. Мы уже "на карте" в этом вопросе.

– *Вы тоже встречаете сопротивление?*

– Не столько сопротивление, сколько непонимание, чаще всего – в организационных вопросах. У нас утверждены два основных района развития наукоемкой промышленности – Кармиель и Ариель. Я побывал в Кармиеле, я видел прекрасные предприятия – "Тадиран", "Эльбит", я увидел, что все, им обещанное, выполнено. Я спросил, чего им недостает. Мне ответили, что недостает формализации на государственном уровне. Это облегчило бы им привлечение иностранных кредитов. Мне понадобились два года, чтобы пробить эту "мелочь". Не потому, что кто-то был "против", нет. Но прежний министр финансов опасался, что это будет стоить денег, потом министр сменился и начались новые обсуждения. В результате, вопрос был решен только месяц назад.

Сейчас я проталкиваю развитие инфраструктуры в районе Ариеля. Я перевел туда средства из фондов министерства, заключил договоры со строительными фирмами. Но эти договоры до сих пор не подписаны – в министерстве промышленности никто этим не интересуется, никому не "горит", они заняты своими каждодневными проблемами.

– *Иными словами, это не политическое сопротивление?*

– Ни в коем случае. Я бы сказал, что сейчас больше понимания важности этой проблемы. Двадцать лет назад я никак не мог объяснить Сапиру, что наукоемкая промышленность важнее текстильной. Сегодня другая обстановка. Скажем, недавно прошла Иерусалимская международная экономическая конференция, и главное место на ней занимала израильская наукоемкая промышленность. Кое-кто предлагал отменить конференцию из-за выборов, но, к счастью, она состоялась. Я очень доволен этим – на конференции удалось завязать много новых деловых контактов. Я выступал там с докладом, меня попросили охарактеризовать специфику израильской наукоемкой промышленности. Среди прочего, я подчеркнул тот факт, что у нас половина кадров этой промышленности – выходцы из СССР, другая – выходцы с Запада. У нас возник своеобразный коктейль двух технологических культур, и это очень плодотворная смесь.

— Можно ли говорить, что текущие экономические трудности — еще не вся израильская реальность, что под спудом в Израиле происходит научно-промышленная революция, исподволь создающая новый облик Израиля? И не есть ли инфляция — часть нашей платы за это?

— С инфляцией это, по-моему, не связано. Инфляция зависит от других причин. Скажу откровенно — как человек науки, я не до конца понимаю механизм этого явления. Я не уверен, что кто-нибудь до конца понимает, даже если и говорит, что понимает. Расскажу поучительную историю. Прошлым летом министр финансов пригласил на заседание кабинета четырех профессоров-экономистов. Они сказали, что правительство должно сократить свой бюджет. Я ученый, и я спросил их: какие это будет иметь последствия? Они подумали и объяснили: если бюджет меньше, то меньше государственные заказы. Тогда промышленность вынуждена искать другие рынки сбыта, то есть увеличивать экспорт. А это уменьшит дефицит нашего баланса. Объяснение звучало красиво. Весьма возможно, что оно было даже верным. Действительно, сейчас наш экспорт увеличился. Но тогда я их спросил: а как это повлияет на инфляцию? Ответ звучал так. Инфляция возникает потому, что правительство тратит больше, чем получает. Этот разрыв составляет у нас два миллиарда в год, и именно на такую сумму мы вынуждены каждый год печатать новые деньги. Если сократить расходы на 2 миллиарда, то не будет нужды печатать дополнительные деньги. Мы сделали большое усилие и сократили бюджет — правда, не на два миллиарда, но, во всяком случае, на полтора. Прошло полгода, и я вижу, что деньги продолжают печатать, причем именно в том же количестве — двести миллионов в месяц, то есть те же два миллиарда в год. С месяц назад, на очередном заседании кабинета, где снова присутствовали профессора-экономисты (правда, уже другие), я задал вопрос: почему же, если мы последовали вашим советам, инфляция все-таки продолжается? Они посоветовались и ответили: из-за сокращения бюджета промышленность стала больше работать на экспорт, а в экспортном деле государственные налоги меньше, в результате уменьшились поступления в казну, так что разрыв между расходами и доходами сохранился... Спрашивается — разве раньше они это не могли предвидеть?! Видимо, не могли. Дело в том, что инфляция, выражаясь математически, — это сложная нелинейная система, где трудно предсказать, как отзовется изменение той или иной переменной.

— *Вы хотели сказать о научно-промышленной революции...*

— Да, такая революция происходит, причем происходит не только у нас, в Израиле, но во всем мире. Это революция в технологии информации, в технике компьютеров и связи. Она изменит облик всей нашей повседневной жизни. Мы, в Израиле, только начинаем заниматься этим. Проблема в том, сумеем ли мы “оседлать волну”, использовать ее для своего развития. Как министр науки и развития, я отдал много времени созданию комиссии для подготовки кадров в этом направлении. Необходимо, чтобы Израиль стал одним из ведущих экспортеров в этой области. Когда я увидел, что комиссия продвигается недостаточно, я сам вошел в это дело. Вы можете посмотреть брошюру, которую я распространил на недавней конференции по компьютерам, — там я предложил израильскую программу развития. Сегодня самое важное — выработать программу, правильно наметить самое выигрышное для нас направление, чтобы не дублировать других, а монополизировать какую-то область. Весь мир сейчас лихорадочно ищет такие направления. Японцы год назад сообщили, что они создали общенациональный институт компьютерной технологии — наполовину государственное, наполовину частное предприятие с бюджетом 100 миллионов долларов в год. Кстати, наш Эгуд Шапиро из института Вейцмана был одним из первых, кого туда пригласили. Дело в том, что сейчас, когда появились микрокомпьютеры величиной с ноготь, стало возможным соединять их друг с другом не только последовательно, как когда-то, в первые годы, но также параллельно и другими сложными путями. Тут возникают трудные задачи: как выбрать оптимальное соединение. Этим занимается новая наука — “архитектура компьютеров”. В ней есть, в частности, задача подбора машинного языка для каждого типа компьютерного “здания”. Эгуд Шапиро — крупнейший в мире специалист как раз по этим проблемам, поэтому японцы его пригласили, и он проработал у них целый год. Американцы тоже не хотят отстать в гонке. Они создали в Остине, в штате Техас, институт, в который вложили свои средства одновременно 12 крупнейших американских фирм. Для такого случая правительство даже прикрыло глаза на нарушение “закона против трестов”. Европейский общий рынок создал свой институт, с бюджетом 750 миллионов в год, а англичане решили, что помимо участия в этом совместном проекте они должны иметь собственный, и создали институт со своей программой. Недавно западногерманский министр

развития рассказывал мне, что и ФРГ намерена сделать что-то в этом роде.

О чем идет речь во всех этих проектах? Можно сказать, что в них имеются два рода целей — “вертикальные” и “горизонтальные”. Цель “вертикальная” у всех одна — создать искусственный разум. Для этого нужно решить ряд промежуточных задач: научить машину “разговаривать”, “распознавать изображения”, “понимать” вопросы с голоса и много других. Каждая страна ухватилась за одну из этих задач. Японцы, например, сосредоточились на разработке акустического аспекта взаимодействия машины с человеком. Они недавно демонстрировали “компьютер 2000 года”. Это была машина-переводчик. Один человек играл роль американского туриста, у которого затерялся чемодан, другой — японского носильщика. Американец ругался из-за чемодана, машина переводила его слова (со слуха) на японский, носильщик оправдывался, и машина переводила его ответы на английский. При этом оба говорили быстро, как говорят в жизни, обычными голосами. Так что это огромное достижение: машина посредничает между двумя людьми в обыкновенном разговоре. Правда, в японской машине пока всего 150 слов на трех языках, но это показывает возможности будущего.

Мы создали сейчас национальный центр по проблеме взаимодействия машины с человеком. Мы заключили договор с институтом Вейцмана по теме “искусственный разум” и еще один — с Иерусалимским университетом по теме “архитектура компьютеров”. Но в отличие от японцев мы будем концентрироваться на оптической стороне дела, на распознавании машиной образов.

Теперь, как я уже сказал, в каждой национальной программе есть еще “горизонтальные” цели. Это выпуск определенной продукции на основе достигнутых “вертикальных” результатов. Скажем, японцы хотят монополизировать рынок переводческих машин. Европейцы хотят выпускать два продукта: полностью компьютеризованный оффис и компьютеры, способные управлять всеми машинами на конвейере. У англичан очень полезная цель: они разрабатывают машину, которая поможет человеку понять, чего от него хочет государство. Скажем, если человек получает бланк из налогового управления, такая машина объяснит ему, что от него хотят и что ему выгодно написать. Наша комиссия пришла к выводу, что в качестве израильской “горизонтальной” цели выгодно сконцентрировать усилия на обучении

с помощью компьютеров. Мы хотим создать машину, которую ребенок понимал бы так же, как понимает собственную мать. С которой он сможет разговаривать, которая его будет видеть, руководить его действиями. Сегодня количество детей в мире большое и все учатся писать и считать, так что рынок для таких машин большой. А такая маленькая страна, как Израиль, может использовать всю свою систему государственного образования как экспериментальную систему. Наша комиссия — в нее входят также представители ведущих фирм “Эльбит”, “Эльсинт” и другие — приняла решение сконцентрироваться на этом продукте. Конечно, каждая отдельная фирма может делать что хочет, но в общенациональном плане мы будем помогать тем, кто будет концентрироваться на образовательных компьютерах.

— Как обстоят дела с другими вашими проектами: канал, космос, ядерная энергия? Кто-то считает, что в этом направлении сделано мало или вовсе ничего.

— Судите сами. Начну с космоса. Я считаю крайне важным, чтобы Израиль вошел в эту область. Мы явно отстаем в этом. Даже арабы впереди нас. В этом году они запустили свой спутник “Арабское солнце”. Конечно, они не сами его построили, они его купили, но теперь у них будет свой спутник для межарабской связи, для нужд науки, развития и, конечно, безопасности, и это им поможет, если они сумеют его правильно использовать. Моя первая задача в этой области состояла в создании израильского космического агентства. Это не простая формальность. До сих пор, например, мы не могли иметь деловых контактов с НАСА, потому что НАСА не имеет дел с государствами, она ведет дела с национальными агентствами. Теперь у нас есть контакты, и НАСА установила под Иерусалимом свой новейший лазер стоимостью 1,5 миллиона долларов для слежения за спутниками. За спутниками лазер следит несколько часов в сутки, а остальное время наши ученые могут его использовать для своих научных нужд, так что нам эта сделка на пользу. Затем наше агентство обратилось к израильскому министерству связи, у которого есть акции в международном агентстве “Интерсат”, ведающем всеми спутниками связи. Израиль уже 20 лет член этого агентства, но до сих пор был всегда стороной, которая платит, но ничего не получает. Когда мы хотим показать футбол из Мадрида, мы должны платить за то, что это передается через чей-то спутник. Теперь мы впервые обратились с просьбой дать и нам место среди спут-

ников. Нам ответили, что мест уже нет. Мы долго боролись и наконец получили место в космосе. Теперь перед нами проблема создания спутника. Мы не хотим тратить на это государственные деньги и ищем частных инвесторов. Спутники — дело выгодное, и я думаю, что таких инвесторов найти удастся, хотя это и стоит около 150 миллионов долларов. Мы хотим, однако, чтобы строился спутник здесь, у нас, в Израиле. Тогда наша промышленность освоит еще одну современную технологическую область. Я думаю, года через три у Израиля будет свой спутник, а возможно — не один. Кроме всего прочего — это хороший бизнес, спутники приносят своим странам немалый доход.

Теперь о ядерной энергии. В этой области действительно нет большого прогресса. По моим оценкам, мы могли бы построить собственный промышленный реактор, но это было бы слишком дорого. Правда, Эдвард Теллер, когда был в Израиле, сказал, что дорого будет стоить только первый реактор, все следующие обойдутся дешевле, но все же мы предпочли бы купить готовый реактор, за границей. Однако тут начинается политика. Никто не хочет его нам продать. Тем не менее мы продолжаем попытки, и я думаю, что если останемся у власти, то реактор у Израиля будет. В крайнем случае, мы построим его сами. Правительство уже приняло соответствующее решение, которое мы подготовили вместе с министром промышленности. Обсуждался проект, во главе которого стоит профессор Хорев. Сейчас этот проект реализуется, и одновременно мы продолжаем попытки купить реактор за границей.

Есть и еще одна многообещающая программа развития. В Израиле существует частная фирма, которая запатентовала новый тип “Токомака” — ускорителя, в котором можно достигать температур, ведущих к реакции ядерного синтеза. В обычных “Токомаках” используют огромные магниты с особой оснасткой и охлаждением, и это стоит дорого. В новом патенте магниты сменные, небольшие. Габариты резко уменьшаются и стоимость тоже. Конечно, это не дает еще реактора для синтеза гелия из водорода, я всегда возражал против такой рекламы, но это интересно с точки зрения физики, на такие машины есть спрос, и одна крупная международная фирма уже предложила вложить в производство таких “Токомаков” 300 миллионов долларов — при условии, что Израиль добавляет еще 10 миллионов. По-моему, это выгодное предложение. Я был за то, чтобы его принять, но на меня набросились,

утверждая, что тут есть какая-то политическая подоплека. Если все же удастся привлечь эту фирму, мы создадим проект, который даст работу многим людям и еще один экспортный продукт для Израиля, если нет — мы создадим свою собственную небольшую программу по ядерному синтезу, тем более, что у нас есть специалист такого класса, как Кишиневский, инженер из СССР, эксперт в этой области.

— Западные фирмы готовы вкладывать деньги в наше развитие, у нас создаются собственные программы, — стало быть, наше положение отнюдь не так мрачно, как выглядит в газетах?

— Нет, конечно. Я уже сказал, что наша независимость возросла, военное положение улучшилось, экономическая база развивается. Говорят, что война подорвала нашу мораль. Я в это не верю. Весь шум вокруг “Шалом ахшав”, вокруг тех, кто отказался служить в Ливане, кажется мне преувеличенным. Таких людей в действительности не больше сотни, причем многих из них учитывали по нескольку раз. Протестующие в Израиле были всегда. В любом случае, их отношение к общему числу тех, кто служит в Ливане, не изменилось. В этом смысле наше моральное состояние не ухудшилось. Другое дело, что мы всегда лучше в быстрой войне, чем в долгой. Мы хуже справляемся с давлением затяжной войны. Это естественно. Я бы добавил также, что есть и преимущества, и вред от того, что война идет рядом с домом. Преимущество в том, что знаешь, за что воюешь, не нужно объяснять — Вьетнам и прочее. Вред же в том, что все и каждый — журналисты, пресса — в курсе всех событий. Госпожа Татчер вообще не пустила журналистов на Фолкленды, пока война там не кончилась.

— Это цена нашей демократии...

— Я не жалуюсь...

— Вы были согласны с целями этой войны?

— Я не вполне понимаю, какие цели были у Шарона, я знаю лишь одно: я требовал проведения аналогичной операции еще в 81-м году. Это не значит, что я требовал продвижения до Бейрута. Я предлагал расширить район Хадада с 10 до 30—40 километров. Когда война началась, я говорил, что нужно забыть о Бейруте, о надеждах установить там новый порядок. Возможно, у Шарона была такая надежда. Пока Башир был жив, существовал один процент шансов, что это удастся. Он был таким ливанским кондотьером, типа Сфорца или Борджа. Он мог навести порядок.

Но вряд ли это было бы стабильно. Факт, что его убили. А с той о момента, как его убили, другого такого не нашлось. Ливан — это страна, находящаяся в хаотическом состоянии. Без того, чтобы держать там большую армию, никто не в состоянии навести там порядок, даже сирийцы. Даже они могут поддерживать порядок только на той территории, где непосредственно находятся их войска. Я с первой же недели войны говорил, что если мы хотим охранять Галилею, нам придется оставаться в Ливане много лет. Нет никого другого, кто выполнил бы эту задачу. Бегин был ко мне в претензии за то, что я так говорил. Но я и сейчас готов повторить: если мы хотим безопасности Галилеи, нам придется оставаться в Ливане. Много лет. Конечно, можно использовать местные силы, вот сейчас там уже есть генерал Лахад, раньше был Хадад. Но одна местная милиция ничего не сможет там сделать, необходимо наше присутствие, хотя бы номинальное. По тем же причинам, почему в составе НАТО есть две американские дивизии. Для НАТО две дивизии не играют особой роли, — просто европейцы не верят, что американцы будут воевать за них, если у них в Европе не будет заложников. Наши силы в Ливане — это залог, что мы своих союзников там не дадим в обиду. Стоит нам уйти, и над ними нависнет угроза возвращения сирийцев или ооповцев. Кстати, еще одно соображение в пользу войны. Наша армия разгромила государство ООП. Это факт. Это не значит, что ситуация не может снова измениться. Вполне возможно, что ооповцы снова вернутся в Бейрут и даже создадут новое государство в Ливане. Но нет никакого сомнения в том, что они получили сильнейший удар.

— *Уверены ли вы, что это было вполне дальновидно? Быть может, имея они свое мини-государство, они им и удовлетворились бы?*

— Возможно, они видели такую альтернативу, хотя я в этом сомневаюсь: все их мини-государство был сплошной, нацеленный на нас гарнизон, они так и жили там на своих "катюшах". Но дело в другом. Сейчас, когда они разбиты, открывается новая возможность. Если теперь Ликуд победит на выборах, а ООП еще несколько лет будет оправляться от удара, то мы сможем продолжать заселение Иудеи и Самарии и достичь необратимой ситуации. Я убежден, что это создаст у арабского населения гораздо большую склонность примириться с существующим положением. Конечно, если мы отступим от плана поселений, то разгром ООП потеряет значение. Если пройдет еще несколько лет без решительных изме-

нений в Иудее и Самарии — в ту или иную сторону — ООП успеет опять создать свое государство, и придется все начинать сначала.

— Вы все время говорите о необходимости продолжать путь, по которому Израиль шел последние годы. Если этот путь, по-вашему, правилен, почему на нем так много ошибок и неудач?

— Есть ряд причин. Я считаю правильным первоначальный курс Ликуда, до 77-го года. Затем вторгся эпизод с Кемп-Дэвидом, который подорвал принципы этого курса. Если снесли Ямит и поселения возле него, становится трудно спорить с Маарахом, который требует отказаться от поселений в другом месте. Почему в одном можно, а в другом нельзя? Поэтому я считаю, что весь эпизод с египетским миром был “маараховским” в истории Ликуда. Потребуется годы, чтобы исправить то, что было тогда сделано. Правда, с 1982 года правительство Ликуда выглядит уже иначе, я бы сказал — оно больше похоже на правительство Тхии. Но все равно, цельного курса нет.

Есть и другая двусмысленность. Нельзя говорить, с одной стороны, что стоишь за неделимую Эрец Исраэль, а с другой — бояться распространить израильский суверенитет на Иудею и Самарию только потому, что обещали создать там автономию.

Все это началось с Кемп-Дэвида. Пока в США у власти был Картер, Ликуд все время шел на уступки. И если бы Картер — с помощью нашего Вейцмана — был переизбран, то могу сказать, что уже в 1982 году мы отдали бы Иудею и Самарию. Линович сказал (а Бург подтвердил), что Израиль уже согласился передать арабам контроль над водой и землей. Это зашло уже слишком далеко. Но произошло чудо — Картера не переизбрали, и это освободило Бегина от давления. С того момента Ликуд вернулся к правильному пути.

Цельность ликудовского курса ослабляют также либералы. Я считаю, что блок Херута с либералами — это монстр. Либералы тормозят политику Херута в области Иудеи и Самарии, а с другой стороны — недостаточно помогают в том, за что взялись, — в экономике. Поэтому весь ликудовский блок оказался недостаточно эффективным. И не все его люди оказались на высоте. Такие лидеры, как Аридор, Леви, Модай, — люди, по-моему, несомненно талантливые, но на разных этапах они вступали в личные конфронтации, а это ослабляло систему в целом. Отсюда неудачи, о которых вы спрашиваете. Но, повторяю, сейчас Ликуд на верном пути, и у него есть шансы...

— Вы считаете, что шансы есть?

— Я считаю, что Ликуд имеет шансы победить на выборах. В том, что Тхия увеличит свое представительство, я не сомневаюсь. Вопрос в том, окажется ли комбинация Ликуд—Тхия достаточно большой. Полагают, будто правительство в Израиле формирует партия, набравшая большинство голосов. Это ошибка. Правительство формирует тот, кто может собрать коалицию. Проблема в том, сумеет ли ее сформировать Ликуд. Я не уверен. Положение не безнадежное, но всегда возможны неожиданности. Во всяком случае, если Тхия снова будет приглашена в коалицию, у нее будет новое условие. Точно так же, как в прошлый раз мы потребовали руководства комиссией по поселениям, так теперь мы намерены потребовать создания специальной комиссии по алии и абсорбции с участием Сохнута и под нашим руководством. И в принципе нам это уже обещано. Остается ждать выборов...

Беседу вели А. Воронель и Р. Нудельман.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НОВАЯ КНИГА

ПЕТР ВАЙЛЬ И АЛЕКСАНДР ГЕНИС

"ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ"

240 стр.

10 долл.

Книга известных в эмиграции журналистов и критиков представляет собой иронический путеводитель по советской и эмигрантской жизни. Каждая ее глава — очерк одной из сторон советского "ада" и американского "рая": "труд", "досуг", "любовь", "культура" и так далее, а вместе они образуют выразительную и точную картину того, что было, того, что вообразилось, того, что сбылось...

Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Владимир Лазарис

СМЕРТЬ ЛЕО ФРАНКА

27 апреля 1913 года, в три часа утра, в подвале Национальной карандашной фабрики, находившейся в центре Атланты (штат Джорджия), сторож-негр обнаружил обезображенное тело 13-летней Мэри Фэгэн. Она лежала лицом вниз в куче стружек. Из глубокой раны на голове еще сочилась кровь. Судя по всему, она пыталась выползти из подвала. Ее нижнее белье было разорвано, хотя ничего не подтверждало изнасилования. Рядом валялась записка, предположительно написанная умиравшей девочкой: "Ма это сделал негр я пошла вскипятить воду и он заволок меня в эту дыру высокий негр это он был он сказал что будет меня любить ложись высокий негр..."

Газеты Атланты заполнились подробностями, домыслами, слухами и толкованиями. "Немыслимый зверь". "Преступление века". Заголовки оглушали читателей и вызывали в них святой гнев. Один из соседей Мэри Фэгэн сказал репортеру: "Если бы наши парни поймали убийцу прошлой ночью, я не поручился бы за его жизнь". Священник баптистской церкви прогремел с амвона: "Существование Бога требует, чтобы убийца был найден!"

Полиция Атланты была в растерянности. По официальной статистике во всем штате был пойман и наказан только один убийца из ста за последние годы. В самом городе накопилось более дюжины нераскрытых убийств. Впрочем, жертвы были неграми, и общественность не особенно торопила полицейских. Однако Мэри, как выразился один из местных жителей, "из наших". У полиции не было выхода: убийца должен быть найден.

К концу первого дня были задержаны семеро подозреваемых. Четверых освободили. К вечеру подозреваемых осталось трое. Среди них был и сторож-негр, обнаруживший труп. После очередных допросов главным подозреваемым стал, однако, управляющий карандашной фабрики, где работала и погибла Мэри, — еврей Лео Франк.

На первом допросе Франк нервничал и путался. Он показал, что 26 апреля, в день памяти Конфедерации, Мэри приходила к не-

му получить свое жалованье. Франк был в конторе один. Он вы- платил девочке один доллар двадцать центов за те 10 часов, что она проработала в истекшую неделю. Затем Мэри, по его словам, ушла. Больше ее никто не видел.

Еще через день в мастерской напротив конторы Лео Франка были найдены клочья волос, "положительно опознанные" как волосы Мэри Фэгэн. Были обнаружены также следы крови. Ночной сторож сообщил полиции, что в день гибели девочки Франк просил его придти пораньше, но затем отпустил домой, приказав вернуться в обычное время.

Эти факты, путаница в показаниях Франка и давление истерически возбужденной толпы сделали свое. Лео Франк был арестован.

Лео Макс Франк родился в Техасе в 1884 году, воспитывался в Бруклине, кончил Корнелльский университет, работал инженером-механиком в Бостоне. В 1907 году переехал в Атланту и стал совладельцем-управляющим карандашной фабрики, принадлежавшей его дяде. Он женился на Люсиль Зелиг, происходившей из самой состоятельной еврейской семьи в городе. Его репутация была столь высока, что в 1912 году его избрали президентом местного отделения Бней-Брит.

Арест северянина, капиталиста и еврея вызвал ликование жителей Атланты. На американском Юге не терпели северянки. Здесь и спустя полвека после окончания Гражданской войны все еще держались за Библию и землю, гордо несли "бремя белых людей", прославляли колониальное прошлое и не хотели допускать чужаков, в особенности — нищих иммигрантов. Губернатор штата Теннесси Бен Хупер отказывался принять "эту человеческую кучу, которую хотят вывалить на наши берега". Федерация труда штата Джорджия предостерегала, что скоро штат "запрудят европейские вонючки". Атлантская газета "Джорнэл" предлагала ограничить иммиграцию только лицами кельтской, скандинавской и тевтонской рас, "близкими нам по крови". К негодованию разборчивой Атланты самой крупной группой иммигрантов в городе к началу века оказались, однако, евреи — 1342 иммигранта из России, которых южане без обвиняков именовали "христоубийцами" и винили во всех природных бедствиях и личных неудачах.

Южные фермеры ненавидели и промышленников-капиталистов. Мало того, что индустриализация их разоряла — она отнимала у

них жен и дочерей. Женщины шли работать на фабрики, и гордость мужчины-“добытчика” была уязвлена. Ему казалось, что рушатся семейные устои — ведь на фабрике женщины общались с посторонними мужчинами, а по традициям Юга это было почти равносильно потере нравственности. Главным потенциальным соблазнителем южане считали, конечно, владельцев и управляющих фабрик — “эксплуататоров рабочей силы”.

После ареста Лео Франка атлантские газеты услужливо сообщали, что в его кабинете висело изображение “Саломеи, танцующей в голом виде”. Подружка убитой Мэри рассказала следователю, что та боялась управляющего, который начал к ней “приставать”. Бывшие работницы фабрики припомнили, что Франк заигрывал с девушками и даже “тискал их в темных углах”. Некий полицейский, дежуривший в городском парке, клялся, что видел Франка в кустах с молоденькой девушкой. А содержательница городского публичного дома сообщила, что в день убийства Франк звонил ей несколько раз и заказал отдельную комнату. Оба эти свидетеля позднее отказались от своих показаний, но в умах жителей Атланты уже сформировался образ еврея-развратника и растлителя малолетних. Газеты подливали масла в огонь. Одна из них рассказала читателям, что еврейская вера не разрешает соблазнять евреек, но вполне позволяет делать это с нееврейками. Другая сообщила, что Франк, якобы, убил свою первую жену в Бруклине, имел бесчисленное количество незаконнорожденных детей, был неизлечимым алкоголиком и, наконец, извращенцем.

По городу поползли слухи, что готовится нападение граждан на тюрьму, где содержатся оба заключенных, Лео Франк и сторож-негр Ньют Ли. Говорили, что их вытащат из камер и линчуют. На улицах толковали, что один из двоих наверняка виновен, так что не грех на всякий случай убить обоих.

Однако на сей раз до суда Линча еще не дошло. 28 июля начался судебный процесс. Он длился месяц, и все это время жители Атланты не сомневались в его исходе. “Сам тот факт, что Франк сидит на скамье подсудимых, — писала одна из газет, — означает для многих, что он безусловно виновен...”

Государственное обвинение строилось, в основном, на показаниях негра Джима Конли, работавшего уборщиком на фабрике. Конли утверждал, что Франк дал ему 200 долларов за то, чтобы перенести труп девочки в подвал. 27-летний Конли уже успел несколько раз отсидеть в тюрьме за воровство, его не раз арестовыв-

вали за хулиганство. В иной ситуации показания такого человека, к тому же негра, против белого человека в Джорджии вообще не были бы приняты во внимание. Ни один свидетель обвинения их не подтвердил.

Адвокат Лео Франка в своей защитительной речи утверждал, что Франк просто физически не имел времени совершить приписываемое ему преступление. При этом он ссылался на распорядок дня Франка 27 апреля, подтвержденный свидетелями защиты. Сам Франк настаивал на своей полной невинности и назвал рассказ Конли "самой мерзкой и отвратительной ложью, когда-либо созревшей в извращенном мозгу больного человека".

Но массовая истерия уже проникла с улицы в зал суда и подчинила себе присяжных и суд. По городу ползли слухи, будто евреи собрали сотни тысяч долларов, чтобы подкупить суд. Адвокаты Франка получали анонимные письма одного и того же содержания: "Если Франка не повесят, мы вздернем тебя". Присяжных угрожали линчевать, если они не приговорят к смерти "этого проклятого жида". Толпа, осадившая здание суда, редела: "Линчевать его, свернуть этому еврею шею!"

Присяжные заседали меньше четырех часов и признали подсудимого виновным.

Судья приговорил Лео Франка к смертной казни через повешение.

Трехтысячная толпа орала от восторга. Прокурора вынесли на руках.

Адвокаты Франка приступили к составлению кассационной жалобы, а сам Франк вернулся в камеру номер два в южном крыле атлантской тюрьмы. По вечерам он читал при свече. Ему разрешалось принимать посетителей. Одной из них была Энн Кэрол Мур, библиотекарьша из Бруклина, с которой Франк познакомился еще в студенческие годы. Она видела его несколько дней подряд и нашла "бодрым, спокойным, надеющимся, готовым слушать других, неистощимым и интересным собеседником".

С некоторыми посетителями Франк играл в шахматы. Кроме того ему разрешалось свободно получать и писать письма. В одном из писем, отправленном в октябре следующего, 1914 года университетскому товарищу Джону Гулду, Франк писал: "Твое письмо было для меня "голосом из прошлого"... Несмотря ни на что, я сражаюсь и в конце концов должен победить. Я ни минуты не сомневаюсь, что окончательный исход будет счастливым. Есть

еще Федеральный суд, а если надо будет, мы дойдем и до Вашингтона”.

У Франка было основание для оптимизма. За три недели до этого адвокат Уильям Смит, представлявший главного свидетеля обвинения Джима Конли, выступил с сенсационным заявлением. Смит сказал, что его клиент, Джим Конли, и есть настоящий убийца. Он заявил корреспондентам, что Лео Франк невиновен.

И все же, несмотря на это заявление, Верховный суд штата Джорджия отклонил требование адвокатов Франка о пересмотре дела. Процедура обжалования приговора во всех инстанциях тянулась свыше двух лет, — до тех пор, пока губернатор Джорджии Джон М. Слэтон, за несколько дней до ухода с поста, не заменил смертную казнь пожизненным заключением.

Но даже этого было достаточно, чтобы вызвать взрыв ярости. Когда Лео Франка перевели в тюрьму Миледжвилля, в 200 километрах от Атланты, один из заключенных едва не перерезал ему горло бритвой. В самой Атланте вооруженные банды горожан бесчинствовали на улицах, вынудив многих евреев запереться в домах. Многотысячная толпа с винтовками и динамитом осадила губернаторский дом, и только вмешательство полиции спасло Слэтона от расправы. И наконец 75 южан, назвавших себя “Рыцарями Мэри Фэгэн”, собрались на ее могиле и поклялись отомстить за нее.

16 августа 1915 года “Рыцари” вломились в тюрьму, где содержался Лео Франк, заковали его в наручники, увезли обратно в Атланту и повесили на дубе, в нескольких шагах от того места, где родилась Мэри Фэгэн.

Обезумев от ужаса, ожидая неизбежного погрома, более половины трехтысячного еврейского населения Атланты покинуло город. Те что остались, еще долго подвергались бойкоту, угрозам, преследованиям.

Процесс Лео Франка ознаменовал оживление деятельности Ку-Клус-Клана. Он же послужил толчком к созданию Лиги борьбы против клеветы при еврейской организации Бней-Брит.

Через несколько лет к делу Лео Франка вернулся журналист Пьер ван Пассен. Он посетил Атланту, где получил доступ к судебным архивам. В своей книге “Счесть наши дни” Пассен писал: “Я обнаружил конверт, в котором было несколько рентгеновских снимков. Убитая девочка была укушена в плечо и шею перед тем, как ее задушили. Но рентгеновские снимки укусов совершенно

не совпадали со снимками зубов Лео Франка, лежавшими в том же конверте”.

Ван Пассен обратился в газету “Атланта Констительюшн” с предложением опубликовать серию статей для восстановления доброго имени Лео Франка. Издатель согласился. Но против были руководители еврейской общины города. Они опасались, что публикация может “вызвать возрождение антисемитских настроений и самые неприятные последствия для общины”. Так писали еврейские раввины в письме к издателю газеты.

Прошло 69 лет. И вот 7 марта 1982 года Америку облетела новая сенсация. Газета “Теннесиец” опубликовала заявление 83-летнего Алонцо Манна. В 1913 году 14-летний Алонцо работал на фабрике Франка. Он оставался единственным живым свидетелем мрачного дела. За это время вышло свыше 50 книг, посвященных процессу Лео Франка, но никто не удостоился обратиться к Алонцу Манну. Действовать самому у него не хватало мужества. Но кто-то навел на него репортеров “Теннесийца”, и Алонцо рассказал им правду, которую хранил все эти годы.

В полдень 26 апреля 1913 года 14-летний Алонцо вошел в здание фабрики. У входа в подвал он увидел уборщика-негра Джима Конли. На плече у негра лежала белая девочка. Ее голова свисала вниз, и она казалась мертвой или потерявшей сознание. Алонцо не заметил ни крови, ни ран. В это время Джим Конли обернулся и увидел мальчика. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Потом Конли сказал: “Если расскажешь кому-нибудь — зарежу...” Перепуганный Алонцо бросился домой. Он рассказал об увиденном матери, но та взяла с него слово, что он никогда никому ничего не расскажет. Алонцо молчал и на суде, где ему, впрочем, задали лишь несколько поверхностных вопросов. Он молчал и после суда. Он молчал все 69 лет.

17 сентября 1982 года сенат штата Джорджия в полном составе рассмотрел свидетельство Алонцо Манна и принял резолюцию №423, которая призывала посмертно реабилитировать Лео Франка. Резолюция была направлена в Комиссию по делам амнистии и помилования штата. Туда же обратились ведущие еврейские организации Америки, требуя исправить “историческую несправедливость и устранить то ужасное клеймо, которым отмечено американское правосудие в результате дела Лео Франка”.

Однако в декабре того же года председатель Комиссии Хоуэлл отклонил все прошения. Он заявил, что Лео Франк не может быть

реабилитирован, поскольку не доказано “вне всяких сомнений”, что он был невиновен.

По оглашении вердикта национальный директор Лиги борьбы против клеветы Натан Перлмуттер, сказал: “Если труп способен плакать, то труп Лео Франка делает это сегодня”.

Юбилейные даты иногда служат катализатором правосудия. 19 июля 1977 года губернатор штата Массачузетс Мишель Дукакис, опираясь на отчет специальной следственной комиссии, выступил с заявлением, в котором признавалась невиновность Сакко и Ванцетти. Ровно за 50 лет до этого они были ложно обвинены в вооруженном ограблении с убийством и казнены на электрическом стуле. 17 апреля 1984 года исполнилось 100 лет со дня рождения Лео Франка. В отличие от Сакко и Ванцетти он не исповедовал никакой идеологии, не участвовал в политической борьбе и не получил никакой поддержки от местной, не говоря уже о международной общественности. Лео Франк был просто евреем, дорожившим своей верой, традициями и добрым именем, которое по сей день не отмыто от антисемитской клеветы. Во Франции признали невиновным Альфреда Дрейфуса, в России — Менделя Бейлиса, но в Соединенных Штатах Америки по-прежнему нет справедливости для Лео Франка.



Личевание Лео Франка (фотография из "Американского еврейского архива")

ГИТЛЕР И МАРКС: ЗАГАДКА КАТАСТРОФЫ

Недавно исполнилось 50 лет со дня прихода Гитлера к власти и 100 лет со дня смерти Маркса. Совпадение этих дат снова напомнило о двух величайших антисемитах современной истории.

В книге, написанной мною несколько лет назад, я говорил: "Неизвестно, читал ли Гитлер статью Маркса "К еврейскому вопросу". Но если читал, статья эта могла лишь поощрить его чудовищные замыслы".

Скрытый в этой фразе вопрос заслуживает рассмотрения: читал ли Гитлер статью Маркса?

Многие эксперты считают, что влияние Маркса на Гитлера, даже если было, осталось крайне незначительным. Сомнительно, чтобы Гитлер был знаком с серьезными работами Маркса; сомнительно, что они оказали влияние на его "окончательное решение еврейского вопроса".

Казалось бы, вопрос закрыт. Но так ли это?

На самом деле Гитлер сам, косвенным образом, признался, что своей антисемитской философией обязан именно Марксу. В речи "Почему мы антисемиты", произнесенной 15 августа 1920 года в Мюнхене, он заявил: ненависть к евреям — не просто один из пунктов нацистской программы, а вся ее суть; необходимо "углубить научное понимание еврейской опасности" и "освободиться от еврея в собственной душе". Далее он продолжал: "Вынужден признаться, что вся эта прекрасная цепь рассуждений придумана тоже... евреем. (Смех в зале.) "Еврей должен быть лишен экономической власти". Подозреваю, что и это впервые заявил тот же еврей".

Единственный подходящий кандидат здесь — Маркс. Исследователь нацистского антисемитизма Карлебах считает эти слова "ссылкой" на предложенное Марксом "решение" еврейского вопроса. Биограф Гитлера Мазер полагает, что статья Маркса сыграла решающую роль в формировании гитлеровской ненависти к евреям.

Скептики скажут, что нелепо сравнивать диалектику Маркса с безграмотной болтовней Гитлера. Ведь в этой же речи Гитлер, например, обвинил евреев в убийстве Юлия Цезаря! Но нелишне напомнить, что и Маркс в своей антисемитской страсти доходил до абсурда. В письме Энгельсу 10.5.1861 он утверждал, что Исход евреев из Египта был на самом деле "изгнанием прокаженных во главе с египетским жрецом Моисеем".

Почему же Гитлер прямо не назвал Маркса? Объяснение, я думаю, таково. Гитлер стремился сделать марксизм главным идеологическим врагом. Упомянуть, что Маркс был ненавистником евреев, значило бы запутывать простодушных последователей, вносить нежелательную сумятицу в их мозги. А главное правило гитлеровской пропаганды всегда состояло в том, что массы понимают лишь самые простые идеи с незатейливым эмоциональным содержанием, которое вколачивается в их головы путем неустанного повторения.

Могут сказать, что сложные работы Маркса вряд ли были "по зубам" Гитлеру. Но не следует представлять себе Гитлера по фильму Чарли Чаплина. Безликий и бесхарактерный уличный демагог не смог бы вызвать к жизни все то зло, которое вызвал Гитлер. И дурачком он не был. Во всех воспоминаниях о нем неизменно указывается одна черта: страсть к чтению. В Линце он был записан сразу в трех библиотеках. В Мюнхене, по словам квартирохозяйки, он просиживал над книгами до утра. В Вене он увлекся марксизмом и жадно поглощал все, написанное об этой доктрине разрушения. В ландсбергской тюрьме, в дополнение к мемуарам о войне, он читал Ницше, Маркса, Бисмарка и Чемберлена.

Мог ли он читать "К еврейскому вопросу"? Статья Маркса была опубликована в немецкой социалистической прессе еще при жизни автора и, вероятно, с его поощрения. В. Либкнехт пропел ей панегирик. Позднее Луначарский назвал ее "гениальной" и "верной даже для наших дней". Она широко распространялась в СССР. Ее перепечатал в 1920 году "Фелькишер беобахтер". Она вполне была доступна Гитлеру в период его формирования.

Понятно, что отвращение и презрение, которые основатель марксизма проявил по отношению к собственному народу, могли только подкрепить убеждения Гитлера. Уж если евреи сами себя так ненавидят, то другим их явно не за что уважать.

Задумывал ли Гитлер уничтожение евреев уже тогда, когда насмешливо признавался в своих заимствованиях у безымянного

еврея? Трудно сказать, когда именно идея "окончательного решения" сформировалась в его уме. Ведь это был ум темный и лживый, склонный к тому же к параноидальным идеям. Во всяком случае, ранние антисемитские высказывания Гитлера были куда более яростными и неуравновешенными; позже он прилагал определенные старания, чтобы скрыть от цивилизованного мира свои чудовищные замыслы. Любопытное свидетельство этому оставил Иозеф Хелл, который беседовал с Гитлером в 1922 году. Хелл пишет: "Следующий мой вопрос касался евреев. "Что вы сделаете, получив полную свободу действий?" До сих пор Гитлер говорил относительно спокойно, теперь его манеры изменились: он смотрел уже не на меня, а в пространство, непрерывно повышал голос и закончил яростным криком: "Моей первой задачей будет уничтожение евреев. Я прикажу воздвигнуть виселицы по всему Мюнхену и повешу на них евреев. То же самое будет сделано во всех остальных городах Германии, пока они не будут полностью очищены от евреев".

Я спросил, почему он так ненавидит евреев. Гитлер внезапно снова успокоился и заговорил неожиданно трезвым и почти бесстрастным тоном: "Практика всех революций показывает, что борьба идей всегда идет в форме борьбы против какого-то класса или группы людей. В предыдущих революциях это были крестьяне, аристократия или духовенство. Не было революции без такого громоотвода, по которому направлялась ненависть масс. Я задал себе вопрос: против какой группы в Германии можно направить эту ненависть наиболее успешным образом и с наибольшими материальными выгодами? И я пришел к выводу, что эта группа — евреи. Едва только ненависть к евреям будет возбуждена, евреи быстро утратят возможность сопротивляться: они не способны сами защитить себя, а никто другой не придет к ним на помощь".

Свидетельство Хелла означает, что Гитлер видел в физическом уничтожении евреев свою главную задачу уже в те годы, когда, по собственному признанию и утверждениям многих его соратников, прилежно штудировал Маркса. Но если Хеллу он говорил о виселицах, то позже, в ландсбергской тюрьме, после путча, когда его спросили, изменились ли его взгляды на еврейский вопрос, он ответил: "О, да! Я пришел к выводу, что до сих пор был слишком мягок. Надлежит применять гораздо более суровые меры.

Это вопрос жизни и смерти не только для немецкого народа, но и для всего человечества. Евреи — это всемирная язва”.

Хотя Гитлер, по всей видимости, заимствовал часть своих антисемитских взглядов у Маркса, его антисемитизм был, конечно, иным.

Юдофобия Гитлера имела сильный сексуальный оттенок. Его антиеврейская одержимость во многом происходила из убеждения, что евреи стремятся соблазнить и осквернить невинных тевтонских дев, что евреи повинны во всех сексуальных извращениях и т. п. Все это, разумеется, было чуждо Марксу.

Маркс ничего не говорил также о “еврейском заговоре”. И он не осуждал евреев на расовых основаниях, — хотя в том же письме к Энгельсу утверждал, что “проказа — это характерная еврейская особенность”.

Однако сходство между антисемитизмом Маркса и Гитлера идет гораздо дальше, чем полагают многие интеллектуалы.

Гитлер безусловно согласился бы с Марксом, когда тот говорил: “Не следует искать тайну еврея в его религии, следует искать тайну религии в реальном еврее... Евреи отравили христианский мир, превратив деньги во всемирную силу. Бог евреев секуляризовался и тем самым стал всемирным Богом”.

К концу статьи Маркс все более озлобляется: “Деньги — вот равнинный Бог Израиля... Даже если еврей отринет свою веру, он ничего не может дать человечеству... Общественная эмансипация евреев состоит в эмансипации общества от еврейства”*.

Подобно Гитлеру, Маркс обвинял евреев в стремлении к всемирной гегемонии. Он говорил это о их религии, но, по Марксу, религия есть лишь отражение, производная реальных экономических отношений.

* Стоит ли говорить, что ни одно из этих утверждений не соответствует реальности. Если еврейская религия сводится только к корысти, почему тысячи евреев шли за ней на костер? Если единственный Бог евреев — деньги, почему родители того же Маркса шли на такие жертвы, чтобы дать ему самое широкое культурное воспитание? Если евреи безжалостные торгаши и ростовщики, чем объяснить далеко опередившие свое время призывы к справедливости и милосердию в Торе и Талмуде?

Но все это — вопросы к психиатру. Увы, за сто лет сотни книг (и весьма подобострастных) были написаны о марксовской философии и экономике и лишь одна-единственная — о Марксе с точки зрения психопатологии.

Подобно Гитлеру, Маркс утверждал, что иудаизм (то есть еврейство) — разрушительная, антисоциальная сила, неспособная к созиданию и отравляющая все, чего она касается.

Подобно Гитлеру, Маркс различал между еврейским капитализмом (который он называл паразитическим) и теми типами “христианского капитализма”, которые “трансформируют мир” и движут прогресс (например, британское завоевание Индии Маркс считал “прогрессивным”, ибо оно помогло Индии перейти от азиатского деспотизма к зарождающемуся капитализму). В еврейских капиталистах Маркс не видел никакой творческой роли, еврей для него — всегда только ростовщик (для Гитлера тоже; “творческим” для него был “арийский капитализм”). Ядовитая ненависть Маркса к еврейским предпринимателям проявилась, например, в его статье для “Нью-Йорк трибюн” (4.1.1856): “Алчность, с которой вор взирает на кошелек прохожего, не идет в сравнение с алчностью, с которой эти маленькие еврейчики взирают на свободный капитал в руках торговца... За каждым тираном стоит его еврей, как за каждым папой — его иезуит. Армия иезуитов идет прочесать мысли, армия евреев — очистить карманы... Не случайно менялы, которых Иисус изгнал из храма, и менялы, которые сегодня стоят на стороне всех тираний, — одни и те же евреи...”*

Наконец, подобно Гитлеру, Маркс отрицал за евреями чувство национальной принадлежности и способность к патриотизму. В своей статье он провозглашал: “Химерическая национальность еврея — это национальность торгоша, а еще точнее — ростовщика”. (Взгляды Гитлера по этому вопросу достаточно хорошо известны.)

Таковы сходства. Их глубина не должна удивлять человека, задумавшегося над этой проблемой. И Маркс, и Гитлер одинаково ненавидели свободу и демократию. Антисемитизм чувствует себя, как дома, в обществах, учениях и движениях тоталитарных. Поэтому антисемитизм Маркса и Гитлера столь же не случаен, как те чудовищные советский и нацистский режимы, которые были им вдохновлены.

* Статьи Маркса в “Нью-Йорк трибюн” были настолько подстрекательскими, что в 1857 году их частоту сократили с двух до одной в неделю. И когда издатель изгнал из газеты марксова покровителя, он объяснил это тем, что тот поощрял антисемитскую пропаганду.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО А. И. КУПРИНА

(публикация, комментарии и послесловие В. Левитиной)

Обнаруженное В. Левитиной в советских архивах тщательно скрывавшееся письмо А. Куприна Ф. Батюшкову о "Чириковском инциденте" (писатель Чириков был обвинен литераторами-евреями в антисемитизме; см. ниже в послесловии) представляет собой не только и не столько литературный, сколько большой историко-культурный интерес. Оно развернуто демонстрирует позицию многих деятелей русской культуры в отношении к евреям и еврейству. Это документ большого идеологического значения, который призывает вдуматься в него и определить свою позицию по отношению к высказанному в нем мыслям. Публикуемые вслед за письмом послесловие В. Левитиной и статья М. Хейфеца представляют собой первые отклики в дискуссии, которая, как полагает редакция, безусловно должна развернуться в связи с этой публикацией, и не только в израильской русскоязычной прессе.

А. И. Куприн — Ф. Б. Батюшкову

(на полях нарисован портрет Чирикова)

Чириков (хотя у меня вышел не то Водовозов, не то Измаилов) прекрасный писатель, славный товарищ, хороший семьянин, но в столкновении с Ш. Ашем он был совсем неправ. Потому что нет ничего хуже полумер. Собрался кусать — кусай. А он не укусил, а только поспешил.

Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте) давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которые делают этот избранный народ столь же (нрб) и сильным как стая оводов, способных убить в (нрб) лошадь. Хорошо то, что все мы сознаем это, но в (нрб) то, что мы об этом только шепчемся в **самой** интимной компании. На ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно печатно и иносказательно обругать царя и даже Бога, а **попробуй**-ка еврея! Ого-го! Какой вопль и визг поднимется среди всех этих фарма-

цветов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особенно громко среди русских писателей ибо, как сказал один очень недурной беллетрист, Куприн, каждый еврей родится на свет Божий с предначертанной миссией быть русским писателем.

Я помню, что ты в Даниловском возмущался, когда я (нрб) звал евреев жидами. Я знаю также, что Ты — самый корректный (нрб) правдивый и щедрый человек во всем мире — Ты всегда далек от мотивов боязни или рекламы или сделки. Ты защищал их интересы и негодовал совершенно искренно. И уж если ты рассердился на эту банду литературной сволочи — стало быть они охамели от наглости.

И так уж (нрб), но не смели об этом сказать (нрб) людей. Я говорил интимно с очень многими из тех, кто распинается за еврейские интересы, ставя их куда выше народных, мужичьих. И они говорили мне, пугливо озираясь по сторонам шепотом: "я (нрб) возиться с их болячками!" (нрб) честнейший человек, Короленко, Водовозов, Иорданский. Скажи им о том, что я сейчас пишу, скажи даже в самой смягченной форме. Конечно, они не согласятся и обо мне уронят несколько презрительных слов, как о бывшем офицере, о человеке без широкого образования, о пьянице, ну! в лучшем случае как о *enfant terrible*. Но в душе им еврей более чужд, чем японец, чем негр, чем говорящая, сознательная, прогрессивная, партийная (представь себе такую) собака. Целое племя из 10.000 человек каких-то Айно, или Гиляков, или (нрб), где-то на крайнем севере перерезали себе глотки, потому что у них пали олени. Стоит ли о таком пустяке думать, когда у Хайки Литман в Луцке выпустили пух из перины? (А ведь что-нибудь да стоит та последовательность, с которой их били и бьют во все времена, начиная от времен египетских фараонов!) Где-нибудь в плодородной Самарской губернии жрут глину или лебеду — и, ведь из года в год! — но мы, русские писатели, т. е. ты, я, Тихонов, Водовозов, Гальперин (нрб) Городецкий, Шайкевич и Кулаков испускаем вопли о том, что ограничен прием учеников зубоврачебных школ. У башкир украли миллион десятин земли, прелестный Крым обратили в один сплошной люпанар, разорили хищнически древнюю (нрб) культуру Кавказа и Туркестана, обуздывают по хамски европейскую Финляндию, сожрали Польшу как государство, устроили бойню на Д. Востоке — и вот, ей Богу, по поводу всего этого океана зла, несправедливостей и насилия и скорби было выпущено гораздо меньше

воплей, чем при “инциденте Чириков — Ш. Аш”, выражаясь (нрб) жидовским, газетным языком. Отчего? Оттого что и слону и клопу одинаково больна боль, но раздавленный клоп громче воняет.

Мы, русские, так уж созданы нашим русским Богом, что умеем болеть чужой болью, как своей. Сострадаем Польше и отдаем за нее жизнь, распинаемся за еврейское равноправие, плачем о бунтах, волнуемся за Болгарию, идем волонтерами к Гарибальди и пойдем, если будет случай, даже к восставшим (нрб). И никто не способен так великодушно, так искренно, (нрб) бескорыстно и так (нрб) бросить свою жизнь псу под хвост, во имя призрачной идеи о счастье будущего человечества, как мы. И не оттого ли нашей русской революции так боится свободная конституционная Европа с Жоресом и Бебелем с (нрб) и французским буржуем во главе. И пусть это будет так. Тверже, чем в мой завтрашний день верю в великое мировое загадочное предназначение моей страны и — в числе всех других ее милых, глупых, грубых, святых и нелепых черт — горячо люблю ее за безграничную христианскую душу. Но я хочу чтобы евреи были изъяты из ее материнских забот.

И чтобы доказать тебе, что мой взгляд правилен, я тебе приведу тридцать девять пунктов.

Один парикмахер стриг господина и вдруг обкарнав ему полголовы сказал “извольте”, побежал в угол мастерской и стал ссать на обои. И когда его клиент окончил от изумления, Фигаро спокойно объяснил:

— Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с.

Таким циркульником во всех веках и во всех народах был жид, со своим грядущим Сионом, за которым он всегда бежит, бежит и будет бежать, как голодная кляча за куском сена, повешенного впереди ее оглобеля. Пусть свободомыслящие Юшкевич, Ш. Аш, Свирский и даже Васька Рапорт не говорят мне с кривой усмешкой об этом стихийном стремлении как о детском бреде. Этот бред (нрб) рожденным от еврейки (нрб) еврея присущ (нрб), как (нрб) охотничье чутье и звероловная страсть. Этот бред скрывается в их скорбных глазах, в их неискоренимом рыдающем акценте, в плачущих завываниях на концах фраз, в тысячах (нрб) мелочах. Но главное в их поразительной верности религии (нрб), стало быть (нрб) и в гордой (нрб) от всех других народов.

Корневые волокна дерева вовсе не похожи на его цветы, а

цветы на плоды. Но все они — одно и то же и если внимательно (нрб) и если мы примем мишуреса из Проскурова, балагулу из Шклова, сводника из Одессы, фактора из Меджибора, цадика из Крыжополя, хасида из Фастова, бокаляра Шмуклера, контрабандиста и т. д. — за корни — а Волынского с Дымовым и с Ашкенази за цветы, а Юшкевича и Дымова за плоды, а творения их за семена — то во всем этом растении мы найдем один вкус — еврейскую душу, и один сок — еврейскую кровь.

А кровь — *das ist ein ganz besonderer Gaft* как сказал Гейне. У всех народов мира кровь мешанная и отливает остротой. У одних евреев кровь чистая, голубая. 5000 лет хранения в безупречной герметической закупорке. Но — ведь в течение этих 5000 лет каждый шаг каждого еврея был направлен, (нрб), благословен и одухотворен религией — одной религией! — от рождения до смерти, в беде, (нрб), любви, ненависти, горе и весельи. Пример единственный и может быть самый величественный во всей мировой истории. И именно поэтому-то душа Шолом Аша и Волынского и душа гайсинского меламеда мне более чужды, чем душа башкира, финна или даже японца.

Религия же еврея — и в молитвах, и в песнях, и в сладком шепоте матери над колыбелью и в приветствиях и в обрядах говорили об одном и том же каждому еврею: бедному еврейскому извозчику и сарронскому цветку еврейского гения — Волынскому. Пусть в Волынском и в балагуле ее слова (нрб) несколько по-разному.

Балагула:

- а) еврейский народ — избранный Богом и ни с кем не должен смешиваться.
- б) Но Бог разгневался на его грехи и послал ему испытания в среде иноплеменных
- в) Но он же пошлет Мессию и сделает евреев властелинами мира.

Волынский и Аш:

- а) Еврейский народ — самый талантливый, с самой аристократической кровью.
- б) Исторические условия лишили его государственности и почвы, подвергли гонениям.
- в) Но никакие гонения не сокрушат еврейство, и все лучшее сделано будет только евреями.

Но в сущности — это один и тот же язык. И что бы не надевал на себя еврей — ермолку, пейсы и лапсердак — или цилиндр и

смокинг, крайний ненавистнический теологизм (?) или атеизм и ничшеанство, безоговорочную, оскорбительную брезгливость к гою (свинья, собака, гой, верблюд, осел, менструирующая женщина — вот “нечистые” по нисходящей степени, по Талмуду) — ловкую фальсификацию теории о “всечеловеке”, “всебоге” и “вседуше” — это все от ума и внешности, а не от сердца и души.

И потому каждый еврей ничем не связан со мной ни землей, которую я люблю, ни языком, ни природой, ни (нрб), ни кровью, ни любовью, ни ненавистью. Да ни ненавистью. Потому что еврейская кровь загорается (?) ненавистью только против врагов Израиля.

Если мы, все, — люди, — хозяева земли, то еврей всегдашний гость. Он даже нет! не гость, а король — авимелех — попавший чудом в грязный и глупый участок при полиции. Что ему за дело до того, что рядом кричат и корчатся избиваемые пьяные рабы? Что ему за дело до того, что на окнах (нрб) нет цветов и что люди, ее наполняющие глупы, грязны и злы? И если придут другие, чуждые ему люди хлопотать за него, извиняться перед ним, жалеть о нем и освобождать его — то разве король к ним отнесется с благодарностью? Королю лишь возвращают то, что принадлежит ему по священному божественному праву. Современник снова занял и укрепил свой 5000-летний трон, он швырнет своим бывшим защитникам кошелек, наполненный золотом, но в свою столовую их не посадит.

(нрб) что мы так искренно толкуем о еврейском равноправии. (нрб) ждате нам нечего от еврея. Так Николай, думая на века вечные осчастливить Пушкина, произвел его в камер-юнкеры.

Идет, идет еврей в Сион, вечно идет. (нрб). И всегда ему кажется близким Сион, вот сейчас, за углом, в ста шагах. Пусть ум Волынского и не верит в сионизм, — но каждая клеточка его — стремится в Сион. К чему же еврею строить по дороге в чуждом доме, украшать чужую землю цветами, уединиться в родственном общении с чужими людьми, уважать чужой хлеб, воду, (нрб), обычаи, язык? Все в стократ будет лучше, светлее, прекраснее, там, в Сионе.

(...) Оттого он так грязен физически, оттого во всем творческом у него работа второго сорта (нрб).

Вот мы добрались до языка стало быть сейчас будет и очередь Чирикова и его правоты.

Нельзя винить еврея за его (нрб) обособленность и за чуждой

нам вкус и запах его души. Это не он — не Волынский, не Юшкевич и не (нрб), а 5000 лет истории, у которой вообще даже ошибки логичны. И если еврей хочет полных гражданских прав, хочет свободу жительства, учения и профессии, и хочет неприкосновенности дома и личности и исповедания веры — то не давать ему их — величайшая подлость. И всякое насилие над евреями — насилие надо мной, потому что всем сердцем я велю, чтобы этого насилия не было, велю во имя любви ко всему живущему, к дереву, собаке, воде, земле... Ибо моя пантеистическая любовь ко всему живущему, к дереву, собаке, воде, земле, человеку древнее на сотни тысяч лет и мудрее и истиннее еврейской исключительной любви к еврейскому народу. Итак, дайте им ради Бога все что они просят. И на это они имеют священное право человека. Если им нужна будет помощь — поможем им. Не будем обижаться их королевским презрением и неблагодарностью — наша мудрость древнее и неуязвимее.

Великий, но бездомный народ или рассосется и удобрит мировую кровь своей терпкой, пахучей кровью или будет естественно (нрб) умерщвлен.

Но есть один — одна только область в которой простителен самый узкий национализм. Это область родного языка и литературы. А именно в ней евреи — вообще легко ко всему приспособляющиеся (нрб) Кто может спорить об этом? Каждый еврей родится на свет божий с предназначенной миссией быть русским писателем. Ведь никто как они внесли и вносят в современный (?) русский язык сотни немецких, французских, польских торговусловных, телеграфно-сокращенных нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю ужасную по языку нелепую литературу и с-д. брошюратину. Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензии. Они же — начиная от "свистуна" (словечко Л. Толстого) М. Нордау и кончая засраным Оскаром Норвежским⁵⁾ и (нрб). Мало ли чем они еще виновны перед русским словом. И делали не со зла, не нарочно, а из-за тех же естественных глубоких свойств своей племенной души — презрения, небрежности, торопливости. Ради Бога! Избранный народ! Идите в генералы, инженеры, ученые, доктора, адвокаты — куда хотите. Но не трогайте нашего языка, который вам чужд (и который... теряет теперь...). Он требует теперь самого (нрб) бережного и любовного отношения. А вы впопыхах его нам вывихнули и даже того сами не заметили, стремясь в свой

Сион. Вы его обоссали, потому что вечно переезжаете на другую квартиру и у вас нет ни времени, ни охоты, ни уважения для того, чтоб исправить свою ошибку.

И так, именно так думаем в душе мы все — не (нрб), а простой русский люд. Но никто не решается и не решится сказать громко об этом. И это будет продолжаться до тех пор, пока евреи не получат самых широких льгот. Не одна трусость перед жидовским засилием (гением?) и перед жидовским мщением (В. сейчас же попадешь в провокаторы!) останавливает нас, но также боязнь сыграть в руку правительства. Оно делает громадную ошибку против своих же интересов притесняя евреев — ту же самую ошибку, которую оно делает, когда запрещает посредственный роман и тем создает ему шум, и автору лавры гения и венец мученика. Мысль Чирикова ясна и верна, но неглубока и несильна. Оттого он и попал в лужу мелких, личных счетов, вместо того, чтобы зажечься большим и страстным светом. И (нрб) мгновенно понял это и заключил Чирикова в банку авторской зависти и Чирикову оттуда не выбраться. (нрб)

И мне очень жаль, что так неудачно и громко вышло. Чириков сам талантливее всех евреев вместе: Аша, Волынского, Дымова, А. Федорова, Ашкинази и Шолом-Алейхема и что иногда от него пахнет и землей и травой, а от них всего лишь жидом. А он сам себя посадил и дал случай жидам лишний раз заявить что (нрб). (Дав евреям права правительство отвлечет их от русской литературы. Они займутся другими профессиями?)

Эх! Писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне и читали бы сами себе вслух свои вопли. И оставили бы совсем русскую литературу. А то они привязались к русской литературе как иногда к широкому, умному, щедрому русскому душой, но черезчур мягкосердечному человеку привяжется старая истеричная припадочная блядь, найденная (нрб) на улице. И держится она около него воплями, угрозами скандалов, угрозой отравления, клеветой. Но по привычке становится давней любовницей. (нрб). И самое верное средство — это дать ей однажды по заднице и выбросить за дверь в горизонтальном направлении.

А. Куприн

Сие письмо, конечно, не для печати и не для кого кроме тебя.

(ИРПИ. Фонд Батюшкова. ф. 20, № 15, 125 (х. Сб. 1)

А ГАЗОН ТАК И НЕ ВЫРОС...

(послесловие и комментарии к письму Куприна)

Удивительный, непостижимый еврейский народ!

А. Куприн

Чириков сам талантливее всех евреев вместе: Аша, Волынского, Дымова, А. Федорова, Ашкинази и Шолом-Алейхема и что иногда от него пахнет землей и травой, а от них всего лишь жидом.

А. Куприн

Метод выращивания английского газона общеизвестен: каждое утро траву подстригать, поливать. Только. И так — 300 лет подряд. “Подряд” — это и есть традиция.

В отношении к евреям у русской интеллигенции хорошего “подряд” не получалось никогда. Иногда ей бросалась в глаза какая-то вопиющая несправедливость, и она хваталась за садовые ножницы и лейку. Например, это произошло в 1858 г. в нашумевшей истории с газетой “Иллюстрация”, которая не желала употреблять иного слова, кроме “жида”, а двух запротестовавших еврейских художников обвинила в... продажности. Вот тут 147 деятелей русской литературы, сочтя бездоказательное обвинение “порочащим честь русской литературы”, возмутились, подписали коллективный протест и таким образом общими усилиями кусочек дикой травы выкосили.

Но происходило такое редко и проходило скоротечно. Скажем, пришли 70—80-е годы и от операции, проделанной в 58-ом, не осталось и следа: в литературе, публицистике этих до —, а особенно послепогромных лет выше роста разрослись сорняки открытой вражды, неизничтоженных предрассудков (Салтыков-Щедрин называл их “бессмысленными преданьями”); лозунг времени — “ату жида”.

Однако даже в этой атмосфере массового антисемитского психоза в разных сферах культуры находились люди, бесстрашно противопоставившие себя общему ходу юдофобской кампании. Нашлись они — самостоятельно мыслившие, назависимые — в

литературе. Одни — постоянно (Мордовцев, например), другие — часто (Гарин-Михайловский), третьи — в каком-то одном произведении (Мачтет в "Жиде", Станюкович в "Исайке"); одни — только в жанре литературы художественной, другие — и в публицистике (Короленко, Горький), — но все они поставили действительность перед лицом разума и — ужаснулись. Памяти этих отважных — поклонимся. О "газоне" конечно, и речи не могло быть, они пытались хотя бы с сорняками сладить. Обычно делали это индивидуально, каждый сам по себе, но иногда, в моменты наиболее взрывные, даже объединялись. Когда антиеврейские ограничения усилились, необычайный человек В. С. Соловьев организовал декларацию против "антисемитского движения в печати", которую подписали более 100 крупных деятелей русской культуры. Запрещенная к печатанью¹⁾, она не могла помочь борьбе с плеведами. А потом — Кишиневская резня, а потом — дело Бейлиса, а потом мировая война (когда весь еврейский народ был обвинен в массовой измене), — и каждый раз наиболее благородные русские интеллигенты пытались выдрать особенно глубоко проросшие вредоносные корни. Пять коллективных протестов русских прогрессивных (главным образом) интеллигентов — это пять попыток²⁾ остановить стихийное бедствие, ослабить его губительность.

Но эти коллективные действия происходили благодаря энтузиазму отдельных светлых личностей, а главное — от случая к случаю: в массе-то своей русская интеллигенция выращиванием "газона" интересовалась слабо. Хотя иногда, когда происходило что-то уникальное, она всерьез втягивалась в воронку дискуссий и выплескивалась в них — до дна. Так произошло в 1909 г. нечто, получившее название "чириковского инцидента".

Чириков — из тех немногих очень честных и очень совестливых русских интеллигентов, кто в течение многих лет еврейским вопросом действительно болел: автор нескольких юдофильских рассказов и единственной в русской драматургии современной юдофильской пьесы "Евреи", которая широко шла в 1905—06 г.г. не только в России. И вот в 1909 г., т. е. после поражения первой русской революции, когда большая часть русской интеллигенции отошла от своих прежних передовых настроений и отхлынула от своего мимолетного филосемитизма, Чириков выразил недовольство тем, что его критикуют в большинстве не русские, а евреи. Этот национальный критерий, которого менее всего мож-

но было ждать именно от Чирикова, внесенный в чисто литературное обсуждение, вызвал острейшую дискуссию (наиболее интересные мнения были собраны и дважды изданы отдельным сборником "По вехам"), которая, сразу перехлестнув рамки самого происшествия, превратилась в обсуждение еврейского вопроса и отношения к нему русской интеллигенции.

Сам Чириков даже в годы реакции антисемитом не стал. Но время все-таки произвело некоторый сдвиг в его сознании. Случай этот — предостережение историкам: бойтесь идеализации! Жизнь сложна, ее повороты непредвиденны, она ломает любые схемы. Неожиданность эта спровоцировала многих на высказывание своих истинных взглядов. Нейтральных не осталось. Оказалось: кое-кто из тех, кого прежде евреи считали своими друзьями, теперь без стеснения переметнулись в стан врагов, другие при ближайшем рассмотрении такого высокого звания вообще не заслуживали. Истинных друзей остались единицы. В том числе, как многие думали, — Куприн. Но именно он и преподнес нам, историкам, блистательный сюрприз.

Куприну в истории русской литературы начала XX века место отведено прочное: тут и верность жизни, и психологическое мастерство, и прогрессивность.³⁾ Но меня, конечно, клонило только в одну сторону: выяснить его отношение к еврейству. Ведь писал он время от времени на эту тему и писал так, что очень даже здорово подверстывался к тем, другим писателям, которые в конце прошлого — начале нынешнего века совсем по-новому — не по-антисемитски, а по-человечески, гуманно еврейскую тему разрабатывали.

И вот однажды, будучи в ЦГАЛИ, решила я взглянуть на опись его материалов — так, на всякий случай, без определенной цели. И сразу напала на имя, мне незнакомое — Ротштейн. Влюблен этот человек был в Куприна любовью великою, многие годы собирал все, что хоть какое-то касательство к нему имело и составил, если можно так назвать, — летопись его жизни. Там и статьи, и даже маленькие газетные заметки и письма. Их множество. Одни Ротштейн дает полностью, другие цитирует частично. Некоторые остановили мое внимание. Ну, вот, например, только за один 1902 г.

Куприн описывает Л. И. Елпатьевской свою свадьбу и скандал, который на ней произошел: "Но А. Я. (речь идет об Анне Яковлевне Малкиной) поступила как форменная жидовка".

Куприн сообщает ей же: "Русские ведомости" так заморозили мой очерк, что мне надоело ждать и я его отдал в пользу голодающих иудеев в Москве. Пусть не распускают обо мне слухов, что я юдофоб".

Куприн советует М. Н. Киселеву переехать из Киева в Петербург. "Но и тут все-таки не место тебе в Киеве при эфемерной и подозрительной газетишке, при обрезанном редакторе с репутацией проходимца и едва ли не шулера" (речь идет о редакторе "Киевской газеты" Френкеле). Куприн

взывает к самолюбию приятеля: "Ты же дурень, если останешься в Киеве, то так и останешься тем гоем, которого жида не принимают в субботу и которому платят по 20 коп." Говоря о газете "Петербургский листок" он пишет, что там "... все эти Фриденберги, Шуфы, Пчелы, Борей (нрб) прости господи, говно".

Куприн пишет А. М. Федорову о его пьесе "В чем сила": "Словом из его (речь идет об А. И. Богдановиче – В. Л.) резюме я вывел такое заключение, что если б ты послал такую штуку, где действующими лицами были бы страшно вумные из под себя студенты Писсенштейн и Гольденберг (Куприн намекает на моду на еврейство – В. Л.), где толковали бы о Марксе и Бернштейне и где были бы посрамлены народники – тогда дело другого рода".

Жида... жида... По разным поводам, в разных сочетаниях и что-то многовато. В моих воспоминаниях Куприн какой-то иной. Надо проверить. И полузабытое – перечитываю. Вот он – тот самый 1902 г. Рассказ "Трус" – очень недурной: тут два четко выписанных еврейских образа – отважный жестокий контрабандист и трус-актер (в голосе его, говорит автор, "трепетала древняя, многовековая библейская скорбь, которая, точно плач по утерянном Иерусалиме, рыдает во всех еврейских молитвах и песнях"). И однако рассказ этот мне что-то не нравится. Как бы это пояснить... Разумеется, в литературе не существует запрета на профессии и свойства, но тем не менее есть такие, которые себя полностью дискредитировали, которые невозможно воспринимать вне литературной традиции. Если оба еврейских персонажа резко отрицательны, если из множества занятий и необычного моря характеров писатель снова останавливает взгляд на тех, которые именно в применении к евреям слишком часто выставлялись, как главенствующие и осуждались, то получается неприятная рутинность. Это не может не снижать доверие к рассказу: после множества трусов и контрабандистов антисемитской литературы – опять они же. И от этой повторяемости (только ли нечаянной? только ли бездумной?) реалистическое мастерство автора теряет свою убедительность. Может быть, так получилось потому, что это – первый у Куприна рассказ на еврейскую тему, автор еще недостаточно самостоятелен в выборе персонажей, в их трактовке, и в этом – следы привычного, традиционного?.. Может быть. Но – царапает. Сильно царапает. А то, что инсценировку этого рассказа поставил единственный абсолютно антисемитский театр России – суворинский (где оба центральных персонажа были сыграны в резко антисемитской манере) – это подтверждает: да, царапнуло не случайно.

И все-таки... А вдруг это просто болезненная подозрительность, никогда не покидающая того (отдельную личность или целый народ), кто перевидал на своем пути много зла, несправедливости и кому поэтому везде чудится подвох? А вдруг да и у меня тут какое-то бессознательное предубеждение? Нужно постараться быть объективной. Взять хотя бы "Жидовку" (1904 г.)

Ведь тут – и восхищение красотой еврейской женщины, ее необычайной ролью в сохранении рода ("живая загадка может быть самая необъяснимая и самая великая в истории человечества"), и раздумье над уникальностью

народа, к которому она принадлежит ("удивительный, непостижимый еврейский народ"), даже как бы некая перед ним растерянность и изумление перед его жизненной силой ("Почем знать: может быть какой-нибудь высшей силе было угодно, чтоб евреи, потеряв свою родину, играли роль вечной закваски в огромном мировом брожении?"). Вот только... Почему, собственно говоря, название такое – не "Еврейка", а "Жидовка"? Просто потому, что автору так привычнее? Ведь как и он сам, герой рассказа, доктор, претолочно эту "пустяковую" разницу чувствует: словцо, которое вначале готово было выпорхнуть, в горле у него застряло, поперхнулся, но не только язык не повернулся, а даже мысленно "жидовкой" ее, красавицу-корчмарку, – не назвал: доктор – он эстет, ничего не скажешь. А вот писатель Куприн – тот посмел, прямо так в заглавии и припечатал. Но несмотря на эту "неувязку" с содержанием, впечатление от рассказа такое, что писала его дружеская рука. В этом убеждают и следующие по времени (1906 г.) рассказы "Гамбринус" (о любимце портового кабачка, еврейском скрипаче, изуродованном полицией за отказ от исполнения, по требованию черносотенцев, гимна) и "Обида" (тут за полуанекдотическим сюжетом таится благородная мысль о том, что даже уголовники отмежевываются от погромщиков).

А потом Куприн пишет "Суламифь": восторженно о красоте и самоотреченной любви еврейки. Снова открываю Ротштейна. Вот письмо о ней, о "Суламифи": проданную издательству "Шиповник" рукопись повести Куприн, нарушив договор, перепродал сборнику "Земля". Чтобы выйти из этой некрасивой истории, он предложил "Шиповнику" вернуть аванс и уже произведенные расходы (набор, печать). В письме Бунину он выразил уверенность, что эта финансовая операция удастся. Имея в виду руководителей обманутого им "Шиповника" З. Гржебина и Баденвейлера, он пишет: "Жидочки на это пойдут". Снова "жидочки". Ох, как все это одно с другим не согласуется... Ищу разгадку в рассказах – не нахожу. Позже он пишет "Свадьбу" – рассказ, быть может, наиболее сильный, негодующий: картина радостной, красивой, мирной, трогательной своей патриархальной наивностью еврейской свадьбы в небольшом местечке и тупой, озлобленный, невежественный подпрапорщик, которого ласково пригласили в качестве гостя, но который, напившись, устроил дебош и своими дикими антисемитскими выходками, своим хамством чуть не сорвал праздничное веселье. А через пару лет в частном письме: "А Чуковский – сволочь, говно, одесский грязный жид..."

Озадачивает это: письма на рассказы никак, ну никак не накладываются. Между ними даже не зазор – пропасть. Где же все-таки логика? И как все это надлежит понимать?

Снова вчитываюсь в летопись Ротштейна и вдруг натываюсь на то, чего раньше не заметила: еще какой-то отрывок. Письмом это, собственно, не назовешь: две-три полуборванные фразы... бесконечные загадочные отточия (пропуски)... самого-то текста почти нет. Но небольшое уцелевшее – о евреях, и что-то нашептывает, что отцензуровано это до потери смысла – не даром, что прочесть это – необходимо. И я добросовестно выписываю все "позывные" этого эпистолярного ребуса: адресат – Ф. Д. Батюшков,

дата – 18 марта 1909 г., место хранения оригинала – Институт русской литературы Академии наук.

И вот – Ленинград, Пушкинский дом, письмо дорогому другу (17 лет сердечной близости) Батюшкову, ответственному редактору петербургского литературно-научного журнала "Мир Божий", в котором Куприн постоянно сотрудничал. Если б это было написано на другом языке, я, конечно, подумала бы, что попросту ничего не понимаю и полезла бы в словари проверять каждое слово. Но ведь написано-то по-русски! Мистификация? Да нет, какое там! Нельзя не верить глазам своим. Верьте и вы.

Письмо написано в запале, в ажиотаже, в ярости. Тут не до изящества слога, не до синтаксиса (я сохранила авторский) и, конечно, не до каллиграфии. Поэтому отдельные слова и даже целые предложения мне расшифровать не удалось. (Кто-нибудь когда-нибудь, при более подходящих условиях мною непонятое – восполнит). Но и того, что я сумела прочесть, – достаточно.

Находка этого письма – почти случайность, объяснение же его – необходимость. Ссылкой на загадочность психологии личности тут не отделаешься. И я пытаюсь отыскать объяснение. Мое – рабочая гипотеза, не более. (Полагаю, что возможны и другие варианты. Будет интересно с ними познакомиться.)

* * *

Обычно сейсмические землетрясения, выворачивающие земную твердь, – внезапны. В противовес им "землетрясения" в социальных отношениях и общественной психологии в общих чертах (не в конкретных деталях, конечно) – предсказуемы. В их кажущейся шоковой необходимости обнажаются и социальные процессы, и потаенные психологические пласты. Кроме того эти "землетрясения" – поучительны.

Поучительность "Письма" – многообразна. Начать с того, что это не метаморфоза, а самораскрытие: наружу вывернулась духовная твердь.

Куприн никаких публичных заявлений не делал, это слишком ответственно, можно навлечь на себя массу неприятностей. А вот в письме близкому другу он самообнажается до конца. "Письмо" – исповедь, дневниковая запись. Тем и интересно. Очень длинное (13 страниц размашистым почерком), оно дышит убежденностью, в нем то, что давно назревало и вот теперь прорвалось, излилось. Те отдельные недоброжелательные замечания в адрес евреев, которые делались им и ранее, здесь получили некое развернутое, даже, пожалуй, теоретическое обоснование. Потому его следует рассматривать как выражение *credo*.

Разумеется, можно подробно, тезис за тезисом, как обвинительный акт, разобрать, прокомментировать этот документ (ибо это личное послание — общественный документ), причем не только с позиций дня сегодняшнего, но даже и того, когда был написан. Можно было бы сказать и о невежестве автора (в понимании принципов иудаизма, например), и о его враждебной предвзятости (будто откуда-то из подвала завистливо злобствующий плебей судит-рядит об аристократе), и о каких-то внутренних противоречивостях, и о совмещении признания исключительности этого народа со страстным желанием от него избавиться (“Но я хочу, чтоб евреи были изъяты из ее материнских забот”). Можно было бы даже сказать, что некоторые наблюдения Куприна сами по себе правильны: еврей, кем бы он ни был, в глубине души действительно мечтает о Сионе; верность религии — действительно мощный фактор в сплочении народа; русская литература русскому действительно ближе; многим русским интеллигентам евреи действительно чужды; (и только нежелание солидаризоваться с ненавистным режимом удерживало многих от высказывания искреннего отношения к еврейству); но ни на чем этом я останавливаться не буду. Потому что не сам Куприн меня интересует (это дело его биографа), а другое: почему не вырос газон. И вот на этот-то вопрос “Письмо” отвечает, если и не исчерпывающе, то во всяком случае достаточно полно.

Оно — ценнейший документ не только личной, но национальной и общественной психологии. Оно — манифест русского культурного антисемитизма: в личности Куприна — “личность” большой части русской интеллигенции.

Может быть, самое важное в “Письме” — это тон. Здесь — то, что Куприна волновало издавна, что думано-передумано и, наконец, прорвалось вспышкой ослепляющей ярости: рассудок замолк, во весь голос кричит атавистический инстинкт. И прогрессивный писатель жидится и, совсем как новоявленный еврей, пишет о стремлении евреев к мировому господству, оправдывает многовековую ненависть к ним. (“А ведь чего-нибудь да стоит та последовательность, с которой их били и бьют во все времена...”). Разоблачать друзей, особенно если их так мало, как у еврейского народа, — занятие неприятное. Но это лучше самообмана.

О многом из того, о чем он говорит в “Письме”, — о еврейской спайке, о чистоте еврейской крови, о древности нации — он писал и прежде. Но если прежде со знаком плюс, как об изумительных чертах непостижимого народа, то теперь — со знаком минус. Все, что раньше казалось ему удивительным, заслуживающим преклонения, — сейчас обернулось пороком; все, что раньше резко осуждалось, — теперь стало безразлично.

Характерный пример – отношение к погрому. В "Гамбринусе" в "Обиде" оно – негодующее: "Утром начался погром. Те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением под символами завоеванной свободы, те же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто в великую тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: "Идите. Все будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью". Или: "Никто из нас не забудет ужасов этих кровавых дней, этих ночей, озаренных пламенем пожаров, этих женских воплей, этих необрушенных, истерзанных маленьких детских трупов".

В "Письме" же отношение к погрому – снисходительное: ну, выпустят у Хайки пух из перин, велика важность, – а о том, что попутно ей в голову вобьют десяток гвоздей, он уже не думает. За каких-то три года изменение – неправдоподобное до правдивости, не так ли?

Был только один пункт, который Куприн решал в положительном для евреев смысле: права им нужно дать. В этом он солидаризировался с передовой русской интеллигенцией. О том, что "права нужно дать", говорили государственными и общественными деятелями, социологами, историками, писателями уже давно – чуть ли не с 50-х–60-х годов XIX в. Вопрос этот стоял и перед властью: он был решен в положительном смысле в высших органах (ограничения прав все равно "будут отменены, но не как дар свыше, а как уступка захвату", – записывает свое мнение в дневнике один сенатор), но царь не согласился и все осталось по-прежнему. Между прочим: это, казалось бы, минимальное требование вовсе не было таким уж минимальным и общепризнанным: черносотенцы резко выступали против любых попыток изменить существующее положение. В своей пьесе "Законодатели" Пуришкевич писал:

Русский: "Но час, когда в безумии жестоком

Дерзнете вы еврею дать права,

Вам не простят, вас проклянут, он станет вам уроком...

Народ: Я те дам! Ишь вздумал что!

"Правов жидам!" Хреста на людях нет!

(Однако показательно, что этот опус самого шефа черносотенцев поставлен нигде – даже в суворинском! – не был: время для сценического антисемитизма в таких "лошадиных" дозах прошло).

Куприн-художник чувствовал, что антисемитизм – от невежества, мещанства, бескультурия. Скажем, когда ему надо было нарисовать образ солдата-недоучки в "Свадьбе", он эту черту блестяще использовал: "Размахивая шашкой он орал: "Подождите, сволочи, дайте срок, мы еще вам покажем кузькину мать. Мы вам покажем, как есть мацу с христианской кровью. Теперь уже не пух из перин, а кишки из вас выпустим". Совершенно тот же прием и в "Жидовке", где одной деталью дан портрет: "– Жиды! – заревел вдруг мужик страшным голосом и изо всей силы треснул кулаком по столу. – Жиды, матери вашей черт! Уб-бью!..." Даже в произведениях,

посвященных другим проблемам, Куприн умеет одним штрихом – отношением к евреям – обрисовать суть человека. Например, в "Поединке" (1905 г.) ефрейтор обучает взвод: "Унутренними врагами мы называем усах, сопротивляющихся закону. Например кого?" И вымуштрованный солдат с покорной готовностью отвечает вызубренное: "Так что бунтовщики, студенты, конокрады, жидаы и поляки".

Но как обычный русский дворянин (да еще офицер), – он нес это в самом себе, нес с пеленок – от воспитания, окруженья, (этого не выкинешь), от всего, что составляло представления людей его круга не в одном поколении. Произошел небольшой провоцирующий толчок – "инцидент" – и головное "понимание", и головное "сочувствие" слетело, а внутреннее, сокровенное, неотъемлемо свое прорвало хрупкую оболочку приличий, отбросило, как ненужный хлам, все красивые слова. И мощный перевес получило начало негативное, исконное.

Куприн сознается, что еврей ему предельно чужд, и уверен, что всем русским интеллигентам – тоже. И от этой осознанной чуждости, от уверенности, что мосты наводить бесполезно и не нужно – грубость, брань, раздражение. И если уж никак нельзя изгнать "их" из общественной жизни, то необходимо остаться в своем кругу хотя бы только в самой дорогой области – в литературе.

Именно проникновение евреев в литературу возмущает его более всего. Он уверен, что русский язык испортили именно они. И хочет он одного: чтоб они "оставили бы совсем русскую литературу". Многое он бы "им" простил – только не это. Чуть позже он пишет И. А. Бунину: "Житомир это тот же литературный Петербург. Только здесь Флексер, Дымов, Дм. Цензор, Свирский, Минский, Фруг, Шолом Аш, Блок (? – В. Л.) и Городецкий Лихонин – занимаются факторством, продажей старых штанов, сводничеством и мошенничеством. И все-таки здесь они более терпимы, чем в литературе". Чем в литературе... А еще немного позже он опять пишет Батюшкову: "... Кстати о евреях. Мне бы тоже очень хотелось видеть и мою подпись под письмом "Речи".⁴⁾ (Куприн имеет в виду коллективный протест против обвинения Бейлиса). Мое мнение ценно, как мнение истинного юдофоба. Оговариваюсь: я юдофоб только в смысле трех вещей: еврейского искусства, еврейской философии и еврейского высокомерия". Отвергая все обвинения евреев в употреблении христианской крови, он однако саркастически замечает, что одним из способов мести со стороны евреев является "писать рассказы на русском языке". На русском языке... Именно это – участие евреев

в русском литературном процессе для него абсолютно неприемлемо.

(Обстоятельство это – вполне закономерно. Если писатель Куприн стремился к очищению от евреев русской литературы, то абсолютно то же самое происходило и в другой области художественной культуры – театре, где потаенная борьба о допустимости пребывания там евреев вылилась в открытый острейший конфликт в 1901 г. на 2-ом Съезде сценических деятелей. Знаменитая актриса П. Стрепетова потребовала их изгнания – в частности, на том же “основании”, что и Куприн: “Кто испортил русский язык актера? Еврей!” У Стрепетовой оказалось так много сторонников, что в какой-то момент на ее сторону перешло большинство съезда).

“Письмо” – крик души, откровенье: “...и не для кого кроме тебя”, – пишет Куприн. Поэтому-то так искренен, так откровенно взбешен. Всякие дипломатические оговорки отброшены, они не нужны, они только мешали бы полнее, точнее выразить возмущение. “Купринский инцидент” действительно остался тайным, себя необнаружившим, известным только одному человеку. Трудно даже вообразить, что поднялось бы в обществе, если б эти мысли стали его достоянием! Ведь Чириков стал притчей во языцех из-за одной бестактно-неосторожной фразы, двусмысленно прозвучавшей, которая не идет ни в какое сравнение с тем, что написал Куприн.⁶⁾ Рядом с его бешеным шовинизмом замечание Чирикова – невинный лепет. (Кстати: в письмах друзьям Чириков вполне искренне возмущался обвинениями в антисемитизме. А Куприн в письмах друзьям вполне искренне называл себя юдофобом).

И тем не менее есть точка, в которой взгляды обоих писателей сходятся. Это – чуждость еврея русской культуре. Жаботинский считал, что в этом Чириков прав: мы не жили русской дворянской, купеческой, чиновной, крестьянской жизнью и нам она не может быть так близка, как русским. Может быть, для понимания замечания Чирикова этого комментария достаточно. Но для понимания “Письма” – его мало. Здесь следует прибавить: глубочайшие корни, укрепившиеся в психологии русского, даже и образованного человека, так и не отошли.

Пусть никакого “выхода” в общественную жизнь мысли Куприна не получили. Но они интересны как еще одно, энное доказательство чрезвычайной шаткости русской интеллигенции в еврейском вопросе, легкости, с какой она изменяла сама себе, своим былым прогрессивным настроениям. Это происходило потому, что убеждений у нее не было: только флюиды, настроения. Они

сменяли друг друга под влиянием мелочей, случайностей. Как поверхностные штрихи, они ложились на прочную грунтовку исконного, глубинного недоброжелательства.

Источник противоречий, непоследовательности, непринципиальности в еврейском вопросе, присущих русской художественной интеллигенции в том, что ее гуманизм был "бумажным", необеспеченным "золотом" — выстраданными убеждениями. Интеллигенция в еврейском вопросе была подобна слабому огню: чистые ветры обновления, прогресса раздували пламя ее негодования, оно полыхало: дурные ветры реакции загрязняли воздух копотью.

И тем не менее в XX веке протестующих стало больше, они стали чувствовать себя увереннее. Даже если они не верили в результативность своих протестов — они все же протестовали; даже если они ощущали себя донкихотами — они на мельницы все же бросались. Иначе они — некоторые — уже не могли. Но только — некоторые.

...Чтоб вырастить настоящий "газон" нужно сильное желание. Тогда все остальное — приложится. В массе русской интеллигенции такого упорного желания не было никогда. Поэтому "газон" в России — ни тогда, ни теперь — так и не вырос.

Примечания

1) Тот факт, что Декларация была подписана многими, еще раз доказывает, что в среде русской интеллигенции были люди, мыслявшие самостоятельно. Правда, в большинстве они не были активными, зачастую ограничивались лишь выражением сочувствия, но они все же были.

За свои религиозные взгляды, так же, как и за свое выступление против антисемитизма русской прессы Соловьев подвергался травле, бойкоту со стороны правительственных органов. Он написал письмо царю, в котором жаловался на то, что в России его не печатают уже пятый год, что за критические замечания его обвиняют в "колебании исторических основ русской церкви, государства и народности". Далее Соловьев писал: "Наконец, в самое последнее время, когда ввиду постоянного нарушения в русской печати государственного закона, строго воспрещающего возбуждать ненависть и презрение одной части населения против другой, я присоединился ко многочисленным писателям и ученым, пожелавшим во имя справедливости и закона (следуя уже бывшим в литературе примерам) выразить свое порицание нашей антисемитской печати, особенно виновной в таких злоупотреблениях, министерство внутренних дел, основываясь на неверных слухах, не допустило появиться этому заявлению, хотя оно относилось единственно к антисемитскому движению в печати и ничего противоправительственного не содержало".

Министр внутренних дел в своем докладе царю 22.XI.1890 г. жалобу

Соловьева комментировал так: "В последнее время дошло до моего сведения, что Соловьев сочинил протест против какого-то угнетения евреев в России и употребляет все старания, чтобы привлечь к подписанию его как можно более лиц, подвизающихся на литературном поприще. Не сомневаясь, что подобная демонстрация может причинить только вред и послужить на пользу нашим недоброжелателям в Европе, старающимся искусственно возбуждать еврейский вопрос, я распорядился, чтобы означенный документ не появлялся на страницах наших периодических изданий". Это замечание И. Дурново вызвало одобрение царя (на полях доклада): "Очень хорошо". Что же касается всего письма Соловьева, то развернутое замечание Александра III показывает как то, что русский самодержец вдуматься в суть дела попросту не желал, так и то, что надеяться Соловьеву не на что: "Сочинения его возмутительны и для русских унижительны и обидны".

2). Это вовсе не означает, что все "подписанты" болели душой за еврейский народ. Например, украинцы (Костомаров, Марко Вовчик и др.) обставили свои подписи под протестом 1858 г. такими оговорками, которые почти сняли его смысл. Так происходило и далее. Например, Л. Толстой, подписавший и соловьевскую Декларацию, и письмо городскому голове Кишинева, прямо признавал, что еврейский вопрос у него "на 83-ем месте".

3). Кое-какие сомнения по части прогрессивности Куприна у меня имеются. Например, связь с "Новым временем" никого и никогда не украшала, а у него она, оказывается, была прочная. В письме Суворину Куприн предлагает: "Может случиться, что Вам когда-нибудь будет скучно и придет мысль поругать власть новое искусство (мы с вами еще не добрались до Кузьмина) – я к Вашим услугам", (подчеркнуто мною – В. Л.) Псевдоним, под которым Куприн сотрудничал в "Новом времени", пока не раскрыт. Фактом является и то, что Куприн стремился ставить свои пьесы в суворинском театре, который все прогрессивные русские писатели обходили стороной. В том же письме, выражая сожаление по поводу того, что не была достигнута денежная договоренность о постановке там его пьесы ("дело у нас разошлось из-за пустяков"), он тем не менее выражал надежду, что в будущем их союз осуществится: "Предчувствие мне говорит, что если не в этот раз, то в третий – а я все-таки поставлю на Вашем театре пьесу. Это мое искреннее желание". И действительно – поставил, да не раз.

4). Для Куприна процесс Бейлиса был совершенно тем же, чем было для Чехова дело Дрейфуса: преступная судебная комедия, вопиющая несправедливость. Куприн возмущался бы этим делом точно так же, если бы на скамье подсудимых сидел не еврей: с национальным вопросом он его не связывал. Так как лучшая часть русской интеллигенции против этого дела резко восставала, нельзя же было и ему от нее отстать.

5). Оскар Норвежский – Оскар Моисеевич Картожинский, театральный критик и драматург.

б). Ошибка, которая произошла с оценкой отношения Куприна к евреям, естественна: обнародованы ведь только его произведения, в которых он "за", а не его письма. Куприн – единственный случай в русской литературе, когда художественное и эпистолярное друг другу противоречат. Ростовщик в "Скупом рыцаре" – это и есть истинное отношение Пушкина, Моисей в "Испанцах" – это и есть истинное (в то время) отношение Лермонтова. А у Куприна – прямо-таки наоборот.

М. Хейфец

ПРОТИВОРЕЧИЕ КУПРИНА?

О существовании письма А. И. Куприна к профессору Ф. Д. Батюшкову, редактору журнала "Мир Божий", мне было известно задолго до его опубликования в журнале "22": советский литературовед О. Михайлов посвятил отклику на него три книжных страницы в сочиненной им биографии писателя (см. "Куприн", серия ЖЗЛ, М., 1981, стр. 138–140).

В огромном опусе О. Михайлова нет ни одной цитаты из текста; фактически даже тема, даже смысл письма остались нерасшифрованными. Наличествуют – "оценки". С одной стороны, Куприн вроде бы в письме к Батюшкову опасался "узкого религиозного фанатизма", "протестовал против фанатического национализма в любых его проявлениях – от черносотенного "Союза русского народа" до сионистских идей" (далее у Михайлова долгая брань в адрес В. Жаботинского, против которого якобы было направлено "особое несогласие и даже возмущение" Куприна). Но, с другой, "сам Куприн невольно подпадает под воздействие сионистской пропаганды.. В его письме к Батюшкову попадают прямые заимствования и раскавыченные цитаты из Жаботинского. И, конечно, обобщения Куприна никак не могут быть приняты сегодня, когда несостоятельность сионизма стала окончательно очевидной в наше время". Я искал текст письма Куприна в специальных изданиях и журналах – напрасный труд. Теперь, благодаря самоотверженному труду д-ра В. Левитиной по изучению еврейской темы в истории русского театра, это письмо опубликовано и стало известно читателям.

К сожалению, "рабочая гипотеза" В. Левитиной по моей оценке – ниже ее выдающихся заслуг как публикатора. Попросту говоря, ее "рабочая гипотеза" – не работает.

В. Левитина противопоставляет "головное сочувствие" еврейскому народу в рассказах Куприна, эту "хрупкую оболочку приличий", "красивые слова, отброшенные, как ненужный хлам" – "исконному" негативному отношению писателя к евреям. Противоречие во взглядах Куприна она объясняет тем, что публично писатель предпочитал идти с "лучшей частью русской интеллигенции", "нельзя же было ему от нее отстать", "передовая интеллигенция была безоговорочно "за", и в этом Куприн шел с нею в ногу", но на самом деле, в душе, он всегда оставался офицером-юдофобом, и "подлинное настроение" отразилось в частной переписке.

Первое возражение этой гипотезе вытекает из давно установленного литературоведами закона: настоящие писатели свои главные, выношенные, выстраданные убеждения выражают именно в художественных произведениях. Частная переписка вообще публикуется лишь для того, чтобы проиллюстрировать, каким сложным путем, в борениях и исканиях, выработаются взгляды художника, отразившиеся в его художественных произведениях (собственно, только это и дает нам некоторое право читать письма, вовсе не предназначенные для наших глаз, скажем, Пушкиным, Тургеневым, тем же Куприным).

Вот классический пример. А. С. Пушкин написал стихотворение "К А. П. Керн" ("Я помню чудное мгновение"...) и – письмо к Соболевскому: "Ты спрашиваешь об А. П. Керн? Так я ее наднях с Божьей помощью в...б". Какой Пушкин должен считаться "подлинным"? Он сам рассказал о себе и ему подобных в стихотворении "Поэт": "... И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь Божественный глагол до слуха чуждого коснется, Душа поэта востепенится, Как пробудившийся орел..." Будто откликаясь из прошлого на предположение д-ра В. Левитиной о хождении творцов в ногу с лучшей частью интеллигенции, Пушкин писал о своем Поэте: "... К ногам народного кумира не клонит гордой головы".

Понимаю, что А. И. Куприн – не Пушкин, а как он сам себя назвал в письме к Ф. Батюшкову, "очень недурной русский беллетрист". Но в настоящем, хотя и не гениального класса, художественном даровании ему никто и никогда не отказывал. Следовательно, общее положение, что главные, подлинные, выношенные мысли должны высказываться автором как раз в художественных произведениях, должно распространяться и на Александра Ивановича Куприна.

Факт обязательного "хождения в ногу с лучшей частью" интеллигенции в еврейском вопросе опровергается, кстати, и самой В. Левитиной: она например, упоминает, что П. Стрепетова публично выступала с "аналогичными мыслями", только в "другой области – театре". И никому же из "лучших" в голову не пришло отлучать ее от "передовой интеллигенции"! В "инциденте Чириков – Аш" против Жаботинского выступали со статьями, близкими по сути к позиции Куприна, П. Струве и П. Милюков, и как до этого "инцидента" считались они властителями дум интеллигентной России, так и после того! Боюсь, что гипотеза В. Левитиной о "двойственности" писателя, который публично исповедовал то, что считалось в "обществе" "принятым", а втайне предавался греху "исконности", порождена ее наблюдениями над более поздней эпохой в истории России. В "его время" А. И. как раз и считался "лучшей частью интеллигенции"; именно он и ему подобные литераторы сами давали "лучшему интеллигентному обществу" критерии: что приемлемо, а что – нет для порядочного человека, в том числе и в еврейском вопросе.*

* "Для Куприна процесс Бейлиса был совершенно тем же, чем было для Чехова дело Дрейфуса: преступная судебная комедия, вопиющая несправедливость, – пишет В. Левитина. – Куприн возмущался бы этим делом точно так же, если бы на скамье подсудимых сидел не еврей: с национальным вопросом он его не связывал". Трудно подыскать более выразительную

Как известно, Е. Чириков был обвинен в "антисемитизме" потому, что на обсуждении его пьесы, действие которой происходило в русской среде, сказал критикам, что они не понимают национальной специфики того произведения, о котором взялись судить, и что он предпочел бы, чтоб его пьесу судили люди, которые русскую действительность знают, т. е. люди русские, а не еврейские театроведы Санкт-Петербурга. В наше время справедливость просьбы, чтоб произведение оценили люди, разбирающиеся в национальной специфике жизни и искусства, наверно, считалось бы элементарно справедливым!

Я вспомнил об этом, когда читал следующее место из статьи В. Левитиной:

"Весьма возможно: многие идеи Куприна правильны сами по себе: что еврей, кем бы он ни был, мечтает о Сионе; что верность религии предков — основа сплоченности народа; что русская литература русскому ближе; что в сем русском интеллигентам евреи чужды, но они не могут высказать этого из опасения солидаризоваться с правительством. Но самое важное в письме — его тон... Рассудок замолк, во весь голос кричит атавистический инстинкт".

В числе мыслей, которые в наше время В. Левитина считает "весьма возможно, правильными", названа как раз та, за которую 75 лет назад Чирикова единодушно объявили антисемитом тогдашние коллеги д-ра Левитиной — столичные театроведы. Я лично не считаю правильной ни одну из этих мыслей, но на сем примере лишний раз напоминаю, как сложны оценки в таком тонком вопросе и как осторожно следует подходить к нему, когда имеешь дело с художником.

Отсюда — прямой выход к письму Куприна.

Сейчас мы понимаем, что "инцидент Чириков — Аш" не носил локально-писательского, более того, — локально еврейско-русского характера. В этом инциденте отразился, возможно, центральный или, во всяком случае, громаднейшей важности вопрос о существовании Российской империи и многих других империй XIX века.

XIX век развивался в русле двух "эмансипаторских" тенденций, и в их конфликте были заложены позднейшие трагические катастрофы века двадцатого: эмансипация в духе универсалистских принципов французской революции осуществлялась тогда в мире, основным элементом которого являлся подъем национальных движений. Универсализм осуществлялся, прежде всего, в рамках каждого данного этноса! (Уже в том веке вспомнили по этому поводу фразу из Второзакония: "Не паши на быке и осле вместе"). Между тем, национальных-то государств почти не существовало! Были — империи...

иллюстрацию к словам Куприна о еврейском эгоцентризме: ведь его упрекнули в том, что он защищал бы любого невинного человека, независимо от национальности. Упрек особенно нелеп, потому что Бейлиса обвиняли в "ритуальном убийстве", и на скамье подсудимых сидел фактически весь еврейский народ; не связывать "дело Бейлиса" с национальным вопросом было невозможно (Думаю, впрочем, что дело Дрейфуса — тоже).

Конфликт "Чириков – Аш" являлся частным отражением этого всемирного конфликта между признанием Прав Человека в многонациональных империях тогдашней Европы с одной стороны, и стремлением каждого народа жить своей национальной, почвенной жизнью, с другой. Выяснилось, что в империях ущемляются права не только малых, но и больших, господствующих народов. Еврейские ассимиляторы считали Чирикова "антисемитом", когда он напомнил им, что, защищая равноправие евреев, он просит их уважать и считаться и с его, русского человека, национальным правом. И он – не без роду-племени!

Сравнивая позицию Вл. Жаботинского (как она отразилась в четырех его статьях о "чириковском инциденте") с позицией Куприна, изложенной в письме к Батюшкову, мы убеждаемся, насколько прав был тогда Жаботинский. Ибо в этом мелком эпизоде еврейский публицист увидел именно отражение "океана лжи, мерзостей, насилия", о котором упомянул Куприн, а не конфликт одного литератора с "бандой литературной сволочи" (по выражению Куприна).

Жаботинский воспользовался "инцидентом", чтобы еще и еще раз напомнить: эмансипацию граждан России (и не только России) должен сопровождать процесс национального размежевания. Для евреев это означало – необходимость и неизбежность сионизма именно в контексте их борьбы за Права Человека и Гражданина.

О. Михайлов был неправ, когда упрекал А. И. Куприна в "сионистском" подходе к тому же конфликту. Куприн слышал о сионизме, но, видимо, не верил в него. Если отбросить "тон" (о нем поговорим ниже), то всерьез мысль писателя, видимо, шла тем же путем, что у тогдашних "бундовцев": решение национального конфликта он видел лишь на путях "культурно-национальной автономии": Предоставление всех возможных прав национальному меньшинству (в частности, еврейскому) при максимально возможной культурной обособленности русского и еврейского народов.

Теперь, наконец – о "тоне".

В отличие от д-ра Левитиной, тон мне представляется самым в письме неважным. На то оно письмо, частный документ, отражающий порыв души в тот момент, когда было написано. А писалось оно, когда был оболган "бандой литературной сволочи, охамевшей от наглости", "прекрасный писатель, славный товарищ, хороший человек" – по мнению хорошо знавшего его Куприна. Это для нас Чириков – фамилия из семи букв, а для Куприна это был близкий живой человек, явно несправедливо – даже по мнению д-ра Левитиной, а уж она в этом вопросе человек строжайших правил! – обвиненный в антисемитизме и сильно от этого страдавший. В Левитиной представляется, что отсутствие всяких сдерживающих начал в письме – доказательство его особой искренности. Так ли? Кто из нас в личных письмах, распахивавшись, не "срывал сердце"! Уверен, и сама Виктория Левитина не раз писала письма, в которых отражались ее гнев, боль, досада, злоба, но это вовсе не означает, что именно в тех письмах отразились ее истинные убеждения в противовес тем, якобы неискренным, которые она излагала публично.

Не тон, а мысли, вся основная концепция А. И. Куприна, изложенная им в письме к Ф. Батюшкову, представляется мне ошибочной.

Должен заранее признаться, что я вообще не верю в "противоречия во взглядах писателя", в ту, например, концепцию творчества Бальзака, которую нам внушали на студенческой скамье с помощью цитат из Энгельса. Что это вообще значит — противоречия во взглядах? Если тому же Бальзаку нравился аристократизм феодалов и королевского двора, эстетически ему импонировал, из этого вовсе не следовало, что он обязан был прославлять аристократизм как общественно-"прогрессивное" явление. Ему как художественной личности, как писателю, могло эстетически нравиться обреченное историей общественное явление, и он мог открывать видению своих читателей, что не все в уходящем в историю заслуживает осуждения, что таится в нем своеобразная красота, которую не мешает запомнить, оценить, унаследовать... Почему это надо называть "противоречиями" и "победой реализма?" Может, наоборот, — победой романтизма?

Не верю я сегодня и в противоречия во взглядах А. И. Куприна.

Мне напротив кажется, что его отношение к евреям в его рассказах, и в письмах, и в общественном поведении — достаточно цельно.

Даже из одного письма Ф. Батюшкову следует, что А. И. Куприн был писателем русского национал-либерального направления. Его "позиция по еврейскому вопросу", если возможно употребить чудовищный язык политиков в отношении писателя, определялась его национально-русскими убеждениями, он сам об этом совершенно четко говорит в письме.

Против антисемитизма и подавления евреев в Российской империи он негодовал и протестовал не ради евреев — но ради своего народа, ради русских. Антисемитизм и погромную стихию он считал великим бедствием этого народа и, рассматривая себя по русской литературной традиции в качестве народного "владельца дум", воспитателя и учителя, он во всю меру своих художественных сил воспитывал свою читающую публику — русскую — в духе уважения к другим народам империи, в частности, но не исключительно — к еврейской общине.

В отношении к русским Куприн был романтиком и украшал свой народ. Явная идеализация русских слышится в его дифирамбе будущей русской революции, которую так боятся видеть Жоресы и Бебели, с их буржуазно-европейскими душами! А в "милых, глупых, грубых, нелепых чертах" своего народа он разглядел только "безграничную христианскую душу". Наверно, кощунственно объяснять благородно-романтическую ошибку после того, как судьба покорила Куприна за это заблуждение таким страшным историческим наказанием.

Но вот что любопытно: одновременно он романтизировал и украшал и наш народ, еврейский. Преклонение Куприна перед национальной идеей вообще приводило его к восхищению чудом еврейского выживания и самосохранения, к уважению перед еврейской сплоченностью... Нет, не случайно современный советский антисемит О. Михайлов почувствовал даже в письме к Батюшкову (о других, художественных произведениях Куприна

на еврейскую тему Михайлов даже не упомянул) ”сионистское воздействие”.

Но – за что же Куприн упрекал евреев?

За то, что они – плохие граждане обожаемой им России. Плохие, потому что мысли даже тех, кто этого сам не осознает, всегда заняты Эрец-Израэль: ”К чему евреям строить по дороге в чуждом доме, украшать чужую землю цветами, уважать чужой хлеб, воду, обычаи, язык? Все стократ будет лучше, светлее, прекраснее там, в Сионе”.

Они грязны – по этой же причине: их мысли заняты переездом в Сион: ”Парикмахер стал ссать на обои. И когда клиент окончил от изумления, Фигаро спокойно объяснил: ”Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с”.

Они устраивают галдеж, истерику, они повышенно мнительны и чувствительны, не хотят по-человечески уважать и презирают даже лучшего из ”гоев”, ибо целиком захвачены идеями собственной религии: ”Он швырнет своим бывшим защитникам кошелек, наполненный золотом, но в свою столовую он их не посадит”.

Словом, наши недостатки он считал естественным продолжением наших достоинств, за которые как искренний и честный националист нас уважал: продолжением преданности нашей национальной идее и национальной вере.

Увы... Если бы он был прав – как было бы хорошо-то!

Но как не понимал он свой народ, русских, так же романтизировал и евреев.

Создание государства Израиль явилось экспериментом, который дал ответ о правильности многих общественных теорий и гипотез 19–20 вв. В частности, и гипотезы Куприна в его письме к Батюшкову.

Мы – плохие граждане России, потому что наши мысли заняты Сионом и нам некогда думать о делах и заботах земли временного проживания? Эх, Александр Иванович, если бы вы были правы.

Вот что писал о поведении значительной части евреев в качестве граждан Израйла в 1954 г. лучший в мире знаток этой проблемы – Давид Бен-Гурион:

”Народ Израйля еще недостаточно усвоил государственное сознание и ответственность, которая подобает независимому народу. В большинстве стран диаспоры евреи... вынуждены были хитрить, чтобы обойти дискриминационный порядок государства. Привычки, приобретенные на протяжении поколений, не исчезают в считанные годы, и иммигрант... не превращается мгновенно в патриота и образцового гражданина. Образцовое государство – это плод не образцовой морали, а образцового и правильно воспитанного гражданства. Конечно, дурной режим затрудняет воспитание отличных граждан, но режим сам по себе не решает всего. А народ изгнания, угнетавшийся и лишенный независимости на протяжении тысячелетий, не превращается в одну ночь, просто в результате провозглашения независимости и перемены места, в народ государственный, охотно и любовно выполняющий свои обязанности и несущий бремя независимости. Ибо независимость не только дарует права, но и налагает тяжелую ответственность.

Большинство граждан знает, как требовать от государства свыше 100 %

того, что они обязаны дать государству. Они требуют от государства услуг высшего качества, но не одобряют обложения налогами, без которых невозможны никакие услуги... В нашем государстве все еще не хватает личной культуры населения. Значительная часть населения, в том числе молодежь, не научилась относиться к ближнему с уважением, вежливо, терпимо и дружелюбно. Недостает у нас добропорядочных отношений между людьми, украшающих общественную жизнь и создающих климат общественного товарищества и симпатии..."

А Куприн думал, что мы только с "гоями" (из-за нашего высокомерия) "истерично, галдежно, с повышенной чувствительностью и повышенной страстью господствовать" разговариваем, а уж в Сионе-то "все будет сто крат лучше, светлее, прекраснее"! Увы, опыт Израиля показал, что он ошибался.

Евреи грязны физически, потому что "к чему еврею строить по дороге в чуждом доме, украшать чужую землю цветами, уединяться в родственном общении с чужими людьми, уважать чужой хлеб, воду, обычаи, язык"?! Вот что пишет современный израильский журналист Г. Челак: "У оград, у стен домов, на тротуарах, на проезжей части – всюду мусор: крышки от бутылок, окурки, обертки, консервные банки... Вспомнилась чистенькая, свежeweымытая Калифорния, откуда только что вернулся, и острой болью отозвалась в душе неряшливость соотечественников. ... Г-ди, на чужбине не утонули, а у себя дома скоро потонем в грязи! Для этого Ты вернул Святую Землю своему народу?"

Куприн исторически оказался неправ во всем, буквально в каждом тезисе своего письма! Множество евреев самозабвенно, иногда припадочно любили Россию и не хотели с ней расставаться, даже если альтернативой становился лагерь, и гибель близких, и собственная гибель: уже существующий, независимый Сион их не отвлек от нее. А сколько из них, российских евреев, потом "сигануло" мимо Сиона; а сколько уехало из него и прокляло его, потому что он оказался непохож на "потерянный рай", и не нашли они силу строить в своем доме, украшать свою землю цветами, уединяться в родственном общении со своими людьми, уважать свой хлеб, свою воду, свои обычаи, свой язык. А истеричность, а галдеж, а торопливость, эта вечная торопливость – разве они исчезли в Сионе? Если бы Куприн был прав...

Даже насчет порчи языка: Фет, Пастернак, Мандельштам... Стоит ли продолжать?

Даже там, где Куприн-художник верно наблюдал симптомы наших "галутиных" заболеваний, он не понимал ни источника их, ни следствия. Не понимал, что перед ним не исконные национальные черты, а симптомы "галутного" заболевания, которые могут быть излечены – но, лишь вековой "терапией" в собственном государстве. Не чувствовал, что "социал-демократическая брошюрatina" есть порождение языка едва ли не первого поколения евреев, говоривших по-русски, а след придут новые, которые подарят русской литературе великих мастеров русского языка, которыми Россия будет гордиться даже тогда, когда ни одного еврея не останется на ее территории.

Для меня "блистательным сюрпризом" (по выражению д-ра В. Левитиной) явилось совсем не "юдофобство" Куприна, но его ярко выраженный национальный темперамент. В качестве истинно русского человека Куприн характерно воспринимал еврея: мистически.

Он и восхищался евреем, и боялся его. А презирал, в первую очередь, еврея ассимилированного — потому что тот уверял Куприна, что он (Вольфский, Юшкевич и проч.) такой же русский человек, как сам Куприн, а сионизм есть детский бред. Куприн же как националист истинный веровал в правду и еврейского национализма — больше, чем многие евреи, его окружавшие. Ему именно еврейские националисты были близкими, (как украинские националисты были близки Жаботинскому) а ассимиляторы оставались для него "жидочками". И возникли в рассказах, в творчестве — царь Соломон из "Суламифи" и герои "Гамбринуса".

В. Левитина считает, что теперь, после ее публикации, мы больше не должны считать Куприна "другом". Почему же? "Я как истинный юдофоб настаиваю, чтобы моя подпись появилась под письмом в защиту Бейлиса..." "Жертвую рассказ в пользу голодающих иудеев, пусть не называют меня юдофобом"... Общее направление его чувств не было секретом для современников писателя! Просто тогдашние евреи оценивали Куприна по делам, по общественному поведению, а не словам. А общественное поведение было безупречным — это и д-р Левитина признает.

Главный урок письма Куприна к Батюшкову — как раз в том, что это письмо друга, а не врага евреев. И что именно так о нас мог думать даже друг и благородный человек.

Письмо Куприна заставляет нас еще раз посмотреть на себя со стороны. Увидеть еще раз наши недостатки, которые мы привезли из России и из других стран в Израиль. И заняться в условиях "нормальной жизни" самовоспитанием. То есть, перефразируя и Чехова, и Куприна, выдавливать из себя по капле припадочную истеричную блядь, которая привязалась к широкому, умному, щедрому человеку и изводила его своей любовью и угрозами самоубийства. Когда наблюдаешь за поведением многих наших соотечественников в Израиле, и за его пределами тоже, догадываешься, как много верного таилось в этой метафоре.

Поэтому письмо Куприна Батюшкову — современный и объективно сионистский документ. Не случайно в Советском Союзе его скрывают, а первая публикация появилась в Израиле — в той "больнице", где происходит выздоровление "галутного" пациента от психопатических заболеваний прошлого. Болезнь серьезная, лечение долгое, вековое. Но зато здесь "в надежде славы и добра глядим вперед мы без боязни".

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Наше дело правое, победа будет за нами!

(Лозунг)

Я ими всеми побежден

И только в том моя победа.

(Борис Пастернак)

Я тоже делаю карьеру –

Тем, что не делаю ее.

(Евг. Евтушенко)

Эдгар По считал, что если фраза, открывающая рассказ, не служит подготовке его центрального эффекта, то, значит, автор не справился с самой первой своей задачей. Этот тест “Победа” *Рассказ с преувеличениями* Аксенова выдерживает с блеском: уже первый типографский знак – кавычки вокруг слова *победа* – полон скрытого смысла, проясняющегося затем в кульминации. Я написал *проясняющегося*, но, как и водится в классической новелле, проясняется лишь то, какая именно проклятая неизвестность поставлена в фокус рассказа и будет впредь мучить нас: кто победил и в каком смысле, остается столь же неясным, как, скажем, в пушкинском “Выстреле”. Незабываемы и “мелкие” детали – недаром одна из миниатюр С.Довлатова начинается с загадки галстука, помеченного монограммой “С.Д.”, а ее финальная загадка (Christian Dior) вложена в уста “кумиру моей юности” Аксенову¹. Наконец, по-бабелев-

Александр Жолковский

“ПОБЕДА”

ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

(опыт домашнего анализа)

ски “вовремя поставленная точка” (по длине “Победа” ближе к Бабелю, чем к Пушкину или Гоголю, — всего шесть страниц) не только подчеркивает эффектную концовку, но и вообще создает тот эффект “головокружительной краткости” (Ахматова), когда каждая фраза на счету, так что требование Э. По, чтобы во всем рассказе не было ни одного слова, не ведущего к цели, поддается чуть ли не буквальной проверке.

В “Победе” есть ровно одна “лишняя” фраза. Когда на мой вопрос о цензурных трудностях с рассказом Аксенов ответил, что “пришлось вставить несколько слов”, профессионал во мне почувал вызов и рискнул: *человек в черной шинели с эсэсовскими молниями в петлицах?* Аксенов кивнул. В данном случае, профессионал, конечно, немного словчил, так как был одновременно и читателем, настроенным на общую с автором волну. Отчетливо помню свое первое впечатление от рассказа, напечатанного в июньском номере “Юности” за 1965 год, т.е. уже после выступлений Хрущева против авангардистской и оппозиционной творческой интеллигенции (весна 1963 г.) и даже после его свержения (осень 1964 г.), но еще до ареста Синявского и Даниэля (осень 1965 г.). Оттепель кончалась, Солженицына уже не печатали, но какие-то либеральные иллюзии еще оставались. В печати и самиздате шел спор между двумя направлениями — правоверным и разоблачительным. Третьего все еще хотелось, но, видимо, уже не было дано. Прочитав “Победу” я подумал что-то вроде: “Как оригинально — по форме и по существу! Вот можно же, значит, думать, писать и даже печатать нечто не укладывающееся в партийные рамки, советские и анти!” Каким образом автору удался этот идейно-художественный фокус, всегда оставалось для меня тайной, требовавшей разрешения.

С тех пор прошло почти 20 лет, а поводом для моей статьи о “Победе” стало 50-летие(!) кумира нашей юности². Из своего прекрасного далека — географического и исторического — мне хочется предложить то, что в шахматах называется домашним анализом партии. Пастернак писал, что “искусство должно быть крайностью эпохи, а не ее равнодействующей,.. связывать его с эпохой должны собственный возраст искусства и его крепость, и только в таком случае оно впоследствии в состоянии напоминать эпоху, давая возможность историку предполагать, что оно ее отражало”³. Мне кажется, что поезд, в котором вместе с героями “Победы” незримо едут Аксенов и его читатели, как бы стоп-кадром

остановлен в одно из последних мгновений оттепели — и потому становится ее отражением.

1. СТРУКТУРА

СЮЖЕТ И ХАРАКТЕРЫ: КТО КОГО?

Вкратце в рассказе происходит примерно следующее. Случайный попутчик, Г.О., узнает гроссмейстера (*далее* — Г-М), загорается идеей победить его, добивается согласия на партию, выигрывает ладью, проигрывает пешку, ладью и качество, начинает атаку в центре, его королю грозит — а, может быть, и ставится? — мат, не замечая которого он объявляет шах, а затем мат Г-М; тот поздравляет Г.О. с победой и выдает ему золотой жетон, один из большого запаса, удостоверяющий победу.

Если финал приносит анонсированные в заглавии *преувеличения*, то двусмысленность кульминационного эпизода как бы материализует кавычки, в которые взята в заглавии *победа*. То ли Г-М поставил мат Г.О., то ли наоборот, то ли, наконец, победа Г-М в том, что он по-пушкински “не оспаривает глупца” и даже иронически венчает его в конце рассказа. Эта двусмысленность обеспечена рядом средств, в частности, характерами героев.

В пользу того, что Г-М действительно поставил мат Г.О. и просто не объявил его, говорит не только его высокое звание и реальные успехи в ходе партии, но и одна “незаметная” деталь его портрета. *Никто кроме самого гроссмейстера не знал, что его простые галстуки помечены фирменным знаком “Дом Диора”*. Непосредственно следующие за этим фразы о сокрытии глаз (за очками), а желательны и губ (что, к сожалению, пока не было принято в обществе), подчеркивают установку Г-М на сокрытие, отгораживание, *privasy* и одновременно вносят первое осторожное преувеличение⁴. В результате весь абзац оказывается своего рода предвестием развязки, реализующей тему победа в кавычках как неразглашаемое торжество.

Г.О., напротив, весь нацелен на внешний успех — важнее, чем процесс игры и даже чем сама победа, для него вещественные доказательства победы и возможность будущего хвастовства.. Вульгарная установка Г.О. на все внешнее проявляется и в том, как в его случае осуществлена (характерная для символических сюжетов, об этом ниже) анонимность персонажей: оставаясь по существу безымянным, он назван через вытатуированные на руке инициалы.

Вообще все в них противоположно. Г.О. физичен (кулаки), вульгарен (банальный “Хас-Булат”⁵; *пбш*лый словарь), шумен, агрессивен, нацелен на противника, на непосредственный ход игры, на успех и на славу. Г-М — *хилляк* (слабые губы и т.п.), интеллектуал (похож на еврея, склонен к философствованию) и эстет (Диор, Бах). Он ярко выраженная индивидуальность, оберегающая свое *privasy* и сосредоточенная на своей личной жизни, а также на жизни вообще, на мировой гармонии, причем скорее на ее восприятии и сохранении, нежели на вторжении, захвате, покорении. Г.О. активен: это он завязывает игру, хочет добыть, доломать, атакует, мыс-

ленно обвиняет Г-М в жульничествах, прижимает его руками к земле... Г-М пассивен: он лишь соглашается на партию, обороняется, хочет, чтобы приняли его отказ, закрывается платком, ему нужно спасти позицию от абсурда, он гордится тем, что крупных подлоостей он не совершал, и т.д.

Г.О. — массовый тип (недаром в конце Г-М говорит: *"Я заказал уже много таких жетонов и постоянно буду пополнять запасы"*) и пошляк. Вот образцы его речи: *шахматистишки, товарищ, ха-ха-ха, поддавливаете, прохлопал, задавлю, хоть кровь из носа, залепил мат*. Мысли ему заменяют заезженные клише: *"Время-то надо убить?" — "В дороге шахматы — милое дело" — "Какое совпадение" — "Очень вас умоляю" — "Где уж мне" — "Ничего, еще не вечер" — "Невероятно, но факт!" — "Нервишки не выдержали? — "Без обмана?"*. Речь Г-М противопоставлена речи Г-О, — но не как усложненно интеллигентная, а скорее как немногословная, скромная, оборонительная, серьезная, чуткая к клише. В основном он отвечает Г.О. односложно (*"Да" — "Левая" — "Да, конечно, конечно" — "Что поделаешь" — "Простите"*), в соответствии с тютчевским принципом молчать, скрываться и таить. В своих внутренних монологах и редких словесных вылазках против Г.О. он говорит коротко и со скрытой иронией, в частности, неназойливо обыгрывая клише и вообще "чужие слова". Ср. *"Вилка в зад (...) Собственная. Личная вилка, ложка и нож (...) Также вспоминается "пирная" шуба (...) Жалко терять стариков"* (как бы цитируются словечки, принятые в семье); *"Нет, что вы, вы сильный игрок" (...), "Вы сильный, волевой игрок"* (советские спортивные клише); *"Позвольте, (...) Я дам вам убедительное доказательство" (...)* *"Податель сего выиграл у меня партию в шахматы" (...)* *Остается только проставить число...* (канцеляризм). Последние примеры, связанные с выдачей золотого жетона-справки с выигранным клише, — кульминация всей этой серии.

КОНТРАПУНКТЫ

Контраст между героями подчеркнут общей симметричностью конструкции (два противника над одной доской, оба практически анонимные) и рядом более специальных сходств. Так, наименование обоих начинается на Г-, с той разницей, что один получает длинный, престижный, "импортный" титул, а другой — вульгарную и сокращенную татуировку, намекающую на говно.

Участники поединка сразу узнают друг друга, но как: *Этот человек сразу узнал гроссмейстера (...)* *Гроссмейстер сразу понял, что его узнали (...)* *Он тоже сразу узнал тип (! — А.Ж.) этого человека*. Кстати, этими двумя абзацами задается композиционный принцип чередования точек зрения: повествование ведется неким неопределенным рассказчиком, перемежается краткими диалогами и подробно излагает мысли то одного, то другого из противников. Таким образом каждому из них даются как бы "равные композиционные права" и одновременно подчеркивается противоположность их реакций на одни и те же ситуации.

На контраст работает и еще одно внешнее сходство — между подлинной молчаливостью, тихостью, замкнутостью Г-М (*маленькая тайна; тихо сказал; пробормotal; благоговейной и тихой радостью*) и напускной тихостью

Г.О, плохо скрывающей его хамство и агрессию. Вот ремарки к его словам и жестам: *с наивной хитростью потянулся и равнодушно спросил (...) схватил слишком поспешно для своего равнодушия; "...прохлопал", пробасил Г.О., лишь последним словом выдав свое раздражение – "Шах"; тихо и осторожно сказал Г.О. (...) Он еле сдерживал внутренний рев; "Мат", как медная труба, вскрикнул Г.О.; "Уф", сказал Г.О., "уф, уф, прямо запарился", захохотал Г.О. (...) "Ай да я!" (...) зажужжал он.*

Оба партнера играют под музыку: Г-М под Баха, Г.О. под песенку о Хас-Булате, которая разрастается в сознании Г-М от *заниженной жалостной ноты, похожей на жужжание комара ("Хас-Булат" (...) на той же ноте тянул Г.О.) до звучания далекого оркестра, который "бравурно играл "Хас-Булат удалой" ("Мат", как медная труба, вскрикнул Г.О.)*⁶. При этом различны не только вкусы, но и манера исполнения: Г-М слушает Баха про себя, Г.О. работает на полную громкость.

Наиболее разительны, конечно, различия во внутреннем мире героев, обнаруживаемые их реакциями на происходящее на доске. У Г-М игра вызывает воспоминания детства (касторка; понос; отсидеться на корточках), образы природы (скольжение по пруду; стрекозы над полем; плеск волн), искусства (Бах) и общественной жизни (казарма; послевоенный неуют; казнь), этические и философские размышления (подлость не совершал; 64 клетки, способные *вместить не только его собственную жизнь, но бесконечное число жизней*). Ассоциации эти могут быть и неприятными, но в любом случае они открывают окно из узкого мира шахматных позиций в широкий мир человеческого бытия, что и формулируется прямо в приведенной цитате.

В сознании Г.О. позиции, складывающиеся на доске, окрашены миром его личности, крайне убогим. Он озабочен исключительно перспективой победить и унижить Г-М. Нацеленность Г.О. на то, что по-английски называется *rower play*, проявляется по поводу каждого звена в сюжете: в его азарте в связи с вилкой, выигрышем и потерей фигур, а затем матом самому гроссмейстеру; в его представлении о спортивной этике как о закулисных сговорах в чемпионатах; в его однолинейных расчетах *"если я его так, то он меня так"*; в его хвастовстве, в частности, физическом: *положил ладони на плечи гроссмейстера и дружески нажал*; наконец, в требовании вещественных доказательств победы.

ИГРА С ТОЧКАМИ ЗРЕНИЯ И НЕОДНОЗНАЧНОСТЯМИ

Симпатии рассказчика, разумеется, на стороне Г-М. Достигается это, среди прочего, передачей ему некоторых функций рассказчика – при сохранении видимого композиционного равноправия сторон. Рассказчик чаще и дольше пользуется точкой зрения Г-М, которая к тому же богаче и качественно. Не говоря уже о ее большей человеческой интересности, именно ей, например, отданы все эффекты *"двойной экспозиции"*, когда действие происходит как бы одновременно на доске и в реальном мире. Вот Г-М замечает вилку, поставленную ему Г.О.: *"Вилка на бабушку и бабушку..."* (...) *На*

секунду привстав и выглянув из-за террасы, он увидел, что Г.О. снял ладью; А вот Г-М ходит слоном: Если чуть волочить слона по доске, то это в какой-то мере заменит скольжение на ялике по солнечной, чуть-чуть зацветшей воде подмосковного пруда из света в тень, из тени в свет...; Увы, круп коня с отставшей грязно-лиловой байкой был так убедителен...⁷

Кроме того, через образное мышление Г-М нам иногда что-то впервые намекается о положении на доске и о действиях Г.О., и лишь затем это подкрепляется прямыми сообщениями. Например: *Гроссмейстер почувствовал непреодолимое желание захватить поле h8, ибо оно было полем любви, бугорком любви, над которым висели прозрачные стрекозы. "Ловко вы у меня отыграли ладью" (...), – пробасил Г.О.*

Оба типа эффектов – "двойная экспозиция" и "информация глазами Г-М" – соответствуют тонкости художественной природы Г-М и связанному с этим комплексу сокрытия, неоднозначности, загадочности. Остановимся на нем подробнее.

Передача повествования от Г-М к рассказчику или диалогу лишь слегка затрудняет восприятие фабулы (кто сделал какой ход?), способствуя вовлечению и активизации читателя. Однако своей вершиной эта серия неясностей имеет уже совершенно полную неоднозначность в вопросе об исходе всей партии. Я уже приводил аргументы в пользу того, что мат поставил Г-М. Однако некоторые детали позволяют считать этот мат лишь возможностью, представившейся мысленному взору Г-М, но не осуществленной им. Вот это место: *Логично, как баховская сода, наступил мат черным. Матовая ситуация тускло и красиво засветилась, завершенная, как яйцо (...)* *Мата своему королю он (т.е. Г.О.) не заметил.*

Мата не заметил может значить в языке шахматистов "не заметил угрозы мата". Столь же неопределенны и слова *матовая ситуация*, употребленные к тому же в сугубо переносном контексте. Фигуральностью подырается и единственное прямое (в категорическом совершенном виде прошедшего времени) утверждение *наступил мат*. "Наступить" он вполне мог в том же мистическом пространстве, где "существуют" баховские коды, сходство между ними и всплесками волн и магическая сила гармонии, приводящая к победе. Кстати, на чисто мысленный статус мата работает и упорное нежелание Г-М выигрывать (*перед его глазами молниями возникли возможные матовые трассы ферзя, но он гасил эти вспышки, чуть опуская веки*), лишь постепенно сменяющееся переходом к активной игре. (*Предстояла борьба, сложная, тонкая, увлекательная, расчелывающая...*)

Мотив неясности и в то же время совершенства получает сконцентрированное выражение в метафорической фразе, описывающей саму матовую ситуацию, – в очередном и, наверное, самом интересном из сравнений шахмат с жизнью, даваемых глазами Г-М. Яйцо – естественный символ простоты, завершенности и одновременно загадочности, скрытого внутреннего богатства. Тусклое свечение (как при подсвечивании яиц, проверяемых на свежесть?) подчеркивает элемент сокрытия *полу*-прозрачности. Чем же мотивировано это сравнение? Соединительным звеном служит каламбурная неоднозначность слова *матовая*, выступающего сразу в двух значениях: 1. относящийся к мату (шахм.); 2. полупрозрачный, непрозрачный.

Так в кульминации рассказа снова, на этот раз способами поэтического

языка, проводятся темы артистизма, богатства и сокрытия, неясности, амбивалентности. Можно сказать, что средства сюжетной и языковой неоднозначности объединяют свои усилия, для того чтобы непосредственно осуществить разделение читателей на "массу", — подобно Г.О., не замечающую повстанного мата, и "посвященных", — подобно Г-М видящих все.

Как было сказано, этот эпизод — одна из вершин в целой серии неясностей. Установка на двойственное прочтение — организующий принцип рассказа. Отсюда и "двойная экспозиция", и "информация глазами Г-М", и событийная и языковая двусмысленность "мата", и, наконец, финальная выдача золотого жетона. Здесь двусмысленность впервые выходит из головы персонажа (Г-М) и завоевывает "реальное" повествовательное пространство, приобретающее таким образом фантастический характер — в духе одновременно "кавычек" и "преувеличений". "Победа" остается, так сказать, в буквальном смысле за точкой зрения Г-М.

ПРОСТОТА И СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ

Эффекту "матового яйца" способствует и вся композиционная организация рассказа, сочетающая символическую четкость и лаконизм с богатством внутренних связей.

В рассказе ровно два персонажа — по числу сторон в центральном конфликте. Они оба практически безымянны, в соответствии с притчеобразной символическостью сюжета, в котором шахматная игра как метафора жизни сосредоточивает на себе все действие. Внешнего действия очень мало, что, конечно, связано с духовностью и интравертированностью главного героя. Соблюдены, и даже с превышением, все три единства — места, времени и действия. Рассказ краток и прозрачен и в тоже время он внутренне полон и замкнут, как яйцо.

Ощущению богатства способствует уже самая символическость, т.е. двуплановость (и двусмысленность!) притчи, а также густота, так сказать "структурных рифм" на единицу текста: при всем лаконизме рассказа почти каждый существенный мотив проведен в нем минимум дважды. Так, *розовый крутой лоб* Г.О. упоминается в начале и перед самым концом, оба раза через восприятие Г-М, а воображаемые Г-М *удары кулаков* Г.О., *левого или правого*, частично реализуются, когда Г.О. *положил ладони на плечи гроссмейстера и дружески нажал*.

Целая линия переключек связывает ассоциации, вызываемые у Г-М стилем игры Г.О. В порядке появления: *клубок шарлатанских каббалистических знаков — уборная — хлорка — запах казармы — касторка — понос — изжога — приступ головной боли — накопление внешне логичных, но внутренне абсурдных сил — какофония — хлорка — поле бессмысленных и ужасных действий — гриппозный озноб, послевоенный неуют, все тело чешется...*

Агрессивная нацеленность Г.О. на партнера представлена следующей серией: *"Подумаешь, хляк какой-то"*, затем: *"Подумаешь, гроссмейстер-блатмейстер, жила у тебя еще тонкая против меня"*, а после "победы": *"Эх, гроссмейстер вы мой гроссмейстер (читай: блатмейстер — А.Ж.) (...) нервышки не выдержали..."* Напротив, успехи Г-М на доске систематически представляются как результаты его бескорыстных, чисто эстетиче-

ских устремлений: *Впереди была жизнь. Гроссмейстер выиграл пешку...; Гроссмейстер почувствовал непреодолимое, страстное желание захватить поле h8 и т.д. (...) "Повко вы у меня отыграли ладью"; Он начал разбираться в позиции, гармонизировать ее (...) Логично (...) наступил мат черным.* Эта последняя серия примеров очень существенна для тематической трактовки рассказа, к которой я и перейду.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

WHO IS WHO?

Действие рассказа происходит вроде бы на шахматной доске, но в то же время очевидным образом соотнесено с советской действительностью. Дело даже не в обилии реалистических деталей внешнего сюжета (купе, проводник, вагонные шахматы со следами от стаканов чая и отстающей байкой, Шахматный клуб на Гоголевском бульваре...). Еще важнее четкая социально-культурная привязка конфликта и его участников.

Г.О., как мы помним, массовый тип, вульгарный, агрессивный, физичный. Кого он представляет, не трудно догадаться. Это известный стереотип советской культуры, так называемый "рядовой советский человек", "простой рабочий парень, наш сосед". Он не желает признавать ничего тонкого, интеллигентного, особенного. Именно он единственный раз во всем рассказе употребляет слово "товарищ". Он носитель массовой культуры, пословичной мудрости и расхожих мифов ("все шахматисты — евреи") и, по-видимому, антисемит (не будем целиком отдавать эсэсовцев цензуре).

Г-М, со своей стороны, — вариация на тему клишированного образа советского интеллигента, либерала-западника, художника-индивидуалиста, поклонника риваса, частной собственности (дедушкины вилка и "лирная шуба"; дача; "золотые запасы") и мировой культуры (французский галстук, Бах, Гонконг), носителя диссидентской, антиколлорационистской морали (подлость не совершил)⁸, жертвы режима (казнь).

И все же конфликт производит впечатление загадочности, и как проецировать его на привычные коллизии современной ему советской литературы, будь то либеральной или ортодоксальной, остается неясным. Знакомый конфликт дан в оригинальном повороте. В каком же именно? И кто же, наконец, побеждает?

Надо сказать, что слово, поставленное в заглавие рассказа, — одно из актуальнейших в советской идеологии: *Все для фронта, все для победы; победа над фашистской Германией; День Побе-*

ды; автомобиль “Победа”; победа (победное шествие) коммунизма; большая победа сил мира и социализма и т.д. и т.п. Этой официальной агрессивной установке на победу противоположен диссидентский отказ от насилия, от принуждения, от участия в борьбе за власть и за положение в истеблишменте, уход в чистую духовность, в мир истины, а не силы, в пределе — в христианское приятие креста (вспомним пастернаковские строчки *Но поражения от победы/ Ты сам не должен отличать*, а также приведенные в эпиграфе и многие другие). Какую же позицию занимает Аксенов и его герой, вернее, между какими позициями совершают они, вольно или невольно, свое амбивалентное балансирование?

РАССТАНОВКА СИЛ. ЧТО ЕСТЬ ПОБЕДА?

Действительно, позиция занимает где-то посередине и искусно уравновешена благодаря богатой технике структурных неоднозначностей. Общий тип этой позиции хорошо известен из христианской, романтической и, в русском контексте, пушкинской традиции. Конфликт духа, истины, искусства и т.п. с грубой реальностью разрешается, так сказать, по принципу *Богу богово, кесарю кесарево*: романтическому мастеру — торжество в мире чистой шахматной мысли, пошляку — вещественные доказательства в мире материальных стимулов. Г-М в деталях следует классическим рецептам: налицо и взыскательный художник, и неоспаривание глупца, представляющего толпу, и равнодушное приятие хвалы, клеветы, плевков и обид, и нетребование венца и наград, вплоть до иронической раздачи последних.⁹

Однако есть и интересные отличия. Прежде всего — в балансе сил, выбранном автором из широкого спектра возможных. Христос способен творить чудеса и имеет за собой *тьмы крылатых легионов* (Пастернак), но предпочитает быть распятым властями и толпой. Пушкинский герой уповаает на посмертное признание, высший суд и т.п. Интеллигент Бабеля стремится претворить силу слова в плотскую власть над жизнью¹⁰. Булгаков толкает своего профессора Преображенского на хирургическую контрреволюцию против толпы и советского режима, олицетворяемых Шариковым, и она удаётся.¹¹ У Олеши старорежимные интеллигенты Кавалеров и Иван Бабичев могут лишь фантазировать и ораторствовать и терпят полное фиаско в реальной жизни и почти полное — в сфере духа.

Кстати, сюжетные положения *Собачьего сердца* и *Зависти* являют пример интересной инверсии в расстановке сил. У Булгакова могущественный врач, представитель старого режима и старой интеллигенции, подбирает и приучает собаку-пролетария Шарикова, все время сохраняет над ним физическое, правовое и численное превосходство (в квартире их пятеро-шестеро против одного Шарикова) и в конце концов возвращает его на подобающее ему подчиненное место. У Олеси ровно наоборот — могущественный носитель советской власти подбирает беспомощного интеллигента, держит его из милости у себя, подавляет его социально, морально, физически и численно (на этот раз счет 3:1 или 3:2), и, наконец, изгоняет его из дома. Три года, разделяющие эти две повести (1924—1927), лишь отчасти объясняют разницу в балансе социальных сил. В общем, писатель всегда подтасовывает колоду в соответствии с интересующей его темой. Посмотрим, как в этом смысле поступает Аксенов — какие шансы на победу в реальном мире дает он своему герою.

Разумеется, Г-М не от мира сего и слаб в нем. Он хилак, у него слабые губы, он стеснителен, держится скромно и оборонительно. Его сила — в мире духа, в мире шахмат. Однако, поскольку основное действие происходит именно в этом мире, постольку духовная сила оборачивается реальной. Он гроссмейстер, у него все данные, чтобы реально победить, он хочет победить и, по-видимому, побеждает. При этом играют один на один: хотя Г.О. представляет массовый тип, в купе он представляет его *один* — нет ни толпы, подбадривающей Г.О. и освистывающей Г-М, ни партийного или профсоюзного собрания, ни чего-либо подобного. Рассказчик, как мы помним, предоставляет противникам равные композиционные права и даже тайно подыгрывает Г-М. В результате, близкий автору гнилой интеллигент-одиночка одерживает победу — происходит осуществление желаний, почти такое же полное, как в *Собаьем сердце*.

К тому же Г-М не так уж отрешен от прелестей этого мира. В конце концов, символы его духовного аристократизма носят вполне земной характер. Это галстук (!) от Диора (!!), заграничная поездка в Гонконг (читай: в бендеровское Рио-де-Жанейро?), магнитофонная бобина (Баха) и, наконец, хотя и фантастические, но все-таки золотые жетоны. Иными словами, перед нами очередной аксеновский супермен, любитель и знаток красивой жизни, хотя и в более духовном, "тихом" варианте, чем обычно. совме-

щение в одном персонаже почти христианской отрешенности с суперменством — интересная художественная задача, характерная для либеральной советской литературы 60-х годов.

“ДОБРО С КУЛАКАМИ” И В ДЖИНСАХ

Добро должно быть с кулаками — знаменитая в свое время строчка Евушенко. В другом стихотворении он дебатировал — и решает положительно — вопрос о том, могут ли хемингуэеобразные парни в джинсах (в нашем случае — в галстуках от Диора) стоять за правое дело мира, прогресса и социализма. Аналогичен и message ранних аксеновских вещей — *Коллег, Звездного билета* и др. В одном романе бр. Стругацких (*Обитаемый остров*) действует хриstopодобный герой, попадающий из прекрасной будущей цивилизации в мерзкую феодально-индустриально-тоталитарную реальность сродни советской. Он совершенен духом (проповедует мир и любовь) и телом. Последнее способно противостоять любой самой вредной радиации, и потому герой ходит почти голый — в каких-то особенных плавках (ср. набедренную повязку Христа), демонстрируя идеальный загар. Когда ему приходится одному вступить в драку с десятком местных хулиганов, он по-йоговски переключает внутреннее ощущение времени и поочередно раскидывает и калечит, но не убивает, своих противников, движущихся для него, как в замедленном кино. Сцена совмещает самым неожиданным образом типичную драку из вестерна с элементами йоги и евангелия.¹²

В эпоху мирной “хрущевской” революции молодежно-либеральная интеллигенция искренне надеялась на победу над догматиками в этом, а не ином, мире, “при жизни этого поколения”. Это кредо недавно иронически сформулировал Окуджава в песне *Кабинеты*, где вот-вот ожидается переход власти (в литературе) в руки Беллы (Ахмадуллиной), Фазиля (Искандера) и других товарищей поэта по литературному оружию. Причем победа должна была наступить легко, сама по себе, карьера должна была сделаться путем не-делания ее, путем упования на всемогущество подлинных ценностей. Такова была оптимистическая атмосфера конца 50-х начала 60-х годов и даже эпохи “подписанства”: еще и после свержения Хрущева горстка “лучших людей” из числа оппозиционной интеллигенции полагала, что их подписей достаточно для противостояния режиму. В рассказе этому соответствует настой-

чивое проведение мотива претворения бескорыстных эстетических вкусов и идей в реальные успехи на доске. Борьба если и ведется, то сугубо идеальными, мирными, чистыми средствами; мат наступает сам по себе, *логично, как баховская кода*.

“АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА”

Разумеется, все это лишь одна сторона медали. Рассказ полон иронии. Своего мата Г-М не объявляет, а золотые жетоны имеют фантастическую природу, так что концовка звучит двусмысленно. А ближе к началу рассказа есть место, где подчеркнута иронически дана молодежная романтика типа ранней аксеновской: *Гроссмейстер понял, что в этот весенний зеленый вечер одних только юношеских мифов ему не хватит. Все это верно, в мире бродят славные дурачки — юнги Билли, ковбои Гарри, красавицы Мери и Нелли, и бригантна подымает паруса, но наступает момент, когда вы чувствуете опасную и реальную близость черного коня на поле b4*.

Иронические вариации на собственные темы есть и в других вещах Аксенова. Например, в *Затоваренной бочкотаре* (1968) *рафинированный интеллигент Дрожжинин*, с его полным незнанием жизни и полным знанием о Халигалии, где он никогда не был, с его безукоризненным англичанством (выражающимся в трубке, щеточке усов, двух твидовых костюмах и т.п.) и *подспудными надеждами на дворянское происхождение*¹³, выглядит пародией на Г-М. Тем более, что, подобно Г-М с его диоровским галстуком, он полон горделивой скромности: *мало кто догадывался, а практически никто не догадывался, что сухощавый джентельмен в строгой серой (коричневой) тройке...* При этом Дрожжинину противостоят сразу три Г.О.-подобных персонажа. Это, во-первых, *военный моряк Шустиков Глеб*, поклонник легендарного римлянина Муция Сцеволы, понимающий преданность Науке как битву с Лженаукой и ее империалистическими прихвостнями, в *агрессивные хавальники* которых он вместе с Муцием Сцеволой сует горящую руку (опять рука, — вспомним татуированные кулаки Г.О.). Во-вторых, это милейший Володька Телескопов, который в отличие от Дрожжинина реально был в Халигалии и даже вступал в “платонические” связи с тамошними красотками (*когда теряли контроль над собой*); и, в-третьих, нестрашный доброхот-доносчик старик Моченкин (ср. эсесовцев в “Победе”). Таким образом,

Затоваренная бочкотара как бы воспроизводит ситуацию “*Победы*”, подавая ее в менее конфликтном, сказочно-ироническом ключе.

Еще одна красноречивая параллель — совсем коротенький и малоизвестный рассказ *Мечта танкиста* (*Литературная Газета* от 26 авг. 1970 г.). Его герой мечтает когда-нибудь прокатить, может быть, до самых Сочей, сказочно богатого “Ваню-золотишника” — рабочего-контрабандиста с золотых (!) приисков. И вот он наконец встречает его, только тот не при деньгах, вконец обтрепан и беспомощен. Таксист возит его за свой счет, кормит, поит, *укладывает на главную койку* и наконец так формулирует свою мечту: “*Ведь мне (...) от него никаких бешеных денег не нужно (...) Мне важно, чтоб он был, Ваня-мой-золотишник, чтоб существовал в природе...*”

Невольно вспоминаются такие афоризмы Остапа Бендера, как: *Я вижу, вы бескорыстно любите деньги; Я идейный борец за денежные знаки; Нет тех маленьких золотых кружочков, кои я так люблю;* и т.п. Параллель эта вполне законна, особенно если учесть сказанное выше о Гонконге, alias Рио-де-Жанейро, аксеновскую игру с советскими и иными клише, явно отмеченную учебой у Ильфа и Петрова, кратковременное гроссмейстерство (!) Бендера, и, главное, роль его образа в формировании неофициальной идеологии ряда поколений советской интеллигенции. Остроумный миллионер-одиночка, на которого навалился класс-гегемон, по сути дела, был гиперболизированным представителем интересов нормальной человеческой личности, попавшей под пресс советского режима. За мировой тоской великого комбинатора по белым штанам и Рио-де-Жанейро скрывается простое желание доступа, даже для не-членов профсоюза, к тарелке супа, кружке пива и автомобильным запчастям — и свободы зубоскалить без ограничений. Вот почему и мечта таксиста о Ване-золотишнике звучит с такой трогательной, хотя и иронической, серьезностью. Мечта Аксенова и его (нашего) поколения — это некий “идеальный материализм”, “чистый капитализм”, “духовная любовь к импортным шмоткам”, надежда на магическую способность принципа материальной заинтересованности привести к торжеству добра, справедливости и всеобщего счастья.

В “Победе” этот “американский” идеал выражен с особой тонкостью. Равновесие между возможными противоположными прочтениями парадокса предельно выверено. Кто такой Г-М — нерв-

ная художественная натура или потребность красивой жизни? Аскет, сосредоточенный на скрытых духовных ценностях, или высокомерный представитель элиты? Слабый до трусости обычный человек или супермен? Вторые части этих альтернатив неизбежно роняют его с оппонентом — Г-О., и наводят на мысль, что где-то на абстрактном уровне Аксенова занимает некий единый архигерой — идеалист и крепкий парень одновременно, рафинированный интеллигент, он же военный моряк, черты которого по-разному распределяются между персонажами реальных произведений. Оригинальное воплощение одного из вариантов этой сквозной темы в нашем рассказе делает его подлинной победой автора — без кавычек и преувеличений.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сергей Довлатов. *“То, о чем я собираюсь рассказать...”* В его книге: *“Марш одиноких”*.

² Ее английский вариант написан для сборника *Festschrift for V.P. Aksenov*, ed. by Edward Mozejko, Edmonton, Alberta: University of Alberta Press.

³ Борис Пастернак. Ответ на анкету: Что говорят писатели о постановлении ЦК РКП. *“Журналист”*, 1925, №10.

⁴ Далее в рассказе говорится о *“нескольких мгновениях в полном одиночестве, когда губы и нос скрыты платком”* (Г-М сморкается) и о *“возможности отсидеться в удобной позе за террасой — самолюбие не страдает”*.

⁵ Кстати, *“Хас-Булат”* был любимой песней юного Эди-Бэби, см. последний роман Лимонова *“Подросток Савенко”*, Париж, *“Синтаксис”*, 1983, стр. 171–172.

⁶ Нарастание мелодии Хас-Булата от занудливого жужжания комара до медной бравурности оркестра напоминает знаменитое *crescendo* *“фашистской”* темы в I части Седьмой симфонии Шостаковича и может быть связано с эсэсовским мотивом в том же абзаце.

⁷ Эффект *“двойной экспозиции”* вообще и в применении к коню в особенности, вероятно, восходит к технике апдайковского *“Кентавра”*, как раз тогда опубликованного и очень популярного в России. В *“Победе”* он дается с *“двойной экспозицией”* еще дважды: *“Внедрение черного коня в бессмысленную толпу на левом фланге (...) уже наводило на размышления...; ...вы чувствуете опасную и реальную близость черного коня на поле б4.*

⁸ Этика пассивного сопротивления, не-сотрудничания с режимом, балансирования на грани между полным смирением и открытым вызовом — одна из важнейших тем либеральной литературы того времени, ср., например, *“Завтраки 43-го года”* и *“Маленький кит, лакировщик действительности”* Аксенова, *“Летним днем”* Искандера и т.п. Требуется поистине редкая моральная изощренность, чтобы понять, где кончается *“сохранение*

нравственных мускулов" нации (Искандер) и начинается политика "кукиша в кармане".

⁹ Ср. у Пушкина: "Услышишь суд глупца... Иди, куда влечет тебя свободный ум... Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный... Всех строже оценишь умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит И плюет на алтарь, где твой огонь горит... ("Поэту"). Обиды не страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца ("Памятник").

¹⁰ Так, общий сюжет "Справки" и "Гюи де Мопассана" состоит в том, что литературный талант социально ущемленного рассказчика приносит ему любовь женщины. Кстати, в "Мопассане" есть деталь, к которой, возможно, восходит целая сюжетная линия в "Затоваренной бочкотаре" — линия Халигали (впрочем, по устному замечанию Аксенова, это не верно). У Бабеля: "Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла все его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки". У Аксенова: "Он (Дрожжинин) знал все диалекты этой страны, (...) весь фольклор, всю историю, всю экономику, все улицы (...) все магазины и лавки на этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, ключки и нрав домашних животных, хотя никогда в этой стране не был". Напомню, что Казанцев — книжный червь и мечтатель, по контрасту оттеняющий эротически напористого рассказчика, а Дрожжинин — пародийный вариант Г-М.

¹¹ Вспомним также многочисленные наказания, вершимые в "Мастере и Маргарите" над советскими людьми со злорадного соизволения автора.

¹² Аналогичная сцена есть в фильме Куросавы "Красная борода", где герой — врач и в то же время мастер карате — сначала ломает, а затем вправляет кости напавшим на него хулиганам. Фильм демонстрировался в России в 60-е годы; его влияние на бр. Стругацких тем более вероятно, что один из них по образованию филолог-японист.

¹³ Даже у Окуджавы, подлинно христианского поэта этого поколения, пристрастие к "портретным костюмам" и "стареньким туфелькам" сочетается с любовью к "кружевам, камзолам и изяществу юных князей".

НОВАЯ КНИГА

Владимир Лазарис. "Моя первая война" (Изд. "Библиотека Алия")

200 стр. (с фотографиями). Цена 5 долл. (в Израиле 500 ш.).

Солдатский дневник автора и его интервью с участниками Ливанской войны — выходцами из СССР стали одним из самых потрясающих документов нашего времени. Из предисловия А. Воронеля: "Такая книга никогда еще не появлялась на русском языке, и русскоязычный читатель впервые может найти в ней не только правду об Израиле, но и новую для себя правду о жизни вообще".

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Библиотека Алия", п/я 39298, Тель-Авив 61392, Израиль.

ЛЮДИ И КНИГИ

О. Кустарев

ПРЕСТИЖ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ 60–70-х ГОДОВ

Поведение индивидуума на глазах у других – своего рода спектакль, в котором официально признанные ценности общества воплощаются и выражаются более заметно и устойчиво, чем в индивидуальном поведении в целом.

Э. Гоффман

Социальная история советского общества отмечена борьбой нескольких систем престижей. Одна из них была запрограммирована для общества партией. Был сконструирован идеальный образ советского человека. Предполагалось, что все захотят ему подражать. Но так не произошло. Некоторые из престижей быстро обесценились, другие стали лишь орудием для приобретения иных престижей.

С начала шестидесятых годов официальные престижи и их символы испытывают все возрастающее давление со стороны других престижей и символов: обладание имуществом, культурность, "заграничность", профессионализм. Зародившись в определенных группах, они имеют тенденцию стать престижами для всего советского общества и даже получить официальное признание. В особенности это относится к "культурности" (или "интеллигентности").

Этот процесс ярко отражается в искусстве. Так, в кино на смену Крючкову и Борису Андрееву, олицетворяющим идеал "простого парня", приходят Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин, слава которых достигает апогея, когда они предстают перед публикой в облике интеллигентного немецкого контрразведчика или интеллигентного белого офицера. Композиторы вводят в военно-патриотические песни элегантные интонации в духе Вертинского. В качестве литературных персонажей все чаще фигурируют дипломаты, журналисты-международники, университетские доценты, художники, спортивные тренеры...

Можно было бы думать, что за всем этим стоит эволюция профессиональной структуры советского общества: в жизни появляются новые типы

личностей, и естественно, что это находит отражение в искусстве, тем более так, которое декларирует установку на отражение реальной жизни.

Однако не все так просто. Во-первых, установка на отражение действительности мало что значит. Она не мешала советской литературе много лет чудовищно искажать действительность. Советский писатель, может быть, и призван отражать реальность, но какова эта реальность, до сих пор решал не он. Недостаточно, чтобы изменилась жизнь. "Новое" может попасть в литературу лишь в том случае, если будет решено признать, что это "новое" имеет место и если оно будет признано желательным.

Во-вторых, множество художественных несуразностей в упомянутых произведениях позволяет предположить, что мы имеем дело вовсе не со стремлением отразить реальные жизненные процессы. Прежде всего, удельный вес "культурных" персонажей неоправданно высок. Образно говоря, литература "населена" ими гораздо плотнее, чем жизнь. Далее, их "культурность" зачастую неоправданно преувеличена. Знаки "культурности" приписываются персонажам, которые по логике вещей не должны ими обладать. Детали, сигнализирующие "культурность" персонажа, часто производят впечатление "нагрузки", их присутствие не имеет художественного оправдания. Частота этих деталей заставляет думать, что мы имеем дело с некой новой литературной нормой, за которой скрывается, по-видимому, новая норма общественного поведения. Вводя "культурные" детали, автор как бы подтверждает свою репутацию культурного человека. Он, по-видимому, считает, что демонстрация культурности и желательна, и обязательна. В авторском тексте появляются намеки, цитаты, специфическая лексика, обороты, интонация, тоже сигнализирующие культурность автора и льстящие предполагаемой интеллигентности читателя.

Итак, новые особенности советской литературы объясняются не столько возвышенными задачами искусства, сколько новыми нормами литературного поведения и изменениями в социальных позициях автора и контролирующей литературу инстанций. Возникает ключевой вопрос: почему "культурность" стала престижной?

Прежде всего, этому, видимо, способствовал высокий престиж бывшей интеллигенции, ставшей одним из мифов советской культуры: ее достоинства всегда превозносила и официальная пропаганда, поскольку это было необходимо для сохранения национальной культурной традиции (пусть эта традиция и была попутно обеднена и извращена). В то же время за интеллигенцией закрепилась репутация невинно пострадавшей от сталинских чисток, а за проявлениями интеллигентности — репутация запрещенности, неужности властям. Советские люди стали сознательно или полусознательно эксплуатировать символы интеллигентности как знак предполагаемого неконформизма, оппозиции режиму, который принято считать неинтеллигентным и враждебным всякому проявлению интеллигентности.

Утверждению "культурности" как престижного символа благоприятствует и то обстоятельство, что рынок престижных знаков в советском обществе очень беден. Возможности использования таких "буржуазных" символов престижа, как недвижимость, демонстративное материальное потребление и т.п., весьма ограничены. Легальных сословий не существует, доходы у всех одинаково невелики. В этих условиях "бестелесная собствен-

ность” — “культурность”, “интеллигентность” — оказывается чуть ли не самым распространенным товаром. Погоня за ней становится тем более азартной, что добыча кажется общедоступной и сулит как будто быстрый и легкий успех. К тому же у “культурности” есть и еще одно преимущество: она, на первый взгляд, может демонстрироваться постоянно и почти в любой ситуации.

И еще одно обстоятельство. В советском обществе наблюдается определенный спад престижа образования. Во-первых, из-за его все более широкого распространения, во-вторых, из-за растущей практики фальшивых дипломов; вдобавок, большая часть образованных людей не получает за свое образование того вознаграждения, которое считает достойным. В результате образованный слой и особенно его материально ущемленная часть ищет такой престижный символ, который хотя бы отчасти компенсировал их неудовлетворенность. Настаивая на своей “культурности”, эти люди выделяют себя из “просто образованных” и отчасти дезавуируют престиж формального советского образования.

Новый престижный символ используется прежде всего в ситуациях общения и разговора. Именно в разговоре советские люди получают наиболее эффективную возможность оживить в себе чувство принадлежности к престижному слою. Возникает разговорная традиция, насыщенная престижными знаками, с помощью которых собеседники напоминают себе и друг другу о своем предполагаемом высоком статусе. Разговорная же традиция сильнейшим образом влияет на литературу. Это происходит потому, что в советском обществе разговор — одна из важнейших форм существования. Он заменяет публичную жизнь. Он заменяет косвенное общение через прессу, столь характерное для общества с развитой свободной письменной традицией. Он заменяет переписку, почти вымершую из-за конкуренции телефона, страха перед почтовой цензурой и концентрации связей по месту прописки. Одним словом, разговорная традиция в советском обществе — это громкая, сильная, авторитетная традиция. Уже поэтому она оказывает большое влияние на умы и, стало быть, на литературу. Писатели вращаются в кругу, где много и многозначительно говорят, где разговор насыщен престижными знаками и амбициями. В этой среде складывается их престижное мышление и язык.

Помимо того, литературное творчество есть, в принципе, акт коммуникации. Оно обращено к читателю, к собеседнику. В большей или меньшей степени оно есть как бы продолжение разговора. О чем писатели и их окружение говорят, о том они и пишут. Как говорят, так и пишут. И разговорный, и письменный текст в равной мере отражают предмет их социальной озабоченности. И поскольку чувствительность к статусу чрезвычайно характерна для советского сознания, она актуализируется и в разговоре, и в письменном тексте.

Теперь обратимся к другой ключевой фигуре советского литературного процесса — цензору — и поставим другой ключевой вопрос: почему цензура допускает, а возможно — и поощряет подобное самовыражение? Естественно предположить, что правящая элита, интересы которой выражает цензура, перестала видеть в интеллигентности крамолу, так как сама заражена теми же престижными стремлениями. В том, что новая элита, в конце концов,

стремится к обладанию свойствами старой элиты, нет ничего удивительного. Кажется, смена элит всегда сопровождалась такого рода культурной реставрацией.

Но в данном случае, вероятно, действует и еще один механизм. Здесь мы, возможно, сталкиваемся с реакцией партии на происшедшую в советском обществе смену престижей, которую не удалось предотвратить. Престиж интеллигента вырос, а престиж партии упал. Партия, как группа, присваивает себе высокий статус, но никто не верит, что она имеет на это право. Падает и индивидуальный статус члена партии. Партия инстинктивно это чувствует (если и не понимает). Это для нее опасно, так как в советском обществе определенные престижные знаки являются одновременно и обоснованием высокого статуса и сопряженных с ним привилегий. Коль скоро эти знаки перестали играть свою роль, возникает необходимость их заменить. А в обществе вошла в цену "культурность". И вот начинает раздвигаться культ революционных предтеч из аристократов (декабристы), извлекаются из архива навеки, казалось, позабытые "культурные" наркомы (Чичерин, Красин и пр.), на экранах появляются утонченные комиссары Никиты Михалкова, а за ними — лощеные советские дипломаты, журналисты, американизированные директора, не говоря уже о "красной профессуре". Так рождается общий курс на "интеллигентность". И немедленно обнаруживается, что достаточное число людей будет с глубоким удовлетворением совершенно искренне писать книги, в которых дозволено будет либо продемонстрировать свою собственную интеллигентность, либо польстить своей среде, обращаясь к ней как к интеллигентной и давая ей понять, что именно ее интеллигентность отражается в данном тексте, либо, наконец, приобщиться к интеллигентному прототипу.

Приступая к поискам иллюстраций, я не имел в виду никаких определенных авторов. Просто отрывки, о которых пойдет дальше речь, удовлетворили меня как вполне характерные и типичные. Выбраны они из публикаций в "толстых" советских журналах конца 1981 — начала 1982 годов. Возможно, что систематические поиски позволят обнаружить и более яркие примеры замеченной литературной тенденции. Заметные следы ее имеются и в творчестве таких серьезных писателей как Окуджава, например. Но вот наша первая иллюстрация. Это часть экспозиции из повести О. Попцова "Банальный сюжет". "В своем повествовании тот отдалившийся период жизни я хочу опустить, хотя и до сих пор преисполнен трепетной любовью к нему, ведь он, по сути, тоже миг моей жизни, необремененный и беспечный, когда даже ошибки — а без них вряд ли кто проживает жизнь — царапают душу, но не оставляют в ней язв и долгой боли. В такие годы душа рубцуются легко, а боль выдыхается, растворяется во времени".

Повесть Попцова имеет провоцирующее название. Автор как бы предвосхищает упрек в банальности, прямо указывая, что ему самому ясна банальность рассказанной им истории. Он как бы умышленно выбрал банальную историю, намереваясь показать значительность того, что принято считать банальным. Таким образом, название повести выдает претензии на философское обобщение. И чтобы не было никаких сомнений в философичности повести, автор сразу же начинает с философских сентенций. В

них, собственно, он подсказывает читателю тот “философский смысл”, который надлежит обнаружить в последующем тексте.

Пассаж выдержан в приподнято-элегической манере, с использованием патетической и философской лексики: “в своем повествовании” (вместо “рассказе”), “отдалившийся период жизни” (вместо “прошлое”), “переполнен трепетной любовью”, “миг моей жизни”, “душа рубцуется”, “боль выдыхается”, “разум берет все большую власть” и т.п. Стилистика вымучена и надумана. Естественные лексические склонности автора совершенно иные — об этом говорят многочисленные срывы в безвкусицу: “период” взят из хоккея или лексики заводского планирования, нелепо звучат в “философском контексте” такие мещанские поэтизмы как “остепеняться”, “царапает душу”, “распирает душу” и т.д.

Чрезвычайная банальность данного пассажа говорит о том, что в нем не было никакой необходимости. Перед нами несомненно имитация интеллектуализма, “окультуренная” литература, вся поэтика которой обусловлена амбициями автора. А поскольку повесть написана от первого лица, то это вступление к ней играет сразу две функции: оно призвано зафиксировать склонность к философии самого автора и одновременно — его героя.

Вторая иллюстрация взята из повести А. Проханова “Дерево в центре Кабула”. Книга написана на злобу дня. В ней рассказывается о походе советского журналиста в оккупированном Афганистане. Тематика, таким образом, “заграничная”, особенно престижная в советском обществе. Проханов побывал вместе с советскими войсками в Афганистане и как бы почувствовал себя участником “афганской революции”, своего рода Хэмингуэем в Афганистане. В советской печати публиковались его корреспонденции. Теперь он торопится изложить свой афганский опыт в изящной прозе. Это объясняется отчасти тем, что быть писателем престижнее, чем журналистом-международником, чья связь с КГБ у советских людей стала притчей во языцех. Кроме того, в прозе, где узаконен вымысел, легче подчеркнуть свое личное участие в событиях. Персонаж по имени Волков — разумеется, обозначение самого автора. Вот его внутренний монолог:

“Иероглифы контрреволюции”, — подумал Волков, глядя на курчавую надпись, словно калькировал ее... Волков шел дальше, чувствуя Марину за спиной. И большая мгновенная мысль: “Неужели это я, вбегавший когда-то в нашу комнату, полную янтарного солнца, и бабушка подымала ко мне свое чудное, ослепительное моим появлением лицо? Это я, державший на руках новорожденного сына, испытывая гордость и счастье, желая всем добра? Я, сидевший над листком бумаги, без труда и усилий перенося на него возникающее предчувствие чуда? Это я иду теперь в мегафонном надрыве в древних трущобах Кабула?”

Монолог выдержан в экзистенциалистско-риторическом духе. Но философские сентенции автора-героя в описанной ситуации выглядят абсолютно неуместно и художественно, и с точки зрения психологического правдоподобия. “Мгновенная мысль” героя состоит из четырех громоздких, неудобопрозносимых риторических вопросов, занимающих в тексте семь строк. Герой, находящийся в явной смертельной опасности, мыслит тяжелым языком профессионального советского журналиста, ни слова не сказано в простоте.

Эти рассуждения в дурном философском вкусе под пулями врага показывают, что автор несколько не думает о художественном правдоподобии. Он не в состоянии отказаться от интеллигентской позы, которую для себя избрал и натужно демонстрирует. А ведь автор наверняка ориентировался на Хэмингуэя...

В третьем случае я не привожу никаких выдержек, потому что весь рассказ насквозь специфичен в интересующем нас плане. Это рассказ Ю. Нагибина "Терпение" ("Новый мир", №2, 1982). Нагибин всегда был как бы "дежурным интеллигентом" в советской литературе. Лет 25 назад, когда "интеллигентная литература" была специализированной отраслью и привилегией немногих, это выделяло его из массы советских писателей. К несчастью, теперь все пишут интеллигентно. Единственный способ, позволяющий выделяться (при отсутствии каких-либо серьезных художественных идей) — это экспансия, нагнетание интеллигентности. Нагибин нагнетает ее чудовищно. Его рассказ напоминает справочник по истории культуры. Тут и "Эдипов комплекс", и "микеланджеловский Давид", и "витязь, былинный богатырь, дон Сезар де Базан" (?), и "парикмахерша оказалась Афиной Палладой", и "Фред Астор", и, наконец, "когда-то они любовались фидиевыми обломками в Британском музее, похищенными англичанами с фротона Парфенона"... И все это — в рассказе о поездке одной ленинградской семьи на теплоходе!

Характерен выбор "сигналов интеллигентности". Все они общедоступны. Нагибин весьма осторожен. Он не посылает своему читателю такие сигналы, которых тот может не уловить: ведь настаивая на своей культурности, нельзя ни в коем случае демонстрировать ее недоступным для партнера образом — тот может истолковать это как некультурность или как демонстрацию превосходства. Нельзя оскорблять престижные чувства тех, в чьих глазах предполагается получить престиж. Стиль Нагибина, пожалуй, особенно интересен именно этим заигрыванием с предполагаемой интеллигентностью читателя и боязнью намекнуть ему на его возможную неинтеллигентность.

Четвертый и последний отрывок взят из повести Ф. Видрашку "Набережная надежды", опубликованной в "Новом мире", №4 за 1982 год.

"Звездные тайны манили человека еще в отдаленные времена Птолемея "Альмагеста", манят они и сейчас астрономов, космонавтов и всех тех, кто не потерял еще способности глядеть в небо и содрогаться при мысли о беспредельности пространства и о том, что человек — пылинка, дерзнувшая понять все это... Мальчик не имел еще никакого понятия об устройстве вселенной, не слышал о звездных туманностях и "черных дырах", не догадывался о спиральных, эллиптических и иррегулярных галактиках, что они сужаются и разбегаются, что в них и сейчас рождаются и гибнут новые звезды, происходят взрывы. Все это можно было бы назвать жизнью, дыханием беспредельности. Однажды друг дал Раису бинокль..." и т.д.

"Набережная надежды" — типичный производственный роман. Его главный герой Раис Беляев — партийный функционер, секретарь райкома. В приведенном отрывке содержатся элементы его внутреннего монолога. Перед нами, таким образом, секретарь райкома, не чуждый космических фан-

тазий, да к тому же начитанный в "Альмагесте" Птолемея. Не просто партийный чиновник, а — философ.

Сей философический пассаж сконструирован самым простым образом — нагнетанием научно-философской лексики и длинных перечней терминов, заимствованных из популярного журнала "Наука и жизнь". Как и у О. Полцова, рассуждения невероятно банальны. Перед нами очевидная симуляция интеллектуализма. Но есть тут и одна интересная особенность. Этот пассаж — единственный во всем произведении. Он резко выделяется на фоне суконного текста, избоблюющего маловыразительными производственно-организационными деталями. Его единичность и скороговорочность как бы подчеркивают его полную ненужность с художественной точки зрения. Но этот просчет нельзя считать следствием простого отсутствия у автора художественного чутья. Ф. Видрашку — член редколлегии "Нового мира", опытный советский профессионал-текстовик, и он знает, что должно быть вставлено в текст в соответствии с принятыми ныне нормами. То, что философское отступление так резко выделяется в тексте, указывает на профессиональный умысел, продиктованный чисто нормативными соображениями.

Рассмотренные и проиллюстрированные тенденции несколько не слабее, а, пожалуй, еще сильнее в диссидентский и эмигрантской литературе. На это есть свои причины. Вообще, в этом смысле между советской и анти-советской литературой трудно провести границу. Этот вопрос заслуживает особого рассмотрения. Здесь я не буду обсуждать его подробно. Ограничусь одной иллюстрацией из повести В. Кормера "Крот истории" ("ИМКА-пресс", 1979 г.). "Девушка, еще два пива и двести грамм коньячку... Что, что вы сказали, молодой человек? "Камю"? Нет, к сожалению, это не "Камю", это "три звездочки" московского разлива... Что? Ах, начало, как у Камю! Ну знаю, знаю, конечно, читал! Он же еще потом погиб при автомобильной катастрофе, да?..." И далее: "Сама она женщина необыкновенных качеств, ума, характера, настоящая дворянка! Графиня — хоть родители и коммунисты... воспитания замечательного... Я ее всегда еще себе в Риме представлял почему-то, такими, наверно, в Риме патрицианки были!.. Слова не так не скажет, руку не так не положит. Римские добродетели! Твердость, выдержка; вместе с тем любезна, в меру жива, изящна, длинная; одеваться умела, умела. И хорошенькая..."

У первого отрывка две функции. Во-первых, автор как бы мимоходом (хотя, на самом деле, мне кажется, весьма неловко и искусственно) упоминает Камю, и невозможно отказаться от мысли, что это упоминание содержит в себе намек на родство данного произведения с "Падением" Камю. Внешнее сходство очевидно: и там, и здесь рассказ человека с не совсем ясным и солидным прошлым, теперь оказавшегося в неясном и мало достойном положении. Настойчивость, с которой автор пытается буквально "вдолбить" читателю литературные параллели к своей книге, служит, однако, указанием на то, что чисто эстетическая функция этой параллели на самом деле второстепенна, а в действительности она выполняет функцию искусственной интеллектуализации, "окультуривания" текста.

Я вспоминаю, что в начале 70-х годов в московских и ленинградских "интеллигентных" гостиных ни одно упоминание (а тем более употребле-

ние) коньяка не обходилось без упоминания писателя Альбера Камю; одинаковое звучание марки французского коньяка и имени писателя, ставшего известным советским людям как раз в то время, служило поводом для постоянных шуток. Эти шутки позволяли людям подчеркнуть свою интеллигентность, зафиксировав знакомство с французскими коньяками и со знаменитым писателем одновременно. Вот эта дежурная шутка и воспроизведена автором, и выполняет она ту же функцию, что и упоминание Камю за столом, на котором стоит бутылка коньяка, — это сигнал интеллигентности.

Второй отрывок говорит сам за себя. В нем монотонно перечислены престижные свойства современной советской женщины, дан портрет интеллигентки, какой она хотела бы себя видеть и какой ее хотел бы видеть ее партнер-интеллигент. Кропотливость этого каталога резко контрастирует с якобы спонтанно-отрывочным монологом персонажа, делая перечень неестественным и мучительно тяжелым.

Сделанные наблюдения можно было бы развить и в контексте социологии, подходя к литературному тексту как к социальному факту, то есть как к эмпирическому материалу для диагностирования социальной эволюции советского общества и его культуры — подобно тому, как Оскар Льюис использовал рассказы мексиканских бедняков о себе для обнаружения основных черт "культуры бедноты". Но в данной статье мы ограничимся сказанным.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

АЛЕКСАНДР И ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ.
ФАКУЛЬТЕТ ФАРШИРОВАННОЙ РЫБЫ
(юмористические рассказы и повести)

240 стр

10 долл.

"Шаргородские — это два Вуди Аллена, прибывшие к нам из России", — пишет "Журналь де Женев" "Шаргородские — блестящие наследники традиций Зощенко и Бабеля", — добавляет парижская "Нота бене". А сами авторы скромно говорят о себе: "Мы — это Зощенко, Бабель, два Вуди Аллена, братья Гонкур и сестры Федоровы, вместе взятые".

Новый сборник произведений известных авторов заставляет плакать и смеяться, вспоминать и грустить. Эта книга так же обязательна в вашей библиотеке, как "Дацзыбао" Игоря Гарика. Даже в двух экземплярах. Потому что один у вас немедленно "уведут" друзья.

Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow-Jerusalem" P.O.B 7045, Ramat-Gan, Israel

ВМЕСТО ДЕКЛАРАЦИИ

Книга В. Зубова* — одна из тех книг, на которые вроде бы нет нужды писать рецензии. Вместо рецензии хочется поздравить автора с удачей, а читателей — с появлением этого подарка в виде блестящих социологических эссе с приложенной к ним выставкой социологических портретов. Своеобразный юмор автора, его оригинальные и неожиданные терминологические находки — все это расцветает не на пустом месте, а на фоне основательных знаний социальной психологии. Но, видимо, эти глубокие знания ограничены только пределами “Шестнадцатой республики”, которая расположилась между СССР и Западом.

В этой связи возникают два любопытных вопроса: является ли “16-ая республика” уменьшенной, но точной копией всего СССР? и в какой степени она антагонистична Западу?

Трудно представить, что “16-ая республика” и ее граждане являются носителями всех происходящих в СССР процессов. Заслуга автора в том, что он убедительно показал, что большинство ее “граждан” выехали на Запад, цинично взяв тремп и на сионизме, и на диссидентстве, выехали за материальным и душевным комфортом, за “колбасой” гастрономической и “колбасой” интеллектуальной, покинув Россию легко и бездумно. Жаль, что те, кто покинул ее вынужденно, упираясь изо всех сил или спасаясь от тюрьмы, оказались с ними в одной упряжке. Жаль также, что созданию “16-й республики” способствовали наивные советские сионисты. И особенно мне жаль, что и новоиспеченные израильские граждане оказались настолько безответственными, настолько малоразвитыми во всем, что касается понятия гражданственности, что позволили себе втянуть в это сомнительное предприятие — пополнение “16-й республики” — министерство иностранных дел своей страны, манипулируя такими понятиями, как “еврейская солидарность”, “защита демократии” и рассказывая сказки о несчастном советском еврействе, на которое вот-вот обрушатся погромы. Я уверена, что если эссе Зубова о “жили-бытелях”, этот настоящий маленький шедевр, перевести на иврит и положить на стол чиновникам, ведающим отправкой документов советским евреям, то ни одного вызова больше отправлено не будет. Во-первых, эти чиновники поймут, наконец, что масса советских евреев социально запрограммирована на переезд в Америку, и не захотят участвовать в увеличении численности “16-й республики”; во-вторых, они испугаются, что эти люди все-таки могут приехать в Израиль (если Америку “закроют”).

Хорошо, когда разрушаются мифы. Плохо, когда на их месте возникают другие. И в этом плане у меня есть плохие новости для г-на Зубова: он про-

* В. Зубов. “16-я республика СССР”, Кубик, США, 1983 г.

явил некоторую поспешность в выдаче патентов. Ни "жили-бытель", ни "люмпен с литературной компенсацией", ни литературный способ не являются советскими изобретениями. СССР можно упрекнуть во многом, но только не в том, что он обладает монополией на массовое производство мешан и люмпенов. Действительно, наблюдать, скажем, советского мещанина в эмиграции забавно, его маниакальное приобретательство свидетельствует о прорыве долго сдерживаемой страсти — его слишком долго держали на советской диете. Но в общем он делает то же самое, что и западный потребитель, только с большим энтузиазмом. Есть ли существенная разница между "каждому по потребностям и от каждого по способностям" и американской мечтой о собственном доме для каждого? Правда, в этом материалистическом соревновании одна держава явно проигрывает другой, — так почему же советскому человеку не получить, наконец, по потребностям? Его квартира станет просторнее, машина больше, цветной телевизор — цветнее. Г-н Зубов прав, когда показывает, что на одного диссидента или сиониста, выехавшего из СССР, приходится сотни тысяч представителей мелкой буржуазии, чьи мелкобуржуазные интересы были не вполне удовлетворены в СССР. Но вот чего г-н Зубов не желает видеть, так это трогательного воссоединения под лозунгом "Мещане всех стран, соединяйтесь!" — в общности вкусов, расхожих мнений и установок, консервативности и тотального материализма. Не встречался ли Зубову в Америке некий Арчи Банкер, герой телевизионной серии "Все остается в семье"? Этот стопроцентный янки в своей агрессивности не уступает советскому "тоталитарному" человеку, и поражая свою млеющую от восторга жену тирадами о политике, президентах, неграх, журналистах и т. д., на ее вопрос: "Откуда ты, Арчи, такой умный?" авторитетно заявляет: "Я читаю Нью-Йорк Таймс".

По-моему, в паломничестве советских буржуа в Америку нет ничего удивительного. Подобно тому, как Москва считалась "столицей мирового пролетариата", Америка — вполне столица мирового мещанства.

Г-н Зубов прекрасно изобразил, как тоталитарные люди "не понимают Запад", как не хотят у него учиться, как лезут со своим уставом в чужой монастырь. Но означает ли это, что они хотят переиначить Запад, перестроить, видоизменить? В таком случае они были бы революционерами. А человек "16-й республики" отнюдь не революционер. Его переживания, упреки, критика и недовольство связаны с искренним желанием именно законсервировать Запад таким, каким он его понимает. Он обеспокоен тем, как бы у него не отняли все то, ради чего он здесь оказался. Это не протест разрушителя, а ворчанье Арчи Банкера. Нет, со стороны граждан "16-й республики" Западу ничего не угрожает. Они безоговорочно, даже слишком безоговорочно принимают Запад. Просто, как и все неопиты, они проявляют чуть больше усердия и рвения в "защите западных ценностей".

Но давайте рассмотрим эту тенденцию "учить" не на мещанском, а на более высоком уровне. Когда Солженицын и Максимов публикуют свои "разоблачения советской опасности", они при этом думают, что протестуют против советской системы и ее лидеров. На самом же деле из их предупреждений-разоблачений вытекает, что это наши, западные лидеры — сплошные идиоты.

Вполне возможно, что так оно и есть. Ведь нельзя же отмахнуться,

например, от Афганистана. Предупреждал Солженицын и, как ни крути, оказался прав.

Конечно, для тех, кто собирается адаптироваться на Западе, совет Зубова "учиться" может быть полезен. Но ведь есть и такие, кто и идеологически ориентирован на возвращение. И они стоят перед нелегкой дилеммой: если коммунизм — зло, то разве неспособность демократии сопротивляться злу — добро? Достаточно ли у демократии западного типа внутренних ресурсов, чтобы эффективно сопротивляться советской идеологической и геополитической экспансии? Когда пришлось сопротивляться фашизму, то собственных ресурсов оказалось и мало, и жалко. Казалось, гораздо проще столкнуться лбами двух врагов в надежде на их взаимное ослабление. Ну, а тот, кто за тебя проделал работу, требует плату. Вот почему за уничтожение Гитлера пришлось так широко и щедро расплачиваться в Ялте. И если уж всему учиться у Запада, то почему бы не научиться по-западному распевать: "Лучше быть красным, чем мертвым!"?

А кстати, как идет учеба в литературных салонах соц-модернизма и панстилизма, так прекрасно описанных Зубовым? Ведь выехавшие на Запад авторы получили возможность общаться с интеллектуалами разных стран, к их услугам были всемирно-известные западные издательства, они пользовались всеми преимуществами культурного обмена и дышали космополитическим воздухом западных столиц. Что привезено, то цветет в горшочках с привозной почвой, но что произросло на такой прекрасной и такой удобренной почве западной? Бледные плоды "лимонного" дерева? Кисло.

А между тем где-то в Сибири, без всякого культурного обмена с Западом каким-то образом вырос Валентин Распутин, который неожиданно понятно — даже для непричастных России людей — заговорил о коварстве технологического прогресса, скрывающего под маской созидания свою разрушительную сущность, о насилии над окружающей средой и человеком в ней, о двусмысленной поверхностной урбанистичной цивилизации — словом, об универсальной проблематике 80-х годов, как мы ее понимаем здесь на Западе (хотя русский читатель, безусловно, находит в творчестве сибирских писателей и нечто другое). И все это написано в оторванной от международных культурных центров сибирской периферии. Быть может, собственная почва и корни в ней являются более надежным убежищем от тоталитаризма, чем физическая эмиграция в мир "меркантилизма"? Еще неизвестно, где лучше учатся уму-разуму — у западного интеллектуала или у деревенского деда. И вообще, коль скоро в России так безнадежно тоталитарно, откуда взялся, например, Зиновьев? Откуда сам г-н Зубов, наконец? Откуда у тоталитарной мамыши-России такие приличные дети?

Некоторая идеализация Запада и преувеличенная надежда на общение с ним, красной нитью проходящие сквозь книгу Зубова, объясняются, по-видимому, тем, что автору слишком осточертела "16-я республика". Подавляющее большинство ее граждан комфортабельно расположилось на американской территории, расставив привезенный из СССР багаж. Америка — страна свободная: хотите строить свою республику — стройте. Но как может выглядеть такая республика?

Покидают родину — и "физическую" родину, и историческую — отнюдь не лучшие ее представители. Поэтому на белом свете есть, по крайней

мере, две страны, которые могут сказать “спасибо” американским свободам. Хорошо, когда находятся авторы, которые решаются разбить на куски эту гипсовую статую, стоящую в патетической позе “Я выбрал свободу” — с наклеенными пейзажами и в синтетической мантии диссидента. Настоящие патриоты обходятся без этого дешевого жеста. Те из них, которые евреи, выбирают самоопределение, а те, которые русские, еще и упираются, когда их насильно выдворяют на свободу, хотя их там ждет и комфорт, и безопасность, и даже издатели.

А теперь вернемся к нашим сионистским баранам. Зубов утверждает, что большинство эмигрирующих из СССР — это “бытожители” или “жилибытели” с техническими способностями. Зубова не интересует их происхождение, потому что он социологически ориентированный автор. Но меня интересует, потому что именно оно дает повод для отправки тех документов, по которым они выезжают, — благодаря беспринципности американского еврейства и нашей с вами нелояльности своему государству. Конечно, когда такой “жилибытель” вместо того, чтобы приехать в указанный в его визе Израиль, прибывает в Америку, то, как поется в песне, “еще неизвестно, кому повезло”. Но почему американские евреи должны навязывать своей стране новых граждан по документам, высланным нами? Разве они не свободные граждане США, достаточно богатые, достаточно влиятельные и достаточно шумливые, чтобы добиться, если они так уже этого хотят, перемещения евреев Одессы на Брайтон-Бич по американским визам? Ведь если они сумели добиться от своего конгресса и правительства, чтобы те признали статус беженцев за людьми, на руках у которых виза на въезд в демократическое государство, то они все могут. Они, например, могли бы убедить свое правительство помочь советским “жилибытелям” любой национальности перебраться в Америку, потому что там их духовная родина (что не будет ложью) и лучше им строить материально-техническую базу капитализма, чем коммунизма. Короче, американские граждане, евреи ли, неевреи, должны сами решить, нужна им в Америке “16-я республика” или нет. И если нужна, то они должны взять на себя ответственность за прирост ее населения. Прямо, а не в обход. Нечего всяким хаясам-сохнутам втягивать наше министерство иностранных дел в свои махинации. И нам здесь тоже нечего стучать в двери этого министерства, рассказывая басни о том, что миллионы советских жилибытелей с техническими способностями приедут в Израиль, если мы только чуточку постараемся превратить его в один большой НИИ. Господа сионисты, где вы были вчера? Ну, допустим, вы не понимали, что ваш жилибытель специально запрограммирован для Америки. И что он не такой фраер, чтобы приехать сюда и ходить на войну. Но сегодня вы ведь уже хорошо знаете, для чего и кому вы посылаете вызов!

“Ну, и что?” — спросят наши полусионисты. “Что с того, если жилибытель сплшет вечером свой гоп-со-смыком? Так за то ж наутро пойдет строить материально-техническую базу сионизма! Ну, и что, если жилибытель с техническим уклоном заполняет свои салоны и гардеробы буржуазным хламом, — разве он за все это не отрабатывает на каком-нибудь “Бедеке”?” Действительно, эти люди приносят каждой стране: СССР, Израилю, США — умеренную пользу и умеренный вред. Они одной ногой жмут на педаль

прогресса, а другой — на его тормоз. И выходит один шаг вперед и два назад. Они безусловно способствуют строительству технологической базы. Слегка при этом загрязняя окружающую духовную среду и социальную атмосферу.

В США можно строить "16-ю республику", и вероятно, никому от этого плохо не будет. У нас здесь — нельзя. Здесь, в Израиле есть, не будем бояться этого слова, конкурирующая идеология. Первая ее часть проста, и ее может воспринять даже советский бытожитель: "Строй свою страну!" Но ее вторая часть: "... И себя в ней!" — ему недоступна. Он себя уже сконструировал по очень простой схеме: мелкобуржуазный стержень, на который накручивается спираль всяческих технологических и нетехнологических квалификаций. Это жесткая социальная конструкция, плохо поддающаяся модификации. Пожалуй, СССР имеет на нее патент — сказываются ускоренные темпы советской индустриализации. Но у этого жилибытеля имеется брат в Америке (в этом случае на буржуазный стержень чаще всего накручена спираль юридических или медицинских наук). Пусть этот родной брат и посылает ему визы для прибытия в "16-ю республику".

Конечно, если мы уж очень захотим, "16-ю республику" можно построить и в Израиле. Но жалко...

ЖУРНАЛ "АЛЕФ" ---

одно из самых популярных периодических изданий на русском языке.

Сегодня журнал "Алеф" нашел своего читателя в Израиле, США, Канаде, Австралии, Бельгии, Франции, Греции, Испании и даже... в СССР.

Названия рубрик журнала: "Вокруг света", "Проблемы дня", "Экономическое обозрение", "Приглашение к спору", "Страничка ЦАХАЛа", "Это — Израиль, это — еврей", "Знакомые незнакомцы", "Люди среди людей", "Библейская археология", "Из истории Эрец-Исраэль", "Дела секретные", "Террор", "Литературная страница", "Детектив" — говорят о разнообразии журнала, о том, что каждый может найти в нем материалы, которые будут ему интересны.

Не забыта и лучшая половина наших читателей: на "Женской страничке" мудрая Эстер отвечает на письма читательниц, дает им советы не только из области кулинарии и косметики и занимается сватовством в международном масштабе (бесплатно).

Наш адрес: Тель-Авив, П. Я. 37356, Израиль,
тел. 03/621-682.

Стоимость журнала в Израиле — 125 шекелей,
за границей -- 1,5 доллара (вместе с пересылкой)

ОПЫТ РУССКОГО МИФОТВОРЧЕСТВА

(Евгений Цветков. Творческие работники. Тель-Авив, 1984.)

Одoleвший полтысячи страниц романа расстается с ним с двойственным ощущением. Это колосс на глиняных ногах, с могучим замыслом и бесформенным воплощением. Роман полон длиннот, внезапных скачков и кусков, написанных на уровне самой серой журналистики. Читатель может искренне огорчиться и языку автора, чуждому достижениям русской словесности от Пушкина и до Андрея Белого. Однако за этим языком, опирающимся на два основных пласта, допетровский и советский, стоит обдуманная позиция. Цветков, "великоросс, гость в доме Израиля", как он рекомендует читателю, гнушается всем, что связано с культурой привилегированного сословия, будь то дворянство или (что, видимо, еще хуже) "народная интеллигенция". Даже если местами усматриваются косвенные цитаты из Гоголя и Булгакова, не следует обольщаться: это Гоголь и Булгаков, попавшие в областную газету. Дело в том, что сверхзадача романа — создать immoralный и внеисторический русский миф, некий стержень русского бытия. В нем действует Дух, воплотившийся в лекторе по атеизму, Падшая Красота в облике молодой киноактрисы, ученый-геронтолог Савелий, продавший Сатане за тайну бессмертия. Роман Цветкова — это православно-неоплатоническая мистерия, содержание которой до сих пор монополизировано в русской культуре богословием и отчасти философией (В. Соловьев, С. Булгаков), и в этом-то состоит его литературная уникальность. Вселенский миропорядок раскрывается в романе через людей и институты соборной державы, зримой в сегодняшнем СССР. Здесь и сверхсекретная киностудия, расписывающая по сценариям человеческие судьбы, — воплощенная доктрина предопределения, здесь и Йог, бывший начальник сталинского лагеря, от имени Сатаны вручающий русскому Фаусту Савелию эликсир бессмертия, здесь и престарелый Вождь, недалекий, но дошлый дед, лишенный нездешних статей. Неслучайна ахроничность и атопичность романа, утверждающая тождество кремлевских канцелярий (неважно, какого века) с пивной в райцентре, бабьих сплетен с передовыми статьями "Правды", свободы и предопределения, смерти и бессмертия.

Перед нами заявка на мифотворчество, и потому неизбежны два вопроса. Первый: не подчинен ли роман внешней идеологической или богословской концепции? Второй: адекватны ли средства выражения природе мифа, нет ли сбой на аллегоричность, сентенциозность и т. п.?

На первый вопрос можно ответить безусловным "нет". В книге нет и тени влияния славянофильского, сменовеховского и прочая. В отношении к пра-

вославию роман стоит, по-видимому, на грани ереси, соединяя скифскую мощь, византийскую мудрость и веру в Бога Живого не в очень-то канонических пропорциях. На второй вопрос ответ не так однозначен. Нет нужды анализировать роман, чтобы понять, насколько слабее текст самой личности Цветкова и насколько автор насилует косную материю слова, чтобы добиться своего. Он добивается своего в конце концов, но оставляет впечатление застолбленного золотоносного участка, на котором едва-едва начались разработки. Однако заявка сделана.



Из альбома Арнольда Гехтмана (Рамат-Ашарон)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА"

Условия годичной подписки: в Израиле 6000 шекелей (можно в два чека с разрывом в месяц), за рубежом 39 долларов (авиапочтой в Европу — 49, в США — 55 долларов), для организаций — 48 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", POB 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму
Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала
(фамилия)

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Инфляция ставит под угрозу существование нашего журнала. Мы просим всех, заинтересованных в его сохранении, помочь нам пожертвованиями, которые, независимо от их размера, будут приняты с искренней и глубокой благодарностью.

В мае-июне получены следующие пожертвования: В. Элиашберг (США) — 50 долл., М. Фильштинский (США) — 15 долл., М. Улановская (Иерусалим) — 2000 шек., М. Черкес (Кармиэль) — 500 шекелей. Мы благодарим наших друзей.

КО ВСЕМ АВТОРАМ

Отвергнутые рукописи редакция не возвращает и в переписку по их поводу не вступает.

Начиная с № 38 (ноябрь 1984 г.)
в нашем журнале
впервые на русском языке (с разрешения автора)
прославленный детективно-политический роман
Джона Ле-Карре

"МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА"

...Как удалось террористам проникнуть в дом израильского атташе в Западной Германии и взорвать его? Для расследования загадки в Европу прибывает группа израильских разведчиков, которая нападает на след неуловимой организации террористов, скрывающейся в Ливане. Джон Ле-Карре побывал в Израиле и Ливане, собирая материал для своего нового романа, ставшего бестселлером детективной литературы нынешнего десятилетия. В нем с убедительной правдивостью, шаг за шагом, воссоздается сложнейшая антитеррористическая операция израильской разведки.

...Молодая английская актриса должна стать главным орудием израильтян. Любовь — ключ к этому превращению. Но законы любви сложнее расчетов логики. Не станет ли она орудием палестинцев? Что возьмет верх — долг или сострадание? И что достанется победителям — радость удачи или горечь разочарования?

Читайте в ближайших номерах журнала:

Михаил Федотов. **Соотечественники** (первая часть остро-психологического и авантюрного повествования о судьбах и любви людей, разбросанных жизнью по свету — в России, Канаде, Израиле, Афганистане, Ливане)

Генрих Элинсон. **Член** (ленинградская повесть, или гоголиада для взрослых читателей)

Леонид Цыпкин. **Мост через Нерочь** (лирико-автобиографическая повесть безвременно скончавшегося большого русского писателя)

Станислав Лем. **Провокация** (новое произведение знаменитого польского фантаста, посвященное Катастрофе)